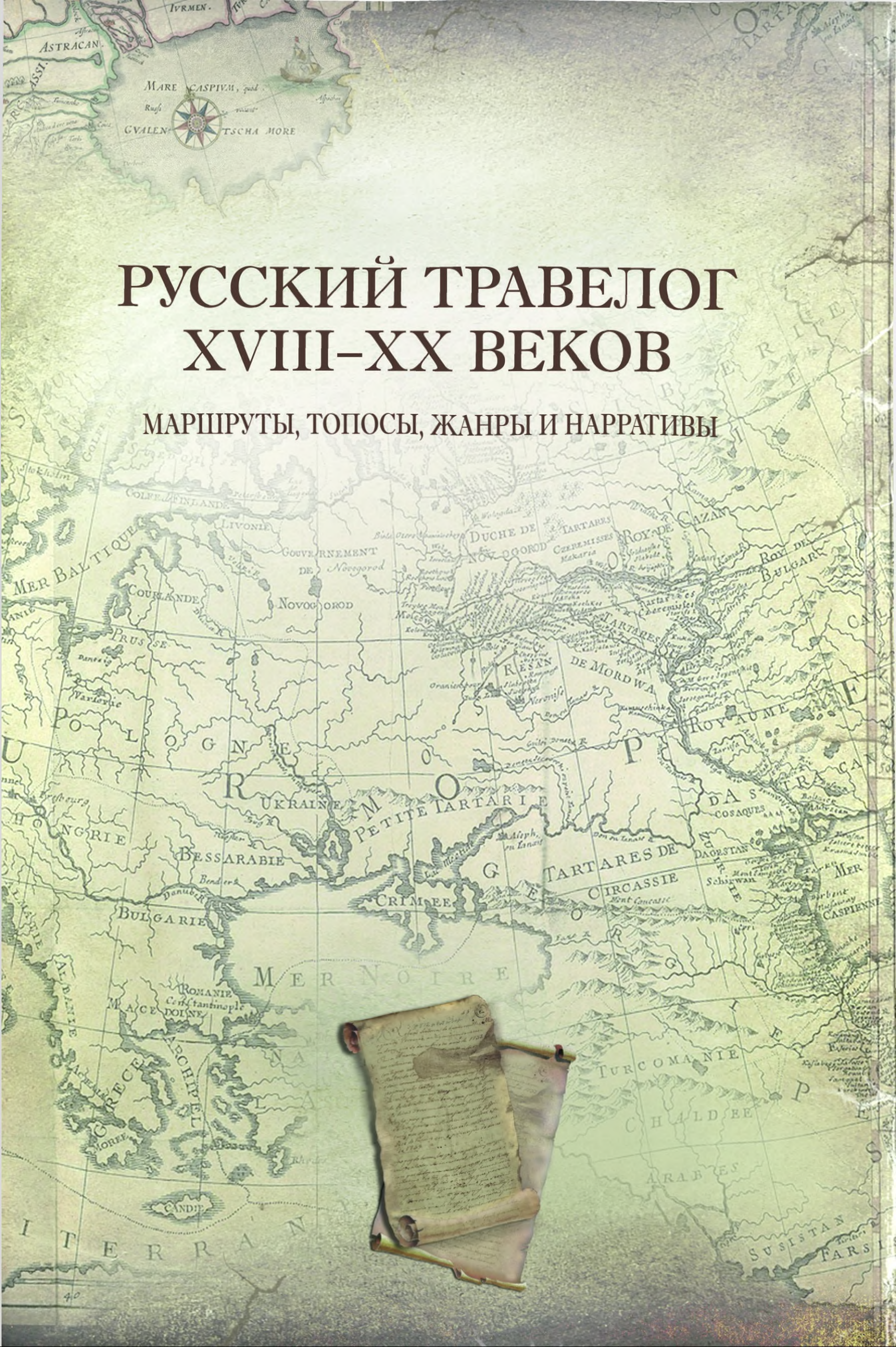


РУССКИЙ ТРАВЕЛОГ XVIII-XIX ВЕКОВ

МАРШРУТЫ, ТОПОСЫ, ЖАНРЫ И НАРРАТИВЫ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ,
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПСИХОЛОГИИ

**РУССКИЙ ТРАВЕЛОГ XVIII–XX ВЕКОВ:
МАРШРУТЫ, ТОПОСЫ,
ЖАНРЫ И НАРРАТИВЫ**

Под ред. Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой

Новосибирск
2016

УДК 821.161.1(082)+008(082)
ББК 83.3 (2+Рус)я43+71я43
Р 65

Печатается по решению
Редакционно-издательского
совета ФГБОУ ВО «НГПУ»

*Подготовлено при поддержке РГНФ, проект 15-04-00508
(Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – начала XX века»)*

Редакционная коллегия:

доктор филологических наук (ответственный редактор) *Т.И. Печерская*;
кандидат филологических наук *Н.В. Константинова*;
кандидат филологических наук *А.А. Богодёрова*

Рецензенты:

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
истории СО РАН *Л.И. Журова*;
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной
литературы, теории литературы и методики обучения литературе
ФГБОУ ВО «НГПУ» *Н.А. Ермакова*

Р 65 **Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы** : коллективная монография / под ред. Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой ; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2016. – 462 с.

ISBN 978-5-00023-878-0

В коллективную монографию вошли материалы исследования русских травелогов, разработанные в рамках концепции проекта «Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII – начала XX века”». Проблематика монографии связана с вопросами изучения сюжетного, топологического, временного, феноменологического диапазона литературы путешествий. Особое место занимает исследование жанрового разнообразия документальных травелогов, проявившегося в широкой вариативности нарративных моделей, в их связи с общими жанровыми тенденциями литературного процесса, а также анализ соотносительности травелога с контекстом литературной и социокультурной жизни России XVIII–XX веков.

УДК 821. 161. 1 (082)+008 (082)
ББК 83.3 (2+Рус)

ISBN 978-5-00023-878-0 © Оформление. ФГБОУ ВО «НГПУ», 2016

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE RF
FSBEI HE «NOVOSIBIRSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY»
THE INSTITUTE OF PHILOLOGY,
MASS MEDIA AND PSYCHOLOGY

**THE RUSSIAN TRAVELOGUE
OF THE XVIII–XX CENTURIES:
ROUT, LOCUS, GENRE AND NARRATIVE**

Managing Editor T.I. Pecherskaya, N.V. Konstantinova

Novosibirsk
2016

UDK 821. 161. 1 (082)+008 (082)
UDK 83.3 (2+Pyc)я43+71я43
R 65

Recommended by the educational
and methodical council
of FSBEI HE «NSPU»

*The monograph is prepared with assistance of the Russian humanitarian scientific fund,
the project 15-04-00508 (The annotated index “The Russian travelogue
of the XVIII – start XX century”)*

Editorial board:

*Doctor of Philology (editor in chief) T.I. Pecherskaya;
Candidate of philological sciences N.V. Konstantinova;
Candidate of philological sciences A.A. Bogoderova*

Reviewers:

Doctor of Philology, leading researcher of Institute of History Siberian
Branch of the Russian Academy Sciences *L.I. Zhurova*;
Candidate of philological sciences, assistant professor of the Department
of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of
literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University *N.A. Ermakova*

R 65 **Russian travelogue of the XVIII–XX centuries: rout,
locus, genre and narrative** : collection of academic papers / ed. by
T.I. Pecherskaya, N.V. Konstantinova ; Ministry of Education and
Science of the Russian Federation, Novosibirsk State Pedagogical
University. – Novosibirsk: Publishing sector of NSPU, 2016. – 462 pp.

ISBN 978-5-00023-878-0

The collective monograph includes the results of research of Russian travelogue developed under the concept of the project «Annotated index “The Russian travelogue of the XVII – start XX century”». The problems of the monograph concern the issues of study of the plot, topological, temporal and phenomenological range of travel literature. We place high emphasis on the study of genre diversity of non-fiction travelogue that became evident in the wide variability of narrative models, in their relation to the general genre tendencies of the literature process. Its correlation with the context of Russian literary and socio-cultural life of the 18–20th centuries was also analyzed.

UDK 821. 161. 1 (082)+008 (082)
BBK 83.3 (2+Pyc)я43+71я43

ISBN 978-5-00023-878-0

© Typography. FSBEI HE «NSPU», 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Проект «Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII – начала XX в.”»: К постановке проблемы (<i>Печерская Т.И.</i>)	8
--	---

РАЗДЕЛ I ТРАВЕЛОГ И ТОПОС: МИФОПОЭТИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Кавказ и Сибирь как два топоса русской литературы и культуры XIX века (<i>Меднис Н.Е.</i>)	20
«Идеальный пейзаж» в травелогах русских путешественников о Центральной Азии (<i>Мароши В.В.</i>)	37
Деромантизация Кавказа в «кавказских» травелогах XIX века (<i>Пономарева А.А.</i>)	69
Желтугинская республика, или Амурская Калифорния в очерках и мемуарах русских путешественников XIX века (Я-й, Н.Г. Гарин-Михайловский, М.В. Грулёв) (<i>Николаева Е.Г.</i>)	92
Маньчжурия в русских травелогах рубежа XIX–XX веков (<i>Богодерова А.А.</i>)	127
Север в литературе путешествий начала XX века (<i>Созина Е.К.</i>)	151

РАЗДЕЛ II
ТРАВЕЛОГ И ПУТЕШЕСТВЕННИК:
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Феноменология путешествия в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского (Безруков А.Н.) 183

Путешественник и горы: особенности самосознания героя в малой прозе И.А. Бунина (Шестакова Э.Г.) 200

РАЗДЕЛ III
ТРАВЕЛОГ И ЖАНР:
НАРРАТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ ТРАВЕЛОГА

Травелог как документальный жанр. Статья первая (Милюгина Е.Г., Строганов М.В.) 231

Маршруты русских травелогов XVIII века (Фарафонова О.А.) 261

Нарративные стратегии авторов-путешественников в травелогах о кампании Д.Н. Сеньвина начала XIX века (Константинова Н.В.) 286

Путешествия восточно-сибирских священнослужителей во второй половине XIX – начале XX века (на материале «Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям») (Рощина О.С.) 306

Нарративные клише русского травелога (на материале журнала «Русский вестник» 1860–1880-х гг.) (Козлов А.Е.)... 354

Поэтика народнического травелога конца XIX века
(Путевые очерки Ф.Д. Нефёдова) (*Крылов В.Н.*)..... 374

Две книжки о путешествиях в обработке Николая
Заболоцкого: Африка и Тибет (*Лоцилов И.Е.*)..... 405

РАЗДЕЛ IV
ТРАВЕЛОГ И ПОЭЗИЯ: РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
1960–1970-Х ГОДОВ С КОММЕНТАРИЯМИ,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ И РАЗМЫШЛЕНИЯМИ

«Предметники» М.Е. Соковнина как поэтические
травелоги (*Зыкова Г.В., Пенская Е.Н.*)..... 422

Т.И. Печерская

Новосибирский государственный педагогический университет

**ПРОЕКТ «АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
“РУССКИЙ ТРАВЕЛОГ XVIII – НАЧАЛА XX ВВ.”»:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ¹**

Аннотация. В разделе представлен проект аннотированного указателя русских травелогов XVIII – начала XX вв. Рассматриваются современные теоретические подходы к определению такого вида литературы как травелог/литература путешествий, дается обзор различных типологических подходов к их классификации. Раздел содержит концепцию составления указателя русских травелогов, описание структуры указателя, обоснование принципов отбора текстов-травелогов. Травелог понимается как вид документальной литературы, объединяющий различные жанры (служебный отчет, дорожный журнал, научный отчет об экспедициях, путевой дневник, путевые записки, письма, мемуары, очерки и пр.). Главным условием, при котором документальный текст-травелог включается в указатель, является наличие/описание маршрута путешествия (как «сюжетообразующего» начала), выражение личного отношения к увиденному, передача личных впечатлений, отношение к окружающему как другому/чужому/новому.

Ключевые слова: травелог, литература путешествий, указатель русских травелогов, жанр.

Сведения об авторе. Печерская Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (630019, Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244 03 30. E-mail: ptatiana9@gmail.com).

¹ Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-04-00508 («Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII – начала XX вв.”»).

Изучение травелога/литературы путешествий в отечественной науке последних десятилетий переживает очевидный подъем. Свидетельством этого являются многочисленные работы исследователей, появившиеся в последние 15–20 лет, международные и внутренние научные конференции, обобщающие тематические сборники научных трудов и монографии, диссертации. При этом большой интерес к травелогам проявляют не только филологи, но в равной мере историки, культурологи, этнографы, что говорит об общегуманитарной востребованности и актуальности исследования этого материала. Идея проекта², направленного на создание аннотированного указателя русских травелогов XVIII – начала XX веков, представляется вполне закономерной, поскольку за время многолетних исследований был введен в научный оборот огромный массив источников, до сих пор еще не систематизированных и не аккумулированных в общей базе. В настоящее время не выявлен полный или хотя бы в достаточной мере репрезентативный состав русских травелогов, отсутствует аннотированный указатель травелогов, научное издание, позволяющего оценить весь корпус текстов, без чего невозможно решать фундаментальные задачи исследования травелога как в жанрово-типологическом, так и в структурно-семантическом и нарративном планах.

При разработке концепции проекта и уже на первом этапе его реализации мы столкнулись со многими проблемами, в частности, связанными с пониманием границ жанра травелога. Правомерно ли вообще считать травелог/литературу путешествий жанровой номинацией? Как теоретическая проблема, в нашем случае особым образом актуализировавшаяся в прикладной области создания указателя, жанровая природа

² Проект реализуется сотрудниками кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета.

травелога давно обсуждается в зарубежном и отечественном литературоведении. При этом к общеприемлемому знаменателю она до сих пор не подведена, хотя есть и общие точки схождения в понимании природы этого вида словесности. В обзоре работ, связанных с изучением травелога в западном литературоведении, где травелог системно начал изучаться раньше, Е.Р. Пономарев отмечает неоднократные указания на то, что литература путешествий, в силу своей разнородности, «объединена скорее тематически, нежели структурно, и потому не соответствует традиционным представлениям о литературном жанре», она может рассматриваться как «конгломерат жанров», пониматься как «особое наджанровое образование» с традиционными жанрами внутри системы [Пономарев, 2013, с. 10]. В целом же литературу путешествий/ травелог западные и отечественные исследователи чаще всего рассматривают как «кластеры литературы», объединяющие множество жанров: хождения, деловые отчеты, статейные списки дипломатов, научные отчеты об экспедициях, путевые дневники и хроники, переписка, мемуары, всевозможные путеводители и справочники, художественные тексты с соответствующими сюжетами.

Отметим, что термины «литература путешествий» и «травелог» в большинстве случаев употребляются практически как синонимы, но при этом некоторые исследователи не без оснований считают необходимым их различать. Указывая на то, что «травелог» более поздний термин, чем литература путешествий (*travel literature*), Е.Р. Пономарев связывает его укоренение в отечественном литературоведении с А.М. Эткингом, его книгой «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах» (2001), и вслед за ним предлагает отдельное произведение литературы путешествий называть травелогом, рассматривая литературу путешествий как более широкое понятие [Там же, с. 9]. Е.Р. Пономарев вводит признаки, характеризующие травелог как особый вид текста –

метатекст. В качестве одного из признаков метатекста он называет «расслаивание» путешествия на «несколько параллельных линий, имеющих разную природу – поездка, текст, восприятие текста, общий контекст литературы путешествий» [Там же, с. 11]. Такое понимание разноуровневости текста определяет и его жанровую номинацию. С точки зрения исследователя, в этом контексте путешествие может быть названо «метажанром» («... термин, обозначающий недостающее, промежуточное звено между жанром и литературным родом» [Там же, с. 12]).

М.В. Строганов и Е.Г. Милюгина, как и Е.Р. Пономарев, одни из немногих исследователей, кто стремится разделить травелог и литературу путешествий на теоретических основаниях, связанных с природой текста. При этом признаки текстов, взятые за основу М.В. Строгановым и Е.Г. Милюгиной, совершенно отличны от вышеуказанных. Назовем основные признаки и их обоснование. Травелог, настаивают исследователи, по природе своей документален, к литературным путешествиям следует относить только художественные (типа «Сентиментального путешествия Л. Стерна или «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина), поскольку путешествие всякий раз фикционально, даже если автор на самом деле бывал в описанных местах [Строганов, Милюгина, 2013, с. 12]³. Таким образом, создавая типологию травелогов, иссле-

³ А. Шенле связывает возникновение собственно литературных путешествий с оформлением вымысла как самодовлеющей эстетической категории травелога. В обстоятельном исследовании «Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840» А. Шенле устанавливает границы жанра и приводит некоторые типологические соотношения плана реальности и ее эстетических трансформаций в литературных путешествиях конца XVIII – первой трети XIX в. [Шенле, 2004]. Характерно, что во всех исследованиях история травелога как формы художественного текста начинается с Н.М. Карамзина (выдвижение авторского Я на первый план, определяющее и нарратив, и пространственную картину и т.п.).

дователи рассматривают только документальные тексты, при этом аргументы и основания новой типологии лежат в области пространства как основы текстопорождения. Пространство путешествия-травелога должно разворачиваться динамично, что принципиально отличает его от пространства локальных текстов (сибирский текст и т.п.). В основе разворачивания пространства должно лежать перемещение путешественника из одного места в другое [Там же, с. 10–11]. И далее: «Таким образом в тексте-путешествии устанавливаются системно-синтаксические связи между этими локальными текстами. <...> Развитие травелога в таком случае можно было бы представить как движение от суммы локальных текстов, которые связаны между собой морфологическими, парадигматическими отношениями к созданию сложноподчиненного синтаксиса природного и культурного пространства и многомерной системы ориентиров» [Там же, с. 36]. С этой точки зрения, по мысли исследователей, травелог как литературная форма формировал «сугубо специфические формы репрезентации пространства, которые были еще мало освоены литературой. И в этом отношении травелог может быть назван новаторским жанром, опережавшим общее развитие литературных форм» [Там же].

Другой теоретической проблемой является жанровая разработка оснований для различных типологий травелогов/литературы путешествий⁴. Наиболее общепринятыми можно

⁴ Приведем далеко не полный, но вполне репрезентативный список жанровых и типологических исследований: [Алексеев, 2014, с. 34–46], [Алпатова, 2001, с. 24–40], [Береснева, 2007, с. 245–248], [Гуминский, 1977, с. 82–93], [Загидулина, 2013, с. 124–131], [Зябрева, Деремедведь, 2008, с. 45–59], [Иванова, 2009, с. 77–82], [Ивашина, 1980], [Летягин, 2011, с. 126–135], [Мамуркина, 2014, с. 217–220], [Михайлов, 1999], [Тополова, 2013, с. 62–67], [Шачкова, 2008, с. 277–281].

считать типологии по целеполаганию путешествия: деловые, научные/частные путешествия, разновидность последних – развлекаельные/познавательные; по интенции путешествия: добровольные/вынужденные, к числу последних относится ссылка; по топографическому признаку: путешествия вовне и по своей стране; наконец, по эстетическому и нарративному конституированию текста: документальные/художественные (написанные на основе реальных путешествий и вымышленные).

Отойдём от дальнейшего обзора теоретических разработок исследователями травелога/литературы путешествий, различных типологий и вернемся к прикладному аспекту проблемы. Рассматривая различные подходы к выделению текстов-травелогов, мы руководствовались практическим соображением: указатель должен максимально полно представлять базу данных, и, соответственно, не может строиться на концепциях, пусть даже очень интересных по теоретическим подходам, но при этом ограничивающих отбор текстов, то же можно сказать и об отборе по той или иной типологической модели. В результате было решено, что в нашем случае стоит руководствоваться «золотой серединой», однако при этом все-таки необходимо внести и определенные ограничения отбора. Так, в базу данных указателя решено не включать художественные тексты, и здесь мы вполне разделяем подход М.В. Строганова Е.Г. Милюгиной. Во всяком случае указатель художественных текстов, в которых используется сюжет путешествия, может быть разработан отдельно, и, безусловно, такой тип указателя представляет определенный интерес для исследователей. В нашем проекте в базу данных включаются исключительно *документальные тексты* травелогов. При этом травелог понимается как *вид литературы, объединяющий различные жанры* (служебный отчет, статейные списки дипломатов, дорожный журнал, научный отчет об экспеди-

циях, путевой дневник, путевые записки, эпистолярный, мемуары, очерк и пр.). Главным условием, при котором документальный текст включается в указатель, является наличие/описание маршрута путешествия (как «сюжетообразующего» начала), выражение личного отношения к увиденному, передача личных впечатлений, внутренняя интенция «остранения», отношение к окружающему как другому/чужому/новому. Другими словами, наряду с важнейшим текстообразующим признаком – маршрутом, характер нарратива и тактика его построения автором/повествователем доминируют в выделении ряда базовых признаков текста-травелога.

Что касается разнообразных документальных жанров, то, по нашим наблюдениям, в любой их модификации, даже в жанрах служебных отчетов (деловых и научных), путешественник находил возможность проявить свое отношение к увиденному, стремился по-своему запечатлеть новый для него мир. В качестве характерного примера можно привести «Путевые письма из Англии, Германии и Франции Николая Греча». Поездка оценивается Н. Гречем как развлекательная, при этом обремененная служебным заданием Министерства финансов (получение сведений о технических и ремесленных училищах, размещенных за границей). В итоге извлечения из отчетов помещаются в конце третьей части книги, в основном же тексте, опубликованном Н. Гречем сначала фрагментами в журналах, подробно описываются достопримечательности, впечатления от культурной и общественной жизни, знакомства, быт и нравы жителей [Греч, 1839]. Как «неудачный» вариант совмещения служебного задания и личных впечатлений можно рассматривать «случай Писемского», участвовавшего, как и многие литераторы, в литературной экспедиции середины 1850-х годов, организованной по инициативе Морского министерства (Министерства водных путей сообщения). Це-

лью экспедиции было изучение социальных условий жизни и быта приречных и приозерных жителей Верхней Волги. Субъективность Писемского, в полной мере проявившего «колониальный» взгляд на аборигенов этих мест, татар, калмыков, армян, не позволила опубликовать некоторые материалы в Морском вестнике, где они первоначально должны были появиться⁵.

Просмотр исследовательских работ, посвященных травелогам, позволяет констатировать тот факт, что, несмотря на большой массив выявленных текстов, многие из них повторяются, «путешествуют» от одного исследователя к другому (из них можно даже сформировать список «избранного»). По сути такие тексты лежат на поверхности огромного пласта травелогов, «сокрытых» в недрах периодики. Создавая базу травелогов, мы считаем важнейшей задачей тотальный просмотр периодических изданий самого разного качества и литературного веса, поскольку именно так можно выявить основной корпус текстов, зачастую никогда позже не переиздававшихся, «выпавших» из научного оборота, а уж тем более совсем неизвестных современному читателю. Фиксация всех текстов без ранжира, их обработка важны в отношении дальнейшего научного изучения травелогов. Мы вполне разделяем мысль Е.Г. Милюгиной и М.В. Строганова, заметивших, что «... для уяснения сущности жанра и специфики его бытования необходим анализ не только вершинных достижений, но и того контекста, в котором эти вершинные достижения возникли» [Строганов, Милюгина, 2013, с. 18].

Надо отметить еще одно важное следствие зафиксированной нами неполноты общей «карты» травелогов. В каком-то смысле можно заключить, что существующие исследо-

⁵ См. подробнее: [Вдовин, 2012, с. 34–48].

вания сформировали картину, не вполне соответствующую реальной географии путешествий. Имеется в виду явно европоцентричный характер исследований. Между тем существует большой массив «неактуализированных» русских травелогов, связанных с путешествиями на Восток, в Центральную и Среднюю Азию, в Америку, в Африку. Отдельный большой корпус текстов составляют путешествия по обширной территории России (точнее, Российской империи), некоторые области которой представлялись не менее экзотичными, чем отдаленные страны. Можно надеяться, что указатель в какой-то мере сбалансирует материал и даст возможность исследователям обратить внимание на новые топографические области изучения травелогов.

Структура указателя определена нами следующим образом:

1) предисловие, содержащее концепцию данного научного издания, принципы отбора и расположения материала и пр. информацию, необходимую в справочном издании;

2) собственно аннотированный указатель русских травелогов XVIII – начала XX веков, структурно сформированный по географическим маршрутам/локусам путешествий, в подразделах используется алфавитный принцип размещения авторов при общей сквозной нумерации текстов;

3) раздел, содержащий краткие биографические сведения об авторах (за исключением самых известных);

4) отдельный указатель библиографии научной литературы по травелогам, в подразделах используется жанровый принцип размещения исследований: статьи, сборники, монографии, диссертации; в указатель научной библиографии включаются как исследования документальных, так и художественных травелогов;

5) именной указатель.

Структура аннотации соответствует жанру, принятому в справочных изданиях, и содержит: выходные данные текста по первой публикации; собственно аннотацию – обозначение жанра (путевые записки, мемуары, очерк и т.п.), указание «сюжетного» маршрута травелога и наиболее важных тематических аспектов текста.

Сейчас, после года работы, нам совершенно ясно, что указатель не может претендовать на полноту, о чем свидетельствует буквально неисчислимое количество текстов травелогов, возрастающее в геометрической прогрессии по мере продвижения проекта. Однако, как нам кажется, после завершения работы указатель все-таки окажется полезным для исследователей самых разных гуманитарных направлений, репрезентативность его материала уже и теперь вполне очевидна.

Литература

Алексеев П.В. Русский ориентальный травелог как жанр путевой прозы конца XVIII – первой XIX века // *Филология и человек*. 2014. № 2. С. 34–46.

Алпатова Т.А. Путешествия по святым местам в русской литературе XVIII в. // *Христианские истоки русской литературы*. Сборник научных трудов. М., 2001. С. 24–40.

Береснева Ж.А. Жанр литературного путешествия в системе русской культуры // *Вестник Московского гос. ун-та культуры и искусств*. 2007. № 5. С. 245–248.

Вдовин А. Литераторы в роли ориенталистов на службе у империи: случай А. Ф. Писемского // «Идеологическая география» Российской империи: пространств, границы, обитатели: коллективная монография. Тарту, 2012.

[*Греч Н.*] Путевые письма из Англии, Германии и Франции Николая Греча. Ч. 1–3. Санкт-Петербург, 1839.

Гуминский В.М. К вопросу о жанре «путешествий» // Филология. М., 1977. Вып. 5. С. 82–93.

Загидулина Т.А. Трансформация путевых жанров в России: древнерусская литература, литература нового времени (практика путешествий в культурном и историческом контексте) // Труды Русской антропологической школы. 2013. Т. 13. С. 124–131.

Зябрева Г.А., Деремедведь Е.Н. Литература «путешествия»: художественная специфика, жанровые разновидности. Статья 1. Художественно-документальное «путешествие»: актуальные проблемы истории и теории // Вопросы русской литературы. 2008. Вып. 15 (72). С. 45–59.

Иванова Н.В. Генетическая основа “путевых записок” // Текст и контекст в литературоведении: Сб. научн. статей по материалам Международной научной конференции XI Виноградовские чтения. М.: МГПУ; Ярославль: Ремдер, 2009. С. 77–82.

Ивашина Е.С. Жанр литературных путешествий в России конца XVIII – первой трети XIX века. М., 1980.

Летягин Л.Н. Топология путешествий: профанное и сакральное // Ценности и смыслы. 2011.

№ 1. С. 126–135.

Мамуркина О.В. Травелог в русской литературе XVIII в.: К вопросу о жанровых источниках // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 9–10. С. 217–220.

Михайлов В.А. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях писателей XVIII–XIX вв.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1999.

Пономарев Е.Р. Терминология. Путешествие как метажанр // Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУКИ, 2013.

Строганов М.В., Милюгина Е.Г. Русская культура в зеркале путешествий. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013.

Тополова О.С. Типология очерковых записей в путевом дневнике второй половины XVIII века // Вестник славянских культур. 2013. № 3. С. 62–67.

Шачкова В.А. Путешествие как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Филология. Искусствоведение. 2008. № 3. С. 277–281.

Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб.: Академический проект, 2004.

T. I. Pecherskaya

Novosibirsk State Pedagogical University

PROJECT «ANNOTATED REFERENCE “RUSSIAN TRAVELOGUE OF THE 18TH – EARLY 20TH CENTURY”»: PROBLEM STATEMENT

Abstract. This part presents the project of annotated reference “Russian travelogue of the 18th - early 20th century”. The modern theoretical approaches to definition and typological classification of travelogues (travel literature) are studied. This part contains the concept of compiling of the annotated reference, its structure and the criteria of selection of the material. Travelogue is defined as a kind of nonfiction literature that includes different genres (official report, journal, scientific report of an expedition, travel diary, travel notes, letters, memoirs, essays, etc.). The main criteria of including a nonfiction travelogue into the reference are the presence or description of the travel itinerary (as a plot-forming element), the expression of personal attitude to the environment, describing it as new or foreign, alien, the transfer of personal experience and impressions.

Keywords: travelogue, travel literature, annotated reference of Russian travelogue, genre.

Information about the author. Pecherskaya Tatiana Ivanovna, Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Vilyuskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: ptatiana9@gmail.com).

РАЗДЕЛ I
ТРАВЕЛОГ И ТОПОС:
МИФОПОЭТИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Н.Е. Меднис

Новосибирский государственный педагогический университет

**КАВКАЗ И СИБИРЬ КАК ДВА ТОПОСА РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ XIX ВЕКА¹**

Аннотация. В статье сопоставляются принципы изображения Кавказа и Сибири в русской литературе XIX в. Рассматриваются исторические и эстетические причины сближения этих, на первый взгляд, полярных локусов. Историческая причина, по которой актуализируется указанная аналогия, большой интерес к Сибири в 1830-е и 1870–1880-е гг. объясняется тем, что Сибирь стала сначала местом ссылки декабристов, а затем народников. Эстетическая причина определяет перенос характеристики Кавказа на характеристику Сибири по законам романтической поэтики. Сибирь, как и Кавказ, культурно-психологически воспринимается через оппозицию «свое–чужое», Сибирь изображается с помощью образов, связанных с нетронутой, дикой, величественной, прекрасной природой. Угасание романтизма вывело тему Кавказа из литературы, но при этом актуализировало романтическое изображение Сибири в последней трети XIX в. Эти процессы рассматриваются на

¹ Первая публикация статьи: *Меднис Н.Е.* Сибирские рассказы В.Г. Короленко в контексте русской литературы и культуры XIX века // Сибирские страницы жизни и творчества В.Г. Короленко / отв. ред. Е.А. Куклина. Новосибирск: Изд-во «Наука» СО РАН, 1987. С. 54–63.

материале произведений Бестужева-Марлинского, сибирских рассказов и мемуаров Короленко.

Ключевые слова: Кавказ, Сибирь, романтизм, декабристы, народники, Бестужев-Марлинский, Короленко.

Сведения об авторе. Меднис Нина Елисеевна, доктор филологический наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета. Умерла в 2010 г. Статья является републикацией.

Сибирь принадлежит к числу тех областей России, которые в XVIII–XIX веках привлекали внимание русских художников, поэтов, читателей природной и культурной своеобразностью.

Русские романтики 20–30-х годов XIX века, выстраивая мир по принципу «расподобления обыденного», пытаются найти свой эквивалент западноевропейского ориентализма. Их внимание привлекают прежде всего такие территории, природа и культура которых вполне соответствуют поэтическому эталону, заданному байронической поэмой, – Кавказ, Крым, Бессарабия. В первой половине 20-х годов на основе культурно-исторического интереса заметно повышается внимание к Украине. При этом художники, оставаясь верными романтическим принципам, особенно рельефно подают черты южной экзотики в природе и быте этих областей.

Однако в своем территориально-поэтическом поиске русские романтики не ограничиваются только южными районами России. Здесь наблюдается значительный географический разброс крайних точек: юг и север – Кавказ и Финляндия, запад и восток – Бессарабия и Сибирь. Несомненно, наибольшее внимание в 20–30-х годах XIX века привлекает Кавказ. Но по мере отступления романтизма, по мере культурного освоения русскими значительных областей Кавказа, собственно эстетический интерес к нему начинает падать.

По отношению к Сибири ситуация оказывается иной. Малороссия и Сибирь, представленные Рылеевым в «Войнаровском» как две полярности, интересны именно этой крайней разведенностью, которая делает их сопоставимыми в своей неординарности.

Ореол страшного и вместе с тем таинственного, а стало быть, и притягательного, созданный поэзией, поддержанный историей (ссылка декабристов), на долгие годы будет определять в культурно-психологическом плане восприятие Сибири и ее изображение.

Важно заметить, что несомненная значимость исторического аспекта не является единственно определяющей при формировании в сознании жителей европейской части России образного стереотипа Сибири. Ведущим в данном случае было острое ощущение культурно-психологической дистанции, пролегающей между Европейской Россией и Сибирью. Показательно в этом отношении, что такое «популярное» место ссылки, как Вятская губерния, устойчиво изображается в русской литературе не просто непоэтически, а с подчеркнутым сарказмом, ибо из-за отсутствия культурно-психологической дистанции все в ней воспринимается как знакомое, но гипертрофированное в своем безобразии (яркий пример – «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина).

Острота ощущения культурно-психологической дистанции определила и особое отношение к Уралу как территориально-культурной границе двух областей. Оппозиция «свое–чужое» актуализировалась в сознании человека, пересекавшего Уральский хребет, несмотря на то, что логически он понимал – реального рубежа здесь нет: все это, по ту и по эту сторону Урала, единая территория России. Культурно-психологический стереотип в данном случае неизменно оказывался сильнее логики. Вот как описывал в 80-х годах XIX века

момент встречи с Сибирью Г. Кеннан, американский журналист и путешественник, для которого это событие оказалось более значимым, чем пересечение государственной границы России:

Когда мы, на другой день отъезда нашего из Екатеринбурга, проезжали через один уже сильно опустошенный лес между деревнями Марково и Тугулинской, наш кучер остановил лошадей и сказал: «Вот граница!». Мы поспешили выйти из тарантаса и увидели на дороге четырехугольную колонну в 10-12 ф[утов] высотой, сложенную из кирпича; на одной стороне был укреплен герб европейской губернии, Пермской, на дугой – сибирской губернии, Тобольской. Это был сибирский пограничный камень. Ни с одним пунктом, от С[анкт]-Петербурга до Тихого океана, не связано в России столько печальных воспоминаний; ни одна местность в России не имеет для путешественника такого интереса, как эта маленькая лесная поляна и этот каменный столб, освященный печалью и людским несчастьем. Сотни тысяч человеческих существ, мужчин, женщин и детей, князей, дворян, крестьян, сказали здесь отечеству, родине, друзьям и родным последнее прости.

Ни один пограничный столб в мире не был свидетелем такого горя, таких тяжелых невзгод, как этот; бесчисленные существа с разбитыми сердцами миновали его. С 1778 года прошли по этой дороге 170 000 тысяч изгнанников, а с начала этого столетия до полумиллиона. Так как столб этот находится почти на полпути между последним европейским этапом и первым сибирским, то с незапамятных времен существует обычай дать ссыльным здесь отдохнуть и сказать последний привет родине. Простой русский крестьянин, будь он даже самый закоренелый преступник, проникнут самой горячей любовью к родине; не удивительно, что здесь часто разыгрываются самые душевраздирающие сцены. Одни предаются вполне обуревающему их горю, другие ищут утешения в слезах; третьи падают ниц и прижимаются лицом к любимой родной земле или целуют

холодный каменный столб, как будто бы он был для всех символом всего дорогого, что они покинули...

До последнего времени сибирский пограничный столб испещрен короткими надписями, именами и прощальными приветствиями преступников, выскобленными на цементе, которым был облицован столб. Во время моего проезда цемент уже пообвалился, и лишь местами можно было найти какую-нибудь надпись. Так, в одном месте я прочитал: «Прощай навсегда, Маша!». Для изгнанника, начертившего это последнее прощание, Маша была самым дорогим существом в мире; перейдя через границу, он должен был расстаться и с отечеством, и с родиной, и с любовью [Кеннан, 1906, с. 32–33].

Во многих рассказах Короленко образ этой границы и острота ее ощущения воссоздаются и выражаются в одном слове – Россия. Короленко, как правило, воспроизводит в рассказах сцены сибирской жизни, оставляя позади или обходя стороной пиковый момент пересечения границы. Но вот, скажем, в рассказе «Последний луч» сюжетобразующей становится оппозиция «Россия – Сибирь», и фразы типа «Так вы, говорите, тоже из России?»; «Впоследствии, вернувшись в Россию...»; «... декабрист Захар Григорьевич Чернышов вернулся в Россию», задавая динамику перемещений, вводят в рассказ драматический образ границы и воссоздают ощущение именно культурно-психологической дистанции.

Ощущение этого, при всей его значимости и устойчивости, для въезжающих в Сибирь не являлось статичным. Здесь есть своего рода диалектика, на которую указывает Лесков в рецензии на книгу С. Турбина и Старожила «Страна изгнания и исчезнувшие люди. Сибирские очерки» (СПб., 1872):

В этой заботе о хлебе притупляются и со временем врачуются или гаснут порывы *nostalgia*, и переселенец становится

старожилом, а потом и туземцем, которого новые пришельцы, в свою очередь, станут дразнить *чалдоном*, а он их считать *необразованными мужиками* [Лесков, 1958, с. 177].

Однако ни действие принципа относительности, ни перемены во взглядах и образе жизни осевших в Сибири переселенцев не стирали в их сознании память о границе и о том, что осталось по ту сторону Урала.

Это отношение к Сибири как к своему и одновременно чужому позволяло воспринимать и описывать ее не только отстраненно, но и остранинно, что в конечном итоге приводило к сближению в ряде случаев эстетических принципов изображения таких, казалось бы, полярностей, как Кавказ и Сибирь. Сибирь в определенные периоды становилась своего рода эстетическим эквивалентом Кавказа. Это особенно заметно в ряде произведений А.А. Бестужева-Марлинского, последовательно реализующего в повестях романтический канон, который предписывает изображать «природу первобытную и дикую, непроходимые леса, вершины гор, покрытые снегом, стремнины и пропасти, прилив, шумящий у морских утесов» [Жирмунский, 1978, с. 169]. Перечисленные атрибуты равно характерны для кавказского и сибирского пейзажей, поэтому, к примеру, в «Письме к доктору Эрману» Бестужева-Марлинского соседствуют и явно перекликаются такие зарисовки:

Путешествие мое было не очень сентиментально, зато очень живописно. Вы ничего не видали, не видеv Лены весною; это прелесть! За каждой излучиной новая картина, новое очарование. Вообразите разлив вод, которому в пору гомеровское выражение: поток-океан, высоко упершийся в утесы и отражающий лесистые вершины их в своем зеркале. И все дико, и все тихо. Не голос человека – один рокот грома смущал там порой сон полупробудившегося творения... И как величава

гроза над этим краем! Молния то расшибалась о череп скал, то жар-птицей купалась в кипящих, мутных валах. Кедровые падали, как тростник под тяжким полетом туч, и возмущенный бор плескался и выл, как море. Но зато как мирно, как радостно выходило утро на крыльцо гор, сыпля рублины с крыльев своих. Облака еще дремали, оперевшись об утесы, и с вольнодышащего потока летел серебристый туман, между тем как по узкой тропинке небольшой караван мой вздымался на круть, оглашая пустыню криками *бар, бар* (пошел) и ударами бичей. В тишине сливались реки, заграждавшие мне путь широко текущим путем Лены, и скалы ее берегов воздвигались, как башни мечтательного замка духов, над мшистыми зубцами которого стояли вековые сосны, подобно знаменам [Бестужев-Марлинский, 1958, с. 296–297]

И через страницу:

По ермолинскому Семплону взбирался я в область громов, и сказу прямо, что кто видел Кавказ в грозу и ведро, тот может умереть, не завидуя Швейцарии. Вдали, как исполинские волны застывшего океана, вставали горы над горами, увенчанные алмазной пеною снегов; угрюмо, как минувшие столетия, висели надо мной громады, и над ними сверкал снежный перун лавин, готовый низринуться от жаркого луча солнца, от крыла ветра. Далеко под стопами моими бродили облака, подобясь стадам златорунных оводов. В стороне горные потоки, надменные дождями, ниспадали млечной струей и едва внятно роптали в глубине. Роскошное, многообразное прозябание опоясывало ребра Кавказа земной перевязью. Дикий виноград, перевитый вязями плюща, рдел по расселинам... Какой переход от края, где нет ни роз, ни соловья! Я упивался зрением... я любовался Казбеком, на ледяных раменах которого отдыхали облака, и ненаглядною цепью опаловидных гор, и голыми утесами ущелия – и все было так мирно кругом, все, кроме кровожадного человека [Там же, с. 298–299].

Упоминая о «переходе», Бестужев-Марлинский стремится подчеркнуть контраст севера и юга, но реально, сводя противоположности, он рисует обе картины одними красками. Здесь сходно все: от композиционного принципа («в грозу и вёдо») до образности и масштаба изображения.

Но есть в изображении Кавказа и Сибири один момент, указывающий на их глубокое культурно-историческое и, как следствие, функционально-поэтическое различие. При описании Кавказа наряду с обрисовкой диких нравов и своеобразной природы постоянно встречаются образы-сигналы, говорящие о древности угасшей культуры:

Города, как, например, Карс и Гассан Кале (говорят, некогда Феодосиополь)...;

Я бродил по развалинам царства армянского, видел горы, в которые упиралась радуга завета Божия с народом своим...;

Теперь я живу, то есть дышу, в Дербенте, городе с историческим именем и с грязными улицами [Там же, с. 301–305].

Ничего подобного нет в описаниях Сибири. В них мотив вечности устойчиво связывается с нетронутой цивилизацией первозданной природой. Созданный Бестужевым-Марлинским образ «полупробудившегося творения» оказался устойчивым для произведений сибирской тематики. Именно этот широко встречающийся образ уже в 30-х годах XIX века сохранил в себе зерно, из которого выросло специфическое восприятие и описание Сибири в памятниках культуры и литературе 80–90 годов, поэтически и функционально во многом сходное с изображением северных областей Америки в литературе американского романтизма (Д. Лондон, к примеру). Уже в Письме к доктору Эрману» есть такое замечание о поездке по Лене:

... это было совершенное путешествие по пустырям Канады [Там же, с. 298]

Переходя к воплощению сибирской темы в литературе 80–90 годов, необходимо отметить, что в развитии ее в беллетристике XIX века было два пика: первый – 30-е годы, второй – 80–90-е годы. В целом в XIX веке «кривая» интереса к Сибири, отразившаяся в литературе, изменяется от десятилетия к десятилетию. Наиболее наглядно эти перемены в обращении писателей к сибирской теме по десятилетиям можно проследить по периодической печати, отражавшей массовый читательский спрос. По данным библиографического справочника «Сибирская тема в периодической печати, альманахах и сборниках XIX века (1800–1900 гг.)», составленного А.А. Богдановой, в течение ста лет в изданиях указанных типов было опубликовано 778 художественных произведений на сибирские темы. По десятилетиям они распределяются так: 1800–1820 гг. – 23 произведения, 20-е гг. – 67 произведений, 30-е – 91, 40-е – 47, 50-е – 42, 60-е – 33, 70-е – 52, 80–90-е гг. – 423 произведения. Таким образом, мы наблюдаем резкий подъем интереса к сибирской тематике в 20-е годы с дальнейшим его повышением в 30-х; затем начало длительного спада (40–60-е гг.) с нижней точкой в 60-е годы, некоторое возрастание в 70-х и взрыв массовой заинтересованности Сибирью в 80–90-х годах.

Несомненно, все это связано с исторической жизнью России. Такие колебания явно перекликаются идеологически и культурологически. Завершение расследования по делу декабристов и последовавшие за ним массовые ссылки в Сибирь дали толчок первой волне интереса; убийство Александра II, политические процессы 70–80-х породили вторую мощную волну. Показательно, что политические ссыльные 80-х годов

признают и подчеркивают свое духовное родство с декабристами. В «Истории моего современника» В.Г. Короленко часто упоминает сохранившиеся в Сибири следы пребывания декабристов. Одна из глав книги четвертой прямо называется «Воспитанник декабристов». Но помимо прямых параллелей Короленко, характеризуя русскую интеллигенцию 70–80-х годов, народников, дает материал и для параллелей характерологических, поведенческих.

В статье о бытовом поведении декабристов Ю.М. Лотман пишет: «Декабристы строили из бессознательной стихии бытового поведения русского дворянина рубежа XVIII–XIX веков сознательную систему идеологически значимого бытового поведения, законченного как текст и проникнутого высшим смыслом» [Лотман, 1875, с. 70]. Конкретно это выражалось в том, что высокоразвитое чувство чести и вера в свою неординарность заставляли «каждый поступок рассматривать как имеющий значение, достойный памяти потомков, внимания историков, имеющий высший смысл. Отсюда, с одной стороны, известная картинность и театральность бытового поведения <...> а с другой – вера в значимость любого поступка и, следовательно, исключительно высокая требовательность к нормам бытового поведения. Чувство политической значимости всего своего поведения заменилось в Сибири, в эпоху, когда историзм стал ведущей идеей времени, чувством значимости исторической» [Там же, с. 69–70].

Нечто подобное, не проводя прямой аналогии, наблюдает Короленко в поведении народников. В «Истории моего современника» он нередко отмечает необычность, эксцентричность, с его точки зрения, поведения многих политических ссыльных. А-в, окликавший свою невесту во всех уездных тюрьмах, Рогачев, Мышкин, Войнаральский и Ковалик, князь Цицианов представлены на страницах книги именно с точ-

ки зрения неординарности их поведения. В пределах данной статьи нет возможности подробно рассматривать систему бытового поведения народников – это должно стать темой отдельной работы, – но определяющий принцип их поведения очень точно указан Короленко. Описывая эпизод вооруженного сопротивления, оказанного кн. Цициановым при аресте, Короленко фиксирует внимание на психологических деталях поведения арестованного:

Цицианов долго ходил в задумчивости по комнате, в которой жандармы проводили обыск, как-будто глубоко что-то обдумывая, потом внезапно выхватил револьвер и выстрелил. Не помню теперь, ранил ли он кого-нибудь, или это был только символ (курсив мой. – *Н.М.*) сопротивления. Помню, однако, что и тогда вся обстановка этого выстрела давала впечатление не столько непосредственного импульса, сколько рефлексии и раздумья [Короленко, 1955, т. 7, с. 260–261].

Говоря далее о последователях кн. Цицианова, в частности о Ковальском, Короленко замечает:

Было немало указаний, что это был тоже не непосредственный импульс ненависти, а сопровождаемое рефлексией исполнение как бы *программного* (курсив мой. – *Н.М.*) долга [Там же, с. 261].

Именно программность как основа системы поведения роднит народников с декабристами.

Таким образом, сходство исторических ситуаций 20–30-х годов, переключки, при всем их различии, политических программ декабристов и народников, общность основы трагедии русской интеллигенции разных поколений («Борьба без народа» – так Короленко называет одну из глав в «Истории моего

современника»)), сходство ряда черт бытового поведения борцов за свободу и справедливость – все это так прочно связывает 20–30 и 70–80-е годы, что и в воплощении сибирской темы в литературе первого и последнего тридцатилетий XIX века неизбежно должны были появиться некоторые общие черты. И они появились.

В.М. Жирмунский, говоря об изображении Кавказа писателями второй половины XIX века, замечает, что «писатели-реалисты во второй половине XIX века вряд ли сумели бы найти применение в своих произведениях для биографических впечатлений поездки по романтическому Кавказу; у Толстого, например, эти впечатления служат исключительно задаче разрушения привычных романтических шаблонов <...> Современный русский поэт Маяковский, выросший на Кавказе, никогда не возвращается в стихах к этим биографическим воспоминаниям, которые не находят себе места в его “городской” поэзии. Таким образом, следует признать, что не всякое биографическое переживание апперципируется в данную эпоху как тема и что важнейшим фактором этой апперцепции является не биографическая данность, а художественное задание известного типа [Жирмунский, 1978, с. 168–169].

Применительно к Кавказу данное утверждение не вызывает сомнений, но по отношению к Сибири прямо противоположный результат. В литературе 80–90-х годов очень заметна биографизация и связанная с субъективным переживанием романтизация именно в развертывании сибирской темы. Пример того в творчестве Короленко – такие рассказы, как «Убийец», «Черкес», «Соколинец», «Мороз» и другие.

Среди причин, обусловивших это явление, можно выделить две самые существенные. Во-первых, большая часть русских писателей, обратившихся в 70–80-х годах к сибирской теме, представляла в литературе этого периода социоло-

гический реализм, породивший именно в это время вторую волну просветительского реализма. А в сознании многих писателей-просветителей, близких к народническим кругам, с движением времени, как известно, нарастало противоречие между неприемлемым сущим мироустройством, с одной стороны, и желаемым, но трудно воплотимым должным, к утверждению которого в реальном мире они так стремились, – с другой стороны. Возникший глубокий разрыв идеала и действительности был благодатной почвой для появления романтических настроений, картин, характеров. Не случайно и герои сибирских рассказов Короленко – люди, как правило, не только неординарные, но личности исключительные, отмеченные печатью истории, природы, судьбы: черкес со всем признаками героев «кавказского типа» («Дьявол – не человек!»), бродяга – герой рассказа «Соколинец», уже в портрете которого подчеркиваются «особенное выражение лица», «пылкость страстной натуры», «беспокойная напряженность внутренней борьбы»; ссыльный поляк из рассказа «Мороз», о мироотношении которого прямо сказано: «Я думаю, что это можно назвать романтизмом», и др.

Разумеется, в данном случае речь не может идти о воскрешении, скажем, в сибирских рассказах Короленко романтической системы 20–30-х годов. Романтическое начало в произведениях на сибирские темы 70–80-х годов есть во многом следствие изменения масштаба мировосприятия, которое происходит в момент пересечения границы Сибири, с переходом за Уральский хребет. Актуализация культурно-психологической дистанции, обостренность чувства, неизбежная остраненность при восприятии окружающего («чужого»!) приводят к укрупненному видению и изображению жизни. Но при этом у Короленко, к примеру, рассказчик всегда наделен как бы двойным зрением и двойной мерой. С од-

ной стороны, он воспеваает самобытность, порой исключительность героя, с другой, как трезвомыслящий человек и аналитик, он снимает всякую абсолютизацию и возвращает себя и героя в быт. Поэтому романтизированные герои сибирских рассказов Короленко всегда даются в двойном освещении. Так, в портрете черкеса отмечены как соседствующие выражения вражды и испуга, «мгновенный взгляд, острый, ясный, испытующий», но и «оттенок печали, который можно заметить в глазах травленого зверя, внезапно попавшего в засаду», сила и слабость.

Таким образом, Короленко с сибирских рассказов не воскрешает прежнюю романтическую систему и не является творцом неоромантической. Созданное им явно наделено чертами синкретичности, что само по себе обнажает процесс зарождения в недрах просветительского реализма романтизма конца XIX века. Но общее культурно-психологическое восприятие Короленко Сибири несет на себе печать романтического. Показательно в этом отношении замечание повествователя в рассказе «Черкес»:

... удаляющийся звон колокольчика слышался как-то тупо, приглушаемый густо падающим снегом, только дикие взвизгивания черкеса прорезали еще несколько раз ночной воздух, точно резкие крики ночной птицы.

Эти звуки, полные дикого возбуждения, надолго остались у меня в памяти, и впоследствии не раз, когда я с стесненным сердцем смотрел на угрюмые приленские виды, на этот горизонт, охваченный горами, по круглым склонам которых теснятся леса, торчал скалы и туманы выползают из ущелий, – мне всегда казалось, что этот дикий крик хищника носится в воздухе над печальной и мрачной страной [Короленко, 1953, т. 1, с. 237].

Мы рассмотрели только одну тенденцию в развитии сибирской темы литературой 80–90-х годов. Но именно в это

время на литературной арене появляется большая группа сибирских писателей, связанных с этим краем в корне, изначально, и, следовательно, в отличие от европейских русских, не воспринимающих его дистанцированно. В их произведениях представлен герой другого типа (например, сибирский крестьянин, как в творчестве Н.И. Наумова), снята его исключительность, исчезают романтические элементы. Более того, в ряде случаев в произведениях писателей-сибиряков ясно проступают черты физиологического очерка (например, в очерках Н.И. Наумова, Н.М. Ядринцева и многих других).

Указанные две тенденции, разделяясь и взаимодействуя, определяют поэтику воплощения сибирской темы в литературе последней трети XIX века.

Литература

Бестужев-Марлинский А.А. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1958.

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.

Кеннан Г. Сибирь! // Всемирный вестник. 1906. № 4. С. 24–45.

Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1953–1955.

Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 10. М., 1958.

Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1875. 25–74.

Сибирская тема в периодической печати, альманахах и сборниках XIX века (1800–1900 гг.) / сост. А.А. Богданова. Новосибирск, 1970.

N.E. Mednis

Novosibirsk State Pedagogical University

**THE CAUCASUS AND SIBERIA AS TWO TOPOI
OF RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE
OF THE 19TH CENTURY²**

Abstract. The article compares the principles of depicting the Caucasus and Siberia in Russian literature of the 19 century. The historical and aesthetic reasons for convergence of these seemingly polar loci are studied. The historical reason that actualized this analogy is great interest to Siberia in 1830 and 1870-1880 due to the fact that Siberia was the place of exile of the Decembrists, and later the narodniks. The aesthetic reason determines the transfer of characteristics of the Caucasus on Siberia according to the laws of romantic poetics. Siberia is culturally and psychologically perceived by the opposition of “home” and “alien”, as well as the Caucasus. Siberia is represented by images of pristine, wild, magnificent, beautiful nature. Dying of Romanticism brought the theme of the Caucasus away from literature, but put in use the romantic image of Siberia in the last third of 19 century. These processes are considered on the material of prose by A.A. Bestuzhev-Marlinsky and the Siberian short stories and memoirs by V.G. Korolenko.

Keywords: Caucasus, Siberia, romanticism, the Decembrists, the “narodniks”, Bestuzhev-Marlinsky, Korolenko.

Information about the author. Mednis Nina Eliseevna, Ph.D., professor of Novosibirsk State Pedagogical University. Died in 2010. This article is a reprint.

²First published: Mednis N.E. The Siberian short stories by V.G. Korolenko in the context of Russian literature and culture of the 19th century // Siberian pages of life and artworks of V.G. Korolenko / ed. E.A. Kuklina. Novosibirsk: "Science" SB RAS, 1987. P. 54–63.

В.В. Мароши

Новосибирский государственный педагогический университет

**«ИДЕАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ»
В ТРАВЕЛОГАХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ¹**

Аннотация. Идентификация ландшафта как идеального в русских травелогах обусловлена прежде всего культурными кодами европейской традиции, связанными со словесными и визуальными образами «земного рая», Золотого века и «Обетованной земли». Значимы также специфические «русские» коды похожести / непохожести на рельефы и флору пейзажей России. В первой трети XIX в. используются мотивы горного романтического и сентиментально-идиллического ландшафта, которые сохраняют свою актуальность на протяжении всего столетия. Важен миметический контекст конкретного путешествия, развертывающегося в сложных климатических и рельефных условиях Центральной Азии с резким контрастом различных поясов гор, оазисов и пустынь, весны и зимы. Участники «миссионерских» путешествий описывают сакральные сооружения (монастыри, обо) как центр идеального ландшафта. Исследовательские описания с использованием научной терминологии в травелогах русских ученых второй половины XIX – начале XX в. становятся частью живописной панорамы. Дискурс русских путешественников, в котором происходит конвергенция европейских эстетических кодов ландшафта с естественнонаучными, национальными, локальными (например, монгольским Хангаем), будет продолжен и в исследовательских травелогах советского времени, в частности, в записках писателя и палеонтолога И. Ефремова.

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – начала XX веков»).

Ключевые слова: травелог, идеальный, пасторальный, идиллический пейзаж, Эдем, Центральная Азия.

Сведения об авторе. Мароши Валерий Владимирович, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» (630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28. Тел. (383) 244-06-30. E-mail: maroshi@mail.ru).

«Идеальный ландшафт» в восприятии путешественника – это прежде всего «приятное место» («*locus amoenus*»), которое вызывает в нем специфическую эмоциональную и эстетическую рефлексию красоты и обеспечивает, как правило, комфортность его локального передвижения и обустройства. Поэтому идентификация такого ландшафта как идеального обусловлена прежде всего культурными кодами европейской традиции, связанными со словесными и визуальными образами «земного рая», Золотого века и «Обетованной земли».

Нет сомнения в том, что русский путешественник в Азии XIX века воспринимает себя как представителя Европы и Просвещения на Востоке. Общие места топоса идеального европейского пейзажа, восходящие к античной поэзии суммированы в фундаментальной книге Э.Р. Курциуса [Curtius, 1953]. В отечественном литературоведении их обобщил, с поправкой на функционирование идиллического ландшафта в русской поэзии, М.Н. Эпштейн: «Мягкий ветерок... доносящий приятные запахи; 2) вечный источник, ручеек, утоляющий жажду; 3) цветы, широким ковром устилающие землю; 4) деревья, раскинувшиеся широким шатром, дающие тень; 5) птицы, поющие на ветвях. В пасторали к ним добавлялся мирно пасущийся скот, зеленая трава и луга» [Эпштейн, 1990, с. 131].

Добавим, что риторика идеального пейзажа в русской поэзии формируется на пересечении жанровых конвенций, вос-

ходящих к жанрам античной буколики – идиллиям Феокрита, Мосха, Биона, эклогам Вергилия, но не в меньшей степени и под влиянием эскапистской европейской пасторали второй половины XVIII века, которая транслировала похожий набор мотивов и персонажей, – таких сборников, как «*Idylles et Poemes Champetres*» (1782) Н. Леонарда, «*Idyllen*», С. Геснера (1772) и др. Примечательно, что брат одного из русских путешественников, Е.Ф. Тимковского, И.Ф. Тимковский перевел «Идиллии» Геснера в 1802–1803 годах. Пасторальную поэзию Европы, с соответствующей временной дистанцией «перепевали» собственно русские идиллии и дружеские послания романтической эпохи – К. Батюшкова, А. Дельвига, Н. Гнедича, В. Панаева, А. Пушкина и др. В первой трети XIX века идиллический пейзаж уже не был связан с определенным жанром и мог использоваться в самых разных поэтических произведениях и в путевой прозе.

Для нашей темы значимо то, что идеальный пейзаж, как правило, мог включать в себя не только открытое пространство равнины (нивы, луга, пастбища), но и – под влиянием идиллий Феокрита – «неровный» рельеф: пологие склоны холмов или гор и даже скалы, окружающие пастухов, горные долины, по которым сбегают упомянутые выше ручьи и ключи. Обратим внимание и на то, что созерцание идиллического пейзажа в русской поэзии, уже строится как динамическая картина движения перед статичным наблюдателем («подвижные картины»), как бы предвосхищая возможное перемещение самого созерцающего в роли путешественника:

Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака белее иногда.

За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали **рассыпанные** хаты,
На влажных берегах **бродящие стада**

[Пушкин, 1985, т. 1, с. 202]

Романтический ландшафт идиллии, сохраняя важнейшие признаки античного пейзажа (пение птиц, тень деревьев, огороды, поля), может до предела насыщаться риторической экспрессией – метафорами, контрастами, гиперболами, в том числе и в прозе. Так, в повести Гоголя привычные мотивы идеального летнего ландшафта – плодоносящие поля, огороды, луга, пение птиц, тень деревьев, «река-красавица», перемещение пасторальных стад – дополнены метафорически «гуляющими» и «кочующими» деревьями и стогами, «капризами» реки, игрой и контрастами светотени, предельной яркостью цвета, изобилием насекомых, уподобленных драгоценным камням:

Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и **серебряные песни** летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка **крик чайки** или **звонкий голос перепела** отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей **зажигают** целые живописные массы листьев, **накидывая** на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре **прыщет золото**. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых **сыплются** над **пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками**. Серые стога сена и **золотые снопы** хлеба **станов** **располагаются** в поле и **кочуют** по его неизмеримости. <...> Она (река. – В.М.) почти каждый год **переменяла** свои окрестности, **выбирая себе новый путь** и **окружая** себя новыми, **разнообразными ландшафтами** [Гоголь, 1959, т. 1, с. 14–16].

Таким образом, идеальный романтический пейзаж даже без персонажей как бы путешествует внутри самого себя.

Естественно, что в процессе получения нового опыта часто используются готовые когнитивные сценарии. Поэтому в наррации русского травелога рассказчик зачастую прибегал к повествовательным клише сентиментализма и романтизма, тем более в описании понравившегося ему ландшафта. Европейский топос идеального пейзажа становился матрицей словесного опознавания экзотического, прежде всего «горного» Востока – Кавказа, Крыма, Балкан. С другой стороны, преувеличение роли риторического фактора опасно игнорированием реального контекста конкретного путешествия, развертывающегося во вполне определенном географическом пространстве, климате, времени года, бытовых условиях, которые могут быть весьма далеки от идиллических.

Как известно, на протяжении веков гористые пространства Центральной Азии были зоной кочевого скотоводства, с которым большинство русских путешественников, привыкших к оседлой земледельческой культуре, сталкивалось впервые. Поэтому весьма некомфортные условия жизни кочевников воспринимались через привычную призму европейской пасторали и ее риторики. Так, на въезде из России в Северную Монголию путников Русской православной Миссии встречает скотоводческая пастораль:

По восхождении солнца увидели мы большие стада и верблюдов, пасущихся овец, быков и верблюдов. <...> Вот первая картина кочевой жизни, для многих из нас совершенно новой, возбуждавшей приятные мечтание о давних мирных временах и беззаботном хозяйстве патриархального века [Тимковский, 1824, ч. I, с. 22].

Это типичный пасторальный пейзаж, где боги дают скоту и пастухам изобильную еду и питье. Роль античных богов-покровителей в комментариях к пейзажам играет сама Природа, *Натура*: «Места, благословленные природой!» [Тимковский, 1824, ч. III, с. 141].

Год спустя эта пастораль изображается еще ярче, но уже по контрасту со скудостью оставленных позади гобийских пустынных пейзажей, кроме того, путники въезжают в Халху обратно в июле–августе, на пике растительной вегетации:

Растительное царство было в полной силе; **горы гордились множеством разнообразных цветов, долины тяготели под густыми травами; тучный скот изобильно снабжал молоком**, из которого монголы готовили **и пищу и вино**. Словом, в сие время в Халхе было всеобщее торжество и в природе и между людьми [Бичурин, 2010, с.110].

Особое умиление у русского монаха вызывает принадлежность этих стад хутухте, монгольскому первосвященнику:

Места состоят из **превосходных паств, привольных водою и травюю**. Здесь паслись многочисленные стада овец и буйлов, принадлежащих, как сказывали, Хутухте [Там же, с.109]; Луга по сю сторону хребта были покрыты **хорошими травами**; по тучным паствам ходили многочисленные стада буйволов, принадлежащих Хутухте-Гегену [Тимковский, 1824, ч. III, с. 124].

«Тучные паствы» – нарративное клише как русской поэзии, так и отечественного травелога еще с XVIII века:

Выехавшего в Архангельск с трескового лова промышленника узнать можно, как говорится, без подписи. Они, как с туч-

ной паствы быки, отличаются румянностью лица и полнотой тела [Фомин, 1805, с. 330];

Она усеяна замками; украшена прелестными садами. Стада и табуны находят там **тучную паству**, а земледелец благодарную землю, возвращающую десятицею вверенное ей верно. Довольство видно там в хижинах; богатство блещет в домах; гостеприимство повсеместно. Буг, Горен и Днестр, вместе со множеством других речек, усыряя землю, доставляют большие пользы лугам и нивам и великие средства торговле [Глинка, 1987, с. 251];

Вкушая толь приятны яствы, / Когда уж тмится небо-склон, / Как мило зреть со всех сторон / При возвращеньи с **тучной паствы** / Стада, теснящиеся в загон [Капнист, 1973, с. 200].

В данном контексте «паствы» имеют еще один имплицитный смысл: это стада монгольского первосвященника, который «окормляет» и преданных ему буддистов – вторую «паству».

Очевидный интерес ко всему «сакральному» вне сугубо конфессионального (напомним, что Е. Тимковский закончил Духовную академию в Киеве, а о. Бичурин был монахом) сподвиг участников Русской Миссии поместить буддийский монастырь в центр «пленительного» ярусного пейзажа (склоны гор, поросшие дикими цветами, хвойный лес, поле со злаками, река):

На левом берегу **Шара-гола** под густым сосновым лесом на подошве горы находится **небольшой монастырь**, пред которым правый берег **Шара-гола** покрыт был **созревшим просом**. Местоположение подлинно **пленительное**. Дорога от ночлега до **монастыря** лежит по правому берегу **Шара-гола**, а потом, окружив гору, идет на восток вверх по **Куйтын-голу**; но в сем году проложена новая, которая против самого **монастыря** по-

ворачивает на гору и продолжается чрез отлоги до Куйтын-гола, за 25 ли от впадения сей речки в Шара-гол. На сем переезде, также как и на следующем, видели мы по скатам гор дикий созревший лен и дикий желтый мак, еще расцветавший; дикий чеснок по низменным местам рос в великом множестве и только что отцветал [Бичурин, 2010, с.113–114].

Бичурину вторит Тимковский, чиновник, а не монах, поэтому описание того же локуса у него выходит более литературным и менее сакрально ориентированным, характерна, в частности, замена нейтрального «монастыря» на языческое «капище»:

Места сии по справедливости можно назвать живописными. По косогору растут большие сосны; есть березы, осины, шиповник и проч. У подошвы горы течет река Шара; луга ее покрыты густыми травами и ильмовником; за рекою стоит капище с красной крышей, над оным гордо возвышается горный хребет и вечно зеленеющийся сосновый бор; на равнине волнуются золотистые нивы. (Ср.: «Когда волнуется желтеющая нива...», «Надо мной чтоб вечно зеленел...» [Лермонтов, 1988, т. 1, с.161; с. 222]) [Тимковский, 1824, ч. III, с.136].

«Золотая нива» и по сей день остается клише идеального сельского пейзажа в России и одним из штампов массовой культуры.

Другими доминантами пейзажа могут стать «красные» (хвойные леса) и горные ручьи, а пастушеская пастораль у обоих путешественников по мере приближения к России сменяется земледельческой: они все-таки представители оседлой культуры:

Во всю дорогу по Монголии я не видел места, которое обещало бы столько выгод для жителей оседлых и сельского хозяйства [Там же];

Сия речка есть не что иное, как ручей; течет здесь на восток, и с севера принимает в себя ключ Наринь-могай. **Травы и здесь очень хороши и земли удобны для земледелия**, которое, как видно по залогам, еще не в давних годах оставлено. С вершин Урухэгауских начались **красные леса** и потянулись на северо-восток. Местоположение при истоке Наринь-могая **прекраснейшее**. Четвероугольная возвышенная долина с трех сторон окружена лесистыми высотами, а с южной отделена болотистым Наринь-могаем; но по восточную сторону долины тот же ключ извивается в густой древесной тени [Бичурин, 2010, с.115].

Как мы уже убедились, для ландшафта травелога значимы и специфические «русские» коды похожести / непохожести на рельефы и флору пейзажей «любезного своего Отечества», с которыми путешественник сравнивает созерцаемую им природу или по которым он испытывает сентиментальную ностальгию. В процессе опознавания «своего в чужом» знаками русского пейзажа станут знакомые деревья, ягоды, цветы:

Гора состоит из красного гранита, коего большие куски разбросаны по отлогостям. Вершина ее и ущелия заросли **березником, жимолостью и кустами красной смородины**, на коих еще довольно сохранилось ягод, невзирая на осеннее время. Не столько нам приятен был вкус ягод, как самый вид сего произведения природы, находящегося повсюду в садах нашего отечества [Тимковский, 1824, ч. I, с. 60];

И здесь травы весьма хороши, особенно по горным падям, которые в сие время **преизобиловали цветами**. Во многих местах по косогорам находились **березовые лески** [Бичурин, 2010, с. 110];

Отлогий подъем на Мангадай с юга, около трех ли, и от самой подошвы до вершины горы покрыт березовым лесом. Ключ с самого верха горы до ее подошвы извивается по правую и по левую сторону дороги. Здесь попадались разные кустарники и травы, сродные средней полосе России. Около ручья много росло черемухи, черной и красной смородины; а на горе, в березняке, часто попадались малинник и марьян корень (пион), уже отцветший [Бичурин, 2010, с. 113].

Резиденция вана в Урге, хотя и очень отдаленно напоминает сад в русской усадьбе, соотнесена путешественниками-«миссионерами» с идиллическим пространством:

Прохладительный ручей, журчащий под окнами в тени густых кустарников, и у нас можно бы почесть одним из прекраснейших предметов сельской роскоши в саду. Князев сад есть не что иное, как огороженный луг в нижней долине с беседкою и несколькими кустами ивняка. В нем ходил рослый, белый, любимейший князев конь! [Бичурин, 2010, с. 107].

Очевидно, что даже частичное заполнение описательной матрицы (луг, густые кусты, прохладный ручей, пасущийся красивый конь) уже превращает пейзаж в идеальный. Уже устав от номадического пасторального пейзажа, путники воображают себе русский:

На лугу стоит несколько ив, травы густы и высоки: сколько бы стогов сена было поставлено нашими поселянами! Теперь бродит здесь скот, изминая ногами тучные пажити [Тимковский, 1824, ч. I, с. 55].

В травелогах первой трети XIX века горный пейзаж Центральной Азии строится на противопоставлении вершин и долин. Поэтому описание романтического «дикого», насыщен-

ного контрастами горного или гористого ландшафта (высокие скалы, страшные утесы, «руины») переплетается с мотивами типично сентименталистской идиллии «долины»:

По обеим сторонам возвышаются утесы, инде отвесные изъ цельных кабанов гранита или сланца, инде навислые, **полуоторванные**, готовые, кажется, обрушиться на путника при одном сотрясении воздуха. Но сии **высокие утесы** составляют только основание, на котором лежат другия **огромнейшия толщи сланца и гранита**. Время покрыло голые бока и вершины их тонким слоем пыли, по которой стелются изумрудные мхи – несравненное украшение их. Но при подошве утесов, посреди **ужасов разрушения**, местами видны небольшие пашни, местами сельские домики, окруженные орешником, каштанами, абрикосами, жужубами (*Жужубы* суть Китайские финики, особого рода от Индейских; рождаются на обыкновенных деревьях, а не на пальмах; величиною, округлостью, сладкостью тела и косточкою внутри плода сходствуют с финиками) и виноградными лозами.

Ручей, струясь по камням, то падает с **гранитных отломков** из-под **тенистых кустарников** в виде каскада, то скрывается под основаниями утесов, и **томным своим журчанием** призывает утружденных путников под **тень древесную** (В проезд наш, действительно один крестьянин спал при большой дороге у ручья под густою тенью дерева Хуай-шу, а осел его стоял подле него, привязанный к сему дереву). Но в сих же самых местах, где теперь каждый предмет обворожает чувства и глубокое молчание едва прерывается пением птичек, летом нередко **необыкновенные громы и ярящиеся дождевые потоки** представляют **разрушение мира**; а зимою, посреди опустошений природы, слышны токмо ужасный свист ветров и страшный рев тигров. Сие слияние дикости с нежностью, **соединение ужасных видов с приятностию**, величественный беспорядок – произведение могущественной природы, поставили Цзюй-юнъ-шань в числе осьми пленительных

местоположений в окрестностях Китайской столицы. Цзюйюнь не увлекает человека к восторгам, но льет в душу его сладостное чувство меланхолии [Бичурин, 2010, с. 50–51].

С середины XIX века, после создания Русского географического общества, дискурс русских путешественников по Центральной Азии существенным образом изменился. Земли тогдашней Китайской империи стали привилегированным объектом для многочисленных научных экспедиций, носивших, как правило, комплексный характер. Описание ландшафта приобретает черты классифицирующего и типизирующего научного анализа. Для менее сентиментально и религиозно настроенных путешественников-исследователей, сменивших миссионеров в монгольских травелогах, постоянной будет скорее суммарная, в том числе и сравнительная характеристика пейзажа. Так, основатель самой влиятельной «школы» российских центральноазиатских экспедиций, Н.М. Пржевальский, уже дает обобщающее сопоставление местности с природой прилегающего к Центральной Азии российского Забайкалья и Дальнего Востока:

В общем растительность гор Муни-ула много напоминает собой сибирскую флору; однако описываемые леса несут совершенно иной характер нежели наши сибирские. Здесь **не видно роскошной растительности**, столь поражающей путешественника на берегах Амура и Усури [Пржевальский, 1946, с. 292];

На всем протяжении от Кяхты до Урги, где расстояние около 300 верст, местность несет вполне характер лучших частей нашего Забайкалья; здесь то же **обилие леса и воды**, те же **превосходные луга на пологих горных скатах** словом, путнику еще ничто не возвещает о близости пустыни [Там же, с. 23].

Однако даже в конце XIX века позитивиста-энтомолога вдохновляет ночной романтический пейзаж, в котором роль мрачной руины-доминанты играет силуэт горы:

А ночь, между тем, тихая и прекрасная, уже давно успела раскинуть над нами свой темный шатер. Из-за елового леса и скал, которые приняла при этом очертания совсем фантастические, нам был виден далеко не весь небосклон, но какими мириадами звезд блестела и эта частица его, и как ярко освещалась она еще пока незримой луной, которая того и гляди должна была уже выглянуть из-за каменного колосса, в своей тени запрятавшего и нас с нашей крошечной луговиной и добрую половину противоположного нагорного берега речки. Зато выше последний ясно рисовался нам своими прихотливыми формами, напоминающими развалины какого-нибудь бывшего замка гигантов. Тишина в воздухе невозмутимая, и только вода шумит и рокошет, явственно ворочая на пути своем гальку, да еще нет-нет, да и пронесется над нами издалека какой-то странный звук, не то крик филина, не то не весть что... Дикое место! Но зато же ясно и чувствуется, что все, что ни есть кругом все – девственная природа, до которой еще не успела коснуться рука человека... И это – отрадное чувство!.. [Грумм-Гржимайло, 2014, с. 127].

Прагматика поиска комфортного места для стоянки усиливает эстетическое чувство красоты избранного для описания локуса:

Миновав два-три лога, мы спустились в долину одного из правых притоков Чон-кола, который, слагаясь из нескольких речек, стремительно несется отсюда в зиявшую у нас теперь позади черную щель, образованную скалами из ортоклазового порфира. Урочище это носит название Уч-табан. Роскошный луг, весело журчащие воды ручья, чудная панорама уходящих

вдаль гребней гор и долин, а ближе еловый (*Picea Schrenkiana* Fisch.) лес, взбегающий на причудливо торчащие вверх скалы красных порфиров, – все это в совокупности произвело на нас до такой степени чарующее впечатление, что мы тотчас же решили, что это самое подходящее место для дневки; да и была пора: от Кульджи было пройдено нами чуть не сто шесть километров, из коих последние сорок пришлось на трудный путь по ущельям Боро-хоро [Там же, с. 53].

Так пейзаж в русском исследовательском травелоге XIX века становится местом, где жанровые мотивы буколической античности, идиллии и травелогов сентиментализма, романтической поэмы о бегстве в экзотический мир имеют равные возможности, переплетаясь друг с другом, но, в конечном счете, уравниваются неизбежным «реализмом» точной фиксации особенностей рельефа, флоры, фауны, микроклимата данного локуса. Особенно это очевидно в записках русских ученых второй половины XIX века, в которых сочеталась «поэзия» метафор и эпитетов с точностью фактов и цифр (зарисовки, фотографии, шкуры и чучела убитых животных, гербарий растений, метеорологические наблюдения и т.п.).

Взгляд ученого-классификатора – орнитолога, геолога, ботаника, энтомолога, расчленяющего богатство представляющего ему пейзажа на мельчайшие составные части, становится частью более общей панорамы, в которой эстетическая оценка («живописнейшие», «манят», «улаживают», «красивые», «ласкает») сопрягается с радостью естествоиспытателя, любящегося разнообразием форм жизни:

Еще более размытым представился на нашем пути бассейн верхнего Меконга. Здесь гребни главных хребтов и второстепенных гор лежат сравнительно недалеко от окаймляющих их рек и речек, которые по большей части заключены

в глубокие ущелья или живописнейшие теснины, наполненные вечным шумом вод. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже ель, древовидный можжевельник, ива; на дно к берегам рек сбегает дикий абрикос, яблони, красная и белая рябина; все это перемешано массой разнообразнейших кустарников и высокими травами. В альпах манят к себе голубые, синие, розовые, сиреневые ковры цветов из незабудок, генциан, хохлаток, *Saussurea*, мытников, камнеломок и других.

В глубоких, словно спрятанных в высоких горах ущельях водятся красивые пестрые барсы, рыси, несколько видов кошек, медведи, волки, лисицы, большие и малые летяги, хорьки, зайцы, мелкие грызуны, маралы, или олени, мускусная кабарга, китайский козел, или джара (*Nemorhoedus*) и нигде раньше нами не замеченные обезьяны (*Macacus lasiotis*), живущие большими и малыми колониями нередко в ближайшем соседстве с тибетцами. В прозрачных реках и речках, обильных рыбой, водятся выдры.

Что касается пернатого царства, то среди последнего замечено еще большее богатство и разнообразие. Особенно резко бросаются в глаза белые ушастые фазаны (*Crossoptilon thibetanum*), зеленые всере (*Ithaginis geoffroyi*), кулюны, или кундыки (*Tetraophasis szechenyi*), рябчики (*Tetrastes sewertzowi*), несколько видов дятлов и порядочное количество мелких птичек из отряда воробьиных. Но наиболее ценным сокровищем для науки служат уже установленные новые формы птиц, выведенных из бассейна Меконга, а именно: галка (*Coloeus dauricus*), овсянка (*Emberiza kozlowi*), жаворонок (*Eremophila alpestris khamensis*), камская пищуха (*Certhia khamensis*), новый вид *Janthocincla kozlowi* из семейства *Timeliidae*, ястреб (*Accipiter nisus ladygini*) и завирушка (*Laiscopus collaris thibetanus*).

В ясную, теплую погоду в красивых уголках бассейна Меконга натуралист или вообще отзывчивый к природе человек одновременно услаждает и взор и слух. Свободно и гордо

расхаживающие по лужайкам стаи фазанов или плавно, без взмаха крыльев, кружащиеся в лазури неба грифы и орлы невольно приковывают глаз; **пение мелких пташек**, раздающееся из чащи кустарников, ласкает ухо [Козлов, 1948, с. 352].

Пейзаж с доминантой ручьев, цветов, птиц и насекомых становится метонимией этого «исследовательского рая» с почти заполненной матрицей «общих мест» идеального ландшафта. Перенасыщенность описания геологической, ботанической, лепидоптерологической терминологией не мешает развернуть картину «приятного места»:

Живописное ущелье, по которому протекала эта последняя, обставленное высокими скалами темно-серого и **бурого палеозойского песчаника**, поросло **лиственными деревьями** и кустарниками, которые едва зеленели. О прошлогодней траве здесь, однако, уже не было и помину, и цветы (главным образом – Ranunculaceae, но также *Iris gracilis* Maxim., *Primula farinosa* var. *algida* Trautv., *Pr. stenocalyx* Maxim., *Coelonema draboides* Maxim. и по галечнику – *Gentiana Grummi* Kusnez. (n. sp.), пестревшие на изумрудно-зеленом луге, представляли **дивный, яркий, весенний ковер**, среди которого, то разливаясь узкими ручейками, то собираясь в один **бурливый поток**, несла свои воды речка Лу-шуй. Здесь мы встретили нижеследующие виды птиц: *Carpodacus rubicilloides* Przew., *Anthus rosaceus* Hodgs., *Herbivocula affinis* Tick., *Chaemorhynchus leucoccephala* Vig., *Calliope tschebaiewi* Przew. и *Merula ruficollis* Pall [Грумм-Гржимайло, 2014, с. 276].

А то оно предстает в виде эдемского богатства и яркости травы, цветов и бабочек:

На общем зеленом фоне *Poa pratensis*, *Carex atria* и *Avena pratensis* мелькают самые разнообразные цветы: тем-

но-синие *Omphalodes trichocarpa* Maxim., голубые *Adonis coerulea* Maxim., отливающие в лиловое *Veronica ciliata* Fisch., *Pedicularis verticillata* L. и *Oxytropis strobilacea* var. *chinensis* Bge., фиолетовые *Cardamine macrophylla* W., светло-розовые *Sisymbrium mollipilum* Maxim., белые *Anemone obtusiloba* Don., желтые различных *Saxifraga*, *Ranunculus*, *Corydalis linarioides* Maxim. и *Thermopsis alpina* Ledb., наконец, оранжевые *Trollius pumilus* Don. и *Lilium tenuifolium* Fisch. В июне все эти травы, а также ютящиеся в тени кустов *Scopolia tangutica* Maxim. и *Clematis orientalis* var. *tangutica* Maxim., мешающая свои бурокрасные цветы с белыми цветами жимолости, а затем *Euphorbia altaica*, высокий *Rumex*, *Polygonatum kansuense* Maxim., *Draba eriopoda* Turcz., *Fritillaria Przewalskii*, *Senecio virgaurea* Maxim., *Vincetoxicum mongolicum* Maxim. и бесконечное множество других были в полном цвету и составляли живой персидский ковер, по поверхности которого, подобно огонькам, мелькали красные бабочки *Coilas lada* Gr.-Gr., *C. felderi* Gr.-Gr., *C. diva* Gr.-Gr., *Argynnis eva* Gr.-Gr., *Arg. rhea* Gr.-Gr. и *Arg. pales* var. *sifanica* Gr.-Gr. – все новые виды, которые мы ловили с полным увлечением [Там же, с. 297].

Очевидная эстетическая интенция энтомолога Г.Е. Грумм-Гржимайло и других русских путешественников в построении подобного «классифицирующего пейзажа» так впечатлила В.В. Набокова (См. об этом [Паперно, 2010]), что он в романе «Дар» создал его суммарную стилизацию:

Весна ждала нас в горах Нань-Шаня. Все предвещало ее: журчание воды в ручейках, далекий гром реки, свист пищух, живущих в норках на скользком, мокром косогоре, и прелестное пение местного жаворонка, и «масса звуков, происхождение которых трудно себе объяснить» (фраза из записок друга моего отца, Григория Ефимовича Грум-Гржимайло, запомнившаяся мне навеки, полная удивительной музыки правды, именно потому, что это говорит не невежда-поэт, а гениальный есте-

ствоиспытатель). На южных склонах уже попадалась первая интересная бабочка – потанинская разновидность бутлеровой белянки, – а в долине, куда мы спустились ключевым логом, мы застали уже настоящее лето. **Все склоны были затканы анемонами, примулой. Газель Пржевальского и фазан Штрауха** соблазняли стрелков. И какие бывали рассветы! Только в Китае ранний туман так обаятелен, все дрожит, – фантастические очерки фанз, светающие скалы... Точно в пучину, уходит река во мглу предутренних сумерек, которые еще держатся в ущельях; а повыше, вдоль бегущей воды, все играет, все мрет, и уже проснулось на ивах у мельницы целое общество голубых сорок [Набоков, т. 3, 1990, с.109].

Особой чертой идеального центральноазиатского пейзажа стало необыкновенное изобилие не столько домашнего скота, сколько «дикой» фауны – животных, дичи, рыбы, которое тоже производило впечатление утраченного Эдема, где животные не боялись человека и не были объектом охоты. Уже в дневниках второго путешествия российского торгового агента Лоренца Ланга в Пекин, написанных на немецком языке и позднее опубликованных академиком С. Палласом [Pallas, Tagebuch einer in den Jahren 1727 und 1728 ueber Kjachta nach Peking unter Anfuehrung des Agenten Lorenz Lang gethanenen Karawanenreise, – «Neue Nordische Beitrage», Bd 2, St.-Pbg. und Leipzig, 1781, с. 83–159] отмечен особый характер пейзажа от российского Селенгинска до р. Толы, на которой была расположена резиденция духовных и светских властей Монголии. Этот отрезок пути был пройден им вместе с караваном в сентябре–октябре 1727 года. Ланг дает типичный «суммарный пейзаж» с минимальным эстетическим ракурсом и без привязки к какому-либо локусу:

Вся местность от Селенгинска до Толы гористая; между горами расположены долины и равнины, где много ручьев и озер. Последние богаты рыбой и водоплавающей птицей. Если местные жители проявят немного прилежания, они будут иметь рыбу и дичь в изобилии. Горы везде заросли группами кедров, елей, берез и других деревьев. В лесах в изобилии водятся олени, дикие козы, кабаны и другие животные. Большая часть земель удобна для пахоты [Ланг].

В XVIII веке эстетическая оценка красоты пейзажа и изобилия животного мира сильно уступает прагматическому взгляду европейца-колонизатора, ставшего российским чиновником. Ланг то ли не знает, то ли не упоминает, что культура монголов не позволяет им ловить рыбу и охотиться на птиц.

Для русских путешественников этот рай становится продолжением пасторального мира жизни монголов и тибетцев, дикие и свободные кочевые животные перемешиваются со скотом:

По берегу, близ пашни ходили стада журавлей, весьма непугливых, а на реке плавали стаями дикие утки, в коих без труда можно было стрелять [Тимковский, 1824, ч. I, с. 69];

Мало того, даже неприхотливый дикарь обитает здесь лишь кое-где по окраинам, ибо громадная абсолютная высота и ужасный климат, к тому же большей частью крайнее бесплодие, делают на этих заоблачных нагорьях жизнь невозможной для человека. Только стада диких зверей, иногда в баснословном обилии, бродят по скудным пастбищам и живут привольно вдали от тесноты и беспощадных гонений культурных стран [Пржевальский 1, 1948, с. 214];

На каждом озере мы встречали большие стаи пролетных птиц, которые очень мало боялись нас, так как привыкли, к мирному отношению со стороны монголов, никогда не убивающих крылатых странников. Таким образом, нам удалось

добыть немало интересных видов в нашу орнитологическую коллекцию [Пржевальский, там же];

Звери, со своей стороны, до того привыкли к людям, что часто пасутся вместе с монгольским скотом и приходят на водопой к самым монгольским юртам. С первого раза мы не хотели верить своим глазам, когда увидели, не далее полуверсты от нашей палатки, стадо красивых животных, которые спокойно паслись по зеленому скату горы. Ясно было, что аргали еще не знают в человеке своего заклятого врага... [Козлов, 1963, с. 407];

Хорошие пастбища по долине среднего течения р. Шуга привлекают сюда массу травоядных зверей. По нашему пути вдоль реки беспрестанно встречались хулары, яки и антилопы. С удивлением и любопытством смотрели доверчивые животные на караван, почти не пугаясь его. Табуны хуларов отходили только немного в сторону и, повернувшись всей кучей, пропускали нас мимо себя, а иногда даже некоторое время следовали сзади верблюдов. Антилопы оронго и ада спокойно паслись и резвились по сторонам или перебежали дорогу перед нашими верховыми лошадьми; лежавшие же после покормки дикие яки даже не трудились вставать, если караван проходил мимо них на расстоянии 1/2 версты. **Казалось, что мы попали в первобытный рай, где человек и животные еще не знали зла и греха...**

Рисунок, набросанный на месте В. И. Роборовским и помещенный в настоящей книге, наглядно представляет все обилие животной жизни, встреченное нами в долине р. Шуга. Подобную картину с небольшими вариациями можно приурочить и к другим пастбищным местам Северного Тибета [Пржевальский 2, 1948, с. 217];

Выше лесной и верхне-кустарниковой зон пестрят самыми разнообразными цветами альпийские луга, где на просторе пасутся стада кочующих обитателей, в свою очередь мало стесняющие диких млекопитающих, не говоря уже про птиц, в большинстве случаев держащих себя совершенно безбоязненно и по отношению к стадам и по отношению к туземцам. [Козлов, 1947, с. 122]

Русский путешественник, к сожалению, чаще всего выступает в роли разрушителя этого первозданного животного рая, убивая их ради пропитания, охотничьего азарта или научной коллекции:

Бивуак располагался в лучших местах, а потому очень часто наблюдения всякого рода производились поблизости: здесь отыщешь гнездо, убьешь птичку, подметишь вдали зверя, поймешь бабочку или ящерицу, выкопаешь цветочек и пр. [Козлов, 1899, с. 31].

Разумеется, как уже говорилось выше, описание пейзажей в путешествиях по Центральной Азии и ее регионам – Тянь-Шаню, Тибету, Монголии – обусловлено не только риторическими, но и конкретно-миметическими факторами – схожим рельефом и континентальными климатическими условиями. Резкие различия оазисов и пустынь, растительности разных ярусов гор, безлесных вершин и долин, дня и ночи приводят к резко контрастному изображению соседних или идентичных локусов.

Так, обычное возвращение к земледельческому или луговому ярусу гор воспринимается как вхождение в Рай или Обетованную землю для путешественника:

Деревья обыкновенно невысоки и тонкоствольны, кустарники низки и корявы, а иссохшие сучья ив, торчащие на живых экземплярах, выступают крайне непривлекательно на общем зеленом фоне. <...> Вслед за полосой лесов лежит область альпийских лугов, занимающих самые верхние части описываемого хребта. После однообразного и бедного нижнего пояса, где преобладают лишь редкие, корявые кустарники, после сырых зарослей лиственных лесов, одевших собой все средние скаты гор, взор с отрадой останавливается на яркой зелени

и пестром ковре цветов роскошного горного луга. Невысокая густая трава покрывает здесь все скаты и ложбины, оставляя голыми только скалы и отдельные камни, которые своим желтовато-серым цветом резко контрастируют с очаровательной зеленью лугов, испещренных самыми разнообразными цветами. Кусты таволги-*Spiraea* sp., и курильского чаю – *Potentilla fruticosa*, *Trollius* sp. [купальница]; кровохлебка (альпийская)-*Sanguisorba alpina*, синюха – *Polemonium coeruleum*, различные лютики-*Ranunculus*, и многие другие виды, уже поименованные при описании лесной флоры, заливают описываемые луга то желтым, то белым, то коричнево-красным, то синим колерами, частью перемешанными между собой, частью расположенными отдельными полосами. И еще восхитительнее становятся эти луга ранним утром, когда взошедшее солнце играет цветами радуги в каплях сильной ночной росы, а окрестная тишина нарушается только пением чеккана или горной шеврицы; в то же время отсюда открывается чудный вид на Хуан-хэ и раскинувшиеся за ней равнины Ордоса [Там же, с. 267].

Резкие перепады климатических зон в горах и континентальный климат приводят к разительному контрасту зимнего и весеннего пейзажей:

Погода стояла по-прежнему отвратительная – часто выпадал снег, нередко глубокий, ночные морозы достигали $-5,7^{\circ}$. Но, как вообще в высоких горах, лишь только проглядывало солнце и стогняло снежный покров, мигом появлялись цветы, пауки, насекомые, даже бабочки и начинали петь птицы, словом, весенняя жизнь закипала во всю ширь до новой непогоды [Пржевальский 1, 1948, с. 351].

Не менее ярким событием становится и выход из пустыни к оазису:

Вскоре за последними песчаными буграми пустыни показалась обширная зеленеющая равнина. Завидев ее, наши лошади подняли уши и, видимо, ободрившись, прибавили шагу и потом стали ржать, а за ними верблюды, шедшие позади, тоже мало-помалу начали приветствовать эту равнину своим невыносимым ревом. И вот под звуки этого концерта мы вступили в **обетованную землю**, показавшуюся нам в то время, без преувеличения, земным раем сравнительное оставшееся позади пустынею, на которую природа, как бы в наказание, наложила печать омертвления.

Вступив на эту **роскошную равнину**, покрытую густой, высокой и разнообразной травянистой растительностью, мы встретили на ней множество китайских фанз (домов), разбросанных наподобие отдельных ферм, обнесенных вместе с надворными строениями кирпичными оградами. Поблизости фанз везде виднелись **засеянные поля** с струившимися среди них арыками, берега которых, как и самые фанзы, обсажены **тенистыми ильмовыми деревьями** (*Ulmus pumila*). Словом, все дышало здесь жизнью и довольствием. <...> Пройдя верст пять по равнине, мы остановились на берегу небольшого ручейка среди **тучного луга**, на котором свободно могли бы **пастись** целое лето **сотни три лошадей** [Певцов, 1951, с. 115];

Ущелье Нарин-Киргут-гола, как и все ущелья южного склона исследуемых гор, обставлено узкими островершинными отрогами, отделяющимися от главной оси хребта. В нижнем и среднем поясах гор отроги, вследствие сухости воздуха, скудно прикрыты пустынной растительностью и производят удручающее впечатление. Но **долины** отличаются иным характером: по ним несутся **быстрые речки**, а местами бьют **родники**, в них живут земледельцы, а повыше **пастухи со своими стадами**. **Пышные травы** чередуются со множеством кустарников; **тополевые рощи** достигают значительных размеров и осеняют журчащую воду; разбросанно стоят **столетние ильмы-великаны**. На склонах, обращенных к северу, зеленели большие и малые **еловые лески**; по сторонам **расстилались**

золотистым ковром осенние травы, которые в этой зоне часто виднелись и на полуденном скате [Козлов, 1899, с. 65].

Итак, скудный, казалось бы, центральноазиатский пейзаж может быть опознан как архетип «Рая на Востоке», напоминающего восточную локализацию Эдема в Книге Бытия. Для русского ученого-путешественника Г. Потанина эти представления стали даже поводом для создания «персонального мифа» об монгольском происхождении библейских сюжетов и серии сопоставительных очерков монгольского фольклора, проникнутых идеей его первозданности. Оказавшись в Западной Монголии, он обнаруживает себя в утраченном Эдеме:

Да, эта местность, где мы живем, настоящая родина человека. Здесь возник первый культ <...> Реки здешние представлялись первым людям материнскими лонами, отцов они видели в горных вершинах. Рай Адама и Евы, я теперь уверен, находится в верховьях Иртыша, на берегах которого я родился [Потанин, 1989, с. 90].

Как правило, путешественники осваивают локальные коды «идеальности» пейзажа уже в процессе движения или вовсе игнорируют их. Так, ни в одном из дневников русских путешественников, посещавших центральноазиатские районы Китая, мы не найдем упоминаний о традиционном жанре китайской живописи 山水 («шань шуй» – «гора и вода» или «горы и воды»). Европейская идилическая традиция, несмотря на очевидные отличия от китайского идеального пейзажа, как бы вбирает его в себя.

Иначе дело обстоит с Монголией и Тибетом. В XIX веке того, что в монгольской культуре XX века под влиянием европейской живописи будет названо «байгалийн зураг» («изображение природы», «пейзаж»), попросту не было. Повсе-

местное почитание монголами духов «гор и вод» («уул ус тахих», «шүтдэг уул ус», «уул усны эзнээс») помогало русским путешественникам проникаться чувством сакральности и по европейским меркам величественного пейзажа с доминантой самых священных высоких гор, реки или водопада. Естественной доминантой пейзажа, сакрализованной кочевниками, становится большая гора, обильная флорой и фауной:

Караван расположился у подножия высокой горы Хан Ола, или королевской. Она покрыта высоким и красивым лесом из кедров и других деревьев. Никому не разрешается на ней охотиться, хотя кабанов, оленей и дичи там множество. Вид с этой горы прекрасный, многочисленные красивые ручьи стекают с нее в Толу [Ланг].

Русские путешественники, связанные с Русской православной Миссией, не только сразу оценили увиденные ими рукотворные обо, которые украшают обычно вершины гор, как знаки поклонения священному, но и попытались обобщить представления тогдашних жителей Монголии об особом способе выражения «одухотворенного» начала в окружающей их природе:

Близ Иро, на восточной стороне нашей дороги возвышается крутая гора, составляющая угол хребта, который идет по правому берегу реки. Верх горы увенчан каменным Обо. Каждая почти приметная высота в Монголии украшается таковыми Обо или поклонными холмами. Житель сих степей, подобно дикарю пустынь Африканских, опытами убежденный в существовании Верховной силы, непостижимой, всемогущей, мнит, что сия сила разлита во всех физических предметах. По его мнению, чем величественнее предмет для глаз, тем в большем излиянии должен в нем обитать сей благотворный Дух; а потому огромный камень, высокая гора, сенистое дере-

во или широкая река – делаются предметами его благоговения [Тимковский, 1824, ч. I, с. 36]. Обо, обозначающие обычно вершинную точку горного пейзажа в Монголии, завершают его описание:

Места состояли из каменных гряд, довольно высоких и длинных, пересекаемых падами и долинами. Дорога по острым, шиповатым вершинам каменных полос трудна и для экипажей и для скота. Высохшие прошлогодние травы, еще в целости на корне стоявшие, придавали долинам темно-каштановый вид. Несмотря на сие, в отдаленности на востоке паслись стада овец. Изредка показывались вороны и журавли попарно. ... Остановились в урочище *Кутул*, в пади за горою Хойор-обо, то есть два Обо: ибо на самой вершине горы складены из камней два Обо, между которых лежала дорога при самом спуске к ночлегу.

Обо есть небольшой кругловатый курган, составляемый из набрасываемых в кучу камней на каждом значительном возвышении при большой дороге. Это суть священные места, при которых Монголы собираются однажды в год для поклонения духам покровителям страны [Бичурин, 2010, с. 73];

На переломе перевала стоит обо – грудка камней, перемешанных с обломками дерева и костей; по местному обычаю, каждый странник должен принести свою скромную лепту на это обо, в ознаменование того, что он благополучно совершил свой путь [Козлов, 1963, с. 396].

Особая роль здесь, как и в представлениях монголов, принадлежала хребту Хангай и его предгорьям («обильный», «сытый»). Даже в двуязычном словаре «хангай» – это не топоним, а апеллятив со значением «гористая и лесистая местность, обильная водой и плодородием» [Кручкин, 2006, с. 845].

В русских травелогах, в том числе и исследовательских, эта монгольская Обетованная земля описывается как не только «изобильная», но и эстетически привлекательная:

Хангай и его детища – Орхон и Онгингол – чтились и воспевались еще в глубокой древности современными тогдашними обитателями нынешней Монголии за их богатство, простор и приволье. Отдаленные предки чтили и воспевали Хангай, как чтут и воспевают монголы еще и теперь выдающиеся или доминирующие вершины Хангая: Соврак-хайрхан и Иргите-кайрхан, – за их «божественную» красоту и за то главным образом, что эти массивы дали зарождение Орхону, за красоту и величие самой этой реки, в верховье то быстро катящей голубые волны среди степного пастбищного простора, то скрывающей их в порожистом русле, на дне тесных глубоких каньонов...

В такой же каньон сливает воды и богатая данница Орхона, Улануеу, образуя при этом живописный водопад, ныне «Водопад экспедиции Козлова», низвергающийся с десятисаженной высоты по отвесной стене каньона; сложенной из темных, иногда ноздреватых сверху крепких сланцев. Еще недавно этому водопаду приносились в жертву серебряные слитки, бросаемые в пучину пенистых вод с молитвами и колелнопреклонениями. Действительно, «водопад экспедиции» производит сильное и вместе с тем чарующее впечатление. Под аккомпанемент гула вы слышите мелодии всевозможных живых звуков в слиянии с художественной красотой могучей струи, рассыпающей на солнце водяную пыль радужными фонтанами. Это создает волшебную гармонию... [Козлов, 1989, с. 30];

Если путнику, приближающемуся к Хангаю с юга, из однообразной, безжизненной пустыни Гоби, этот хребет кажется необыкновенно привлекательным своими шумными ручьями, теплыми минеральными источниками и тенью густых лесов, то всякий человек, даже избалованный красотой горных ландшафтов, найдет много прекрасного в дикой прелести северных склонов Хангая. С высоты его оголенных каменистых перевалов открываются широкие панорамы на извивающиеся узкими темными трещинами ущелья, в глубину которых «дикими реками» ниспадают мрачные кедровники и более светлые лиственные леса. На отдаленном горизонте, за широ-

кой долиной Орхона, вздымаются второстепенные хребты, из-за которых, упираясь в облака, встают отдельные доминирующие вершины Ирхит-хайрхан и другие, несколько уступающие ему по высоте массивы [Козлов, 1963, с. 394].

Дискурс русских путешественников XIX – начала XX веков, в котором происходит конвергенция европейских эстетических кодов ландшафта с естественнонаучными, национальными, локальными, будет продолжен и в исследовательских травелогах советского времени, хотя резкой границы здесь не было никогда: труды и экспедиции П.К. Козлова, В. А. Обручева и др. связывают их со «школой Пржевальского». Особенно это касается монгольских экспедиций палеонтолога и писателя И. Ефремова и его коллег. В идиллических пейзажах его книги «Дорога ветров» оживает традиция как «пасторального», так и локального «хангайского» дискурса:

Мы въехали в сухое русло, окунулись в запах полыни и цветов и начали бесконечно длинный подъем на окаймлявшее «Долину Озер» плоскогорье. За ним голубели южные вершины Хангая – **обетованной земли аратов**. После перевала мы спустились наугад несколько километров без всякой дороги на беспредельную равнину, покрытую настоящей травой. <...>

Справа показалась **кристально прозрачная** быстрая речка Аргуин-гол <...> Мы направились вверх по долине Аргуин-гола и попали в **радостный мир сверкающей воды и свежей травы в рамке ярко-голубых скал**. Невысокие обрывы кремнистых известняков были серовато-голубые, голубые и даже светло-синие. Иногда голубой обрыв нависал над **сверкающим и струящимся кристаллом речки**.

Россыпи голубых плит выделялись на серебристых ковыльных склонах. Дальше **голубые** зубцы и острия увенчивали верхушки зеленых холмов. <...> Склоны гор мягко зеленели – действительно, здесь был простор аратским стадам

и большие запасы корма для любой породы домашнего скота. <...> Еще по дороге встречалось множество цветов, среди которых преобладали бледно-лиловые ромашки с узкими лепестками. Они росли по пологим ложкам вдоль склонов и выделялись широкими лиловыми полосами среди серых гранитов и свежей зелени трав. В долине было много ярких синих и желтых цветов, и по всей степи шел узор цветистых пятен. **Самые красивые цветы, какие я только видел в Монголии, встретились мне здесь. Это был особый вид ежовника – высокие тонкие стебельки, увенчанные густо-синими шариками соцветий размером с небольшое яблоко. Эти шары удивительно яркого и теплого синего цвета растут поодиночке и гордо торчат вверх, чуть покачиваясь. Издалека вся степь ровная и зеленая, а над ней, на высоте нескольких сантиметров, как бы реют в воздухе чудесные синие шарики.**

Огромные стада овец и коров подтверждали богатство этой, новой для нас, области Монголии. Там и сям сновали всадники и всадницы в нарядных, ярких дели. Нам, привыкшим к безлюдью недоступных мест Гоби, такое многолюдство казалось невероятным [Ефремов, 1980, с. 214].

Итак, топос идеального пейзажа сохраняет на протяжении столетий свою образную архетипическую основу не только в лирической поэзии, но и в нарративе русского травелога. Ни суровость ландшафтов Центральной Азии, ни строгость научного описания не могут существенно повлиять на него. В конечном счете, любой путешественник ищет утраченный человеческим сообществом Эдем, стремится в Обетованную землю и помнит о них.

Литература

Бичурин Н.Я. Записки о Монголии. Самара: Издательский дом «Агни», 2010.

Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М.: Воениздат, 1987.

Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 т. М.: ГИХЛ, 1959.

Грумм-Грижимайло Е.Г. Описание путешествия в Западный Китай. М.: ОГИЗ, 1948.

Грумм-Грижимайло Г.Е. По ступеням «Божьего трона. М.: Эксмо, 2014.

Ефремов И. Собр. соч.: В 3 т.: 6-я кн. (доп.). Дорога ветров (Гобийские заметки). М.: Молодая гвардия, 1980.

Капнист В.В. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1973..

Козлов П.К. Отчет помощника начальника экспедиции П.К. Козлова. Труды Экспедиции Императорского Русского географического общества по Центральной Азии, совершенной в 1893–1895 гг. под начальством В.И. Роборовского. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1899.

Козлов П.К. Монголия и Кам. Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету (1899–1901 гг.). М.: Гос. изд. географ. лит., 1948.

Козлов П.К. Северная Монголия. Краткий отчет о Монголо-Тибетской экспедиции Русского географического общества 1923–1926 гг. // Козлов П.К. Русский путешественник в Центральной Азии. Избранные труды. К столетию со дня рождения (1863–1963). М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 381–432.

Кручкин Ю. Большой современный русско-монгольский – монгольско-русский словарь. М.: АСТ: Восток – Запад, 2006.

Козлов П.К. Новые отрядные вести из экспедиции П.К. Козлова // Вокруг света. 1989. № 8. С. 29–30.

Ланг Л. Дневники. Второй дневник 1727–1728 гг. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVIII/1700-1720/Lang_Lorenz/text2.htm (дата обращения: 10.10.2015).

Лермонтов М. Собрание сочинений: В 2 т. М.: Правда, 1988–1990.

Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Изд-во «Правда». «Огонек», 1990.

Паперно И. Как сделан «Дар» Набокова // В.В. Набоков: Pro et Contra. 1999–2001. Т. 1. С.491–514.

Певцов М.В. Путешествия по Китаю и Монголии. М.: Государственное издательство географической литературы, 1951.

Потанин Г.Н. Письма: В 5 т. Т. 3. Иркутск: Иркут. гос. ун-т. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989.

Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов. Трехлетнее путешествие в Восточной нагорной Азии. М.: ОГИЗ, 1946.

Пржевальский Н.М. (1) От Кяхты на истоки Желтой реки. Исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима. М.: Государственное издательство географической литературы, 1948.

Пржевальский Н.М. (2) Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. М.: Гослитиздат, 1948.

Пушкин А.С. Сочинения: В 3 т. М.: Художественная литература, 1985.

Тимковский Е.Ф. Путешествие в Китай через Монголию, в 1820 и 1821 годах. С картой, чертежами и рисунками. Печатано по высочайшему повелению, иждивением казны: В 3-х ч. СПб.: В тип. Мед. департ. Мин. внутр. дел, 1824. Ч.1: Переезд до Пекина.

Тимковский Е.Ф. Путешествие в Китай через Монголию, в 1820 и 1821 годах. С картой, чертежами и рисунками. Печатано по высочайшему повелению, иждивением казны: В 3-х ч. СПб.: В тип. Мед. департ. Мин. внутр. дел, 1824. Ч. 3: Возвращение в Россию и взгляд на Монголию.

Фомин А.И. Опыт исторический о морских зверях и рыбах, промыслаемых Архангелогородской губернии жителями в Белом море, Северном и Ледовитом Окиане, с описанием образа тех промыслов // Лепёхин И.И. Дневные записки путешествия академика Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1772 году. Ч. IV. СПб.: Императорская Академия наук, 1805.

Эпштейн М.Н. Природа, мир, тайник вселенной...: Система пейзажных образов русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990.

Curtius Ernst Robert. Ideal Landscape // Curtius Ernst Robert. European Literature and the Latin Middle Ages. New York and Evanston, Harper & Row, Publishers, 1953. P. 183–214.

V.V. Maroshi

Novosibirsk State Pedagogical University

«IDEAL LANDSCAPE» IN THE TRAVELOGUES OF RUSSIAN TRAVELLER ABOUT CENTRAL ASIA

Abstract. Identification of the landscape as an ideal in Russian travelogues is primarily due to cultural codes of European traditions associated with verbal and visual images of “Paradise on earth”, the Golden age and “the Promised land”. Are also specific “Russian” codes similarity / dissimilarity on the reliefs of the flora and landscapes of Russia. In the first third of the XIX century is inspired by the mountain the romantic and sentimental-idyllic landscape, which remain relevant throughout the century. Mimetic context of a specific trip, undertaken in difficult climatic and relief conditions in Central Asia with a sharp contrast of different zones of the mountains, oases and deserts, spring and winter is very important too. The participants of the “missionary” journeys describe sacred buildings (monasteries, oboo) as the center of the perfect landscape. Research descriptions using scientific terminology in the travelogues of Russian scientists of the second half of XIX – early XX century become part of a picturesque panorama. The discourse of the Russian travellers, in which there is a convergence of European aesthetic codes with a description in natural sciences, national and local aesthetic values (for example, the Mongolian Hangay) will continue in the travelogues of the Soviet scientists, in particular, in the notes of writer and paleontologist I. Efremov.

Keywords: travelogue, landscape, ideal, pastoral, idyllic, Eden, Central Asia.

The information about the author. Maroshi Valeryi Vladymyrovich, Associate Professor, doctor of Philology, Professor, chair of Foreign and Russian literature, Theory of literature and Methodology of Teaching Literature FGBOU VPO « Novosibirsk State Pedagogical University» (630124, Novosibirsk, ul. Viljujskaja, 28; Tel. 8-383-244-06-30, e-mail: maroshi@mail.ru).

А.А. Пономарева

Новосибирский государственный педагогический университет

ДЕРОМАНТИЗАЦИЯ КАВКАЗА В «КАВКАЗСКИХ» ТРАВЕЛОГАХ XIX ВЕКА¹

Аннотация. Раздел посвящен исследованию «кавказского» травелога середины и второй половины XIX в. Материалом послужили травелоги, которые не привлекали внимания исследователей: тексты преимущественно опубликованы в «толстых» журналах XIX в. и впоследствии чаще всего не переиздавались. Показано, что «кавказский» травелог формируется на базе литературы романтизма. Путешественники, описывая свою поездку по Кавказу, заимствуют разработанные в беллетристике описания пейзажей, характеристики местных жителей. Влияние художественной литературы на «кавказские» травелоги рассмотрено через сопоставление фрагментов «кавказской» прозы А.А. Марлинского (автора, в большей степени, чем А.С. Пушкин или М.Ю. Лермонтов, повлиявшего на восприятие Кавказа путешественниками) с путевыми «зарисовками» путешественников. Как показано в исследовании, авторы «кавказских» травелогов довольно часто рефлексиируют по поводу влияния беллетристики А.А. Марлинского на их восприятие реального пространства. В связи с этим в путевой литературе середины и второй половины XIX в. намечается процесс деромантизации Кавказа, осмысления «изношенности» литературных клише. В исследовании проанализировано, каким образом авторы-путешественники стараются дать объективную информацию о кавказской природе и местном населении, разрушить клише, созданные романтиками.

Ключевые слова: «кавказский» травелог, Кавказ, деромантизация Кавказа, литературные клише.

¹ Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-04-00508 («Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII – начала XX вв”»).

Сведения об авторе. Пономарева Анастасия Александровна, аспирантка кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики преподавания литературы Новосибирского государственного педагогического университета (630090, Новосибирск, ул. Виллойская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-01-41. E-mail: anastasiya.ponomareva.92@inbox.ru).

Настоящее исследование посвящено изучению «кавказского» травелога середины и второй половины XIX века. Под термином «кавказский» травелог в работе понимается путевая литература, в которой описывается путешествие на Кавказ². Путешествием в исследовании называются поездки, совершенные с различными целями: с целью лечения / изучения покоренной территории / с целью завоевания новых земель / поездки офицеров в гости к горцам³.

Особенность «кавказского» травелога заключается в том, что он формируется на базе художественной литературы романтизма, в которой представляется поездка героя на Кавказ. Сходство выражается в маршруте путешествия, описываемых образах (кавказская природа, местные жители), впечатлении, которое они производят на путешественника, языке описания. Образ Кавказа, сформировавшийся в литературе романтизма, определяет его репрезентацию в «кавказских» травелогах. Как правило, путешественники в своих сочинениях рефлексировали о воздействии романтического образа на восприятие реального пространства.

² Путешествие на Северный Кавказ (Дагестан, Чечню, Кубань) и Закавказье (Армению, Грузию).

³ Военные экспедиции и однодневные поездки русских офицеров в гости к горцам условно называются путешествиями. В них, как и в первых двух выделенных разновидностях, изображение пути сопровождается описанием личных впечатлений от увиденного.

Задача исследования – проанализировать процесс деромантизации образа Кавказа в «кавказских» травелогах. Несмотря на ряд работ, в которых изучается заявленный аспект [Шадури, 1958; Юсуфов, 1964; Виноградов, 1966; Гаджиев, 1982; Ханмурзаев, 1982; Романенко, 2006], тема продолжает сохранять актуальность. По нашим наблюдениям, в исследованиях процесс деромантизации Кавказа не рассматривается на материале травелогов середины и второй половины XIX века. Основу настоящей статьи составляют тексты, ранее не привлекавшие внимания исследователей, но представляющие интерес в связи с изучаемой темой: «Путешествие по Востоку» И.Н. Березина, «Из путешествия по Дагестану» И.Н. Воронова, «Воспоминания о Тифлисе. (Из дорожных записок 1844 года)» неизвестного автора, «Экспедиция в Аргунское ущелье с 15-го января по 18-е апреля 1858 года» и «Экспедиция в Чанты-Аргунское ущелье с 1-го июля по 19-е августа 1858 года» К. Дидимова, «Десять лет на Кавказе», «Отрывки из моих воспоминаний», «Путевые заметки» А.Л. Зиссермана, «Записки об Аварской экспедиции на Кавказе 1837 года» Я.И. Костенецкого, «Кавказские картины» Н. Пауля, «Заметки о Чечне» К. Самойлова, «Поездка на снеговой хребет северо-западной цепи Кавказа» Токарева, «Несколько дней за Кубанью. Из дорожных записок» и «Аул за Терекком. Из дорожных записок» А. Чужбинского (Афанасьева), «Экспедиция в Большую Чечню зимою с 1856 на 1857 год» неизвестного автора. Тексты, составившие основу исследования, были опубликованы преимущественно в журналах и впоследствии, как правило, не переиздавались.

Кавказ, наряду с Крымом, Бессарабией, в романтизме становится «эквивалентом» экзотических территорий,

представленных в байронической поэме⁴. По замечанию Н.Е. Меднис, в русской литературе происходит сближение Кавказа и Сибири: обе экзотические территории воспринимаются одновременно «своими» и «чужими», они описываются «не только отстраненно, но и остраненно» [Меднис, 1987, с. 57]. «Это особенно заметно в ряде произведений А.А. Бестужева-Марлинского, последовательно реализующего в повестях романтический канон, который предписывает изображать “природу первобытную и дикую, непроходимые леса, вершины гор, покрытые снегом, стремнины и пропасти, прилив, шумящий у морских утесов”». Перечисленные атрибуты равно характерны для кавказского и сибирского пейзажа <...>», – отмечает Н.Е. Меднис [Там же]. Спецификой пространства Кавказа, по мнению исследовательницы, является указание на древность угасшей культуры [Там же, с. 58].

Прецедентным текстом, повлиявшим на формирование кавказского пространства, является поэма А.С. Пушкина «Кавказский пленник». В ней намечаются образы, пейзаж, сюжетно-мотивный комплекс, взаимосвязанные с Кавказом. С.М. Романенко называет следующие свойства, детерминированные данным пространством: «Во-первых, это мотив кавказской природы, которая станет эстетическим идеалом романтиков, воплощением прекрасного, высокого мира. Во-вторых, характерное для них соотнесение природных образов с внутренним миром героя, что позволяет возвести эти образы до уровня символа. В-третьих, возникают образы, воплощающие разные типы романтической личности: “пленник”, “дева

⁴ Ряд исследований посвящен изучению процесса формирования образа Кавказа в литературе романтизма 1820–1830-х годов [Шадури, 1958; Юсуфов, 1964; Виноградов, 1966; Гаджиев, 1982; Ханмурзаев, 1982; Степанова, 2004; Романенко, 2006; Савченко, 2009; Алексеев, 20014; Багратион-Мухранели, 2014; Ходанен, 2015].

гор”, “сыны Кавказа”. В-четвертых, в поэме четко выделяются мотивы, питающие тему: мотивы одиночества, бегства, отчуждения, свободы, неразделенной любви» [Романенко, 2006, с. 13]. Намеченные в поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» темы, мотивы, образы развиваются и варьируются М.Ю. Лермонтовым, А.А. Бестужевым-Марлинским, А.И. Полежаевым и некоторыми другими писателями второго ряда. Для авторов «кавказских» травелогов образцом становится не поэма А.С. Пушкина, а «кавказская» проза А.А. Марлинского.

«Кавказская» проза А.А. Марлинского насыщена описаниями природы, в которых акцент сделан на живописности, дикости, величавости. Приведем характерный с этой точки зрения пример:

Почти бежим, пот градом, – и вот поднялись на хребет, заслонявший нам вид Чиркея. Глядим – это очарование! Покуда пушки наши вздымались по крутизне на канатах, я не мог отвести очей от картины, которая гигантскою панорамой складывалась кругом меня. Влево чернел хребет Салатаф, разрубленный Сулаком надвое. Порыв сей, отвесный сверху донизу, обращался далее к югу, и западающее солнце, золотя северную стену его, одевало глубокою тенью наш берег; огневые облака тихо катились по гребню Салатафа и будто падали в расселину, померкали, гасли. Левый берег Сулака вздымался крутою горою, подернутою мрачным кустарником. По ней робко теснились бесчисленные стада баранов <...>. Прямо перед очами, в обрывистой, мрачной впадине, селение Чиркей сходило с крутизны красивыми уступами, расширяясь кверху. С правой стороны его, будто на опрокинутой чаше, восходила до туч огромная скала усеченным конусом; волнистые хребты тянулись друг над другом с обеих сторон <...>. Как дика, и величава, и грозна являлась там природа, но еще грозней она стала от вражды человека! [Бестужев-Марлинский, 1981, с. 157–158]

Для описания природы Кавказа выбирается панорамное повествование: картина, открывающаяся взгляду повествователя, представляется с высоты птичьего полета. Таким способом писатель создает «гигантскую панораму» горного пейзажа. С этой целью в описании актуализируется романтическая вертикаль: топосами, попавшими в фокус, являются такие, как обрыв, скала, впадина и берег. Принципы и язык описания кавказской природы, ярко представленные в прозе А.А. Марлинского, тиражируются в «кавказских» травелогах XIX века. Рассмотрим некоторые примеры использования романтических клише в путевой литературе. Так, в «Воспоминаниях о Тифлисе», опубликованных в 1847 году, в фокус путешественника попадают кавказские горы. Стараясь создать картину *земного Рая* (таким образом представляется природа Кавказа автору), он использует романтические формулы: «невообразимо прелестна», «величественно прекрасна», «живописные», «угрюмые», «ужасающие» горы. В повествование вводится устойчивая, в частности, у А.А. Марлинского, ассоциация: процесс описания природы сравнивается с процессом создания живописной картины. В «Поездке на снеговой хребет северо-западной цепи Кавказа», опубликованной в 1851-м году в «Современнике», также видится ориентация на романтическую литературу: в описании природы выделяется романтическая вертикаль. Поднявшись на гору, взгляду автора открывается такая картина:

Трудно описать ту чудную картину, которая представилась нам здесь. Нельзя найти красок, чтоб передать все цвета, все оттенки, все переходы от света к сумеркам, от сумерек к ночи, от света к свету. Скажу только, что подобной картины я не видал еще в жизни, – не видал еще ничего величественнее, прекраснее [Поездка на снеговой хребет..., 1851, с. 15].

Нужно подчеркнуть, что клишированным является сам способ введения описания ландшафта. Прежде чем изобразить красоты, величие природы, автор травелога, вводит фразу, которая задает определенный зрительный фокус: «... картина, которая *представилась* нам ...», «вот что *представилось* тогда нашим глазам ...» (Курсив здесь и далее наш. – А.П.). Интересно, что актуализация процесса зрительного восприятия пейзажа обуславливает появление «театральной» ассоциации. Токарев, любуясь живописным видом, замечает, что он как будто рассматривает театральную декорацию.

Травелог Я.И. Костенецкого «Записки об Аварской экспедиции», опубликованный в «Современнике» за 1850-й год (издан отдельно в 1851-м году), ещё в большей степени, чем названные выше травелоги, ориентирован на романтическую литературу. Как и в «кавказской» прозе романтиков, в «Записках об Аварской экспедиции» изображается панорама природы, открывающаяся повествователю с высокой скалы:

Еще солнце не показалось из-за гор, но уже лучи его давно отражались на макушках вершин и, медленно с них опускаясь, блестящею пеленою ложились по зелени их отлогостей. Молочные облака, глыбами покоившиеся в долинах, пробужденные дыханием ветерка, как бы неохотно оставляли теплое свое ложе и, будто полусонные, еще долго качались на бархатных зеленых его покровах, и потом медленно начали подыматься, одеваться в золотые, волнистые свои пелены и улетали в разные стороны – искать самых вкусных поэтических завтраков, какие земля приготовила для них из тончайших паров своих вод и растений. Воздух был свеж и легок, прекрасное голубое небо как будто сквозилось, и легкие жаворонки весело щебетали в его эфире. Все было так упоительно, так величественно, что невольно погружаешься в какое-то безотчетное созерцание, немое благоговение пред великим Творцом этой чудной картины!.. [Костенецкий, 1851].

Автор «Записок об Аварской экспедиции», описывая природу Кавказа, подражает стилю прозы А.А. Марлинского, для которого характерно обилие образных эпитетов, сравнительных оборотов. В приведенном описании очевидна ориентация на картины Кавказа, созданные М.Ю. Лермонтовым в начале главы «Княжна Мери». Автор травелога также изображает утренний пейзаж, в описании которого подчеркивает чистоту и легкость, расцветивает открывшуюся картину голубыми и белыми оттенками. В данном контексте фраза «воздух был свеж и легок <...>» может быть расценена как перифраз фрагмента из романа М.Ю. Лермонтова «воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка».

Стремление автора расцветить повествование об экспедиции в Аварию, сделать его литературным, обусловлено, как нам представляется, выбранным форматом публикации. Размещая травелог в «Отечественных записках», Я.И. Костенецкий желает сделать его увлекательным для читателей журнала, об этом свидетельствуют метарефлексивные вставки, введенные в повествование⁵. Его задача – создать не столько «объективные», сколько занимательные картины. В травелоге, как и в повести А.А. Марлинского и романе М.Ю. Лермонтова, встречается сравнение природы с живописным изображением. Так, увидев горы после дождя, автор пишет, что они «... как будто приняли совсем другие формы, как будто вдруг какой-нибудь великий художник положил краски и тени

⁵ Приведем некоторые примеры: «Да не утомится мой читатель описанием трудов наших с обозом. Мне и самому наскучило повторять одно и то же <...>» [Костенецкий, 1851]; «Покамест я поведу вас в столицу Аварии, в ханский дворец, в чертоги прелестной Салтанеты, взгляните прежде в эту пропасть, над которою стоит моя палатка. Она достойна любопытства зрителя самого пресыщенного картинами природы» [Костенецкий, 1851].

на эту картину, прежде только слегка обрисованную» [Костенецкий, 1851].

Авторы «кавказских» травелогов используют романтические клише, связанные с характеристикой горцев. В их характеристике, как правило, указывается на «страсть к хищничеству». Словосочетание, частотное в романтической литературе, становится тиражируемой формулой. В очерке К. Дидимова «Экспедиция в Аргунское ущелье с 15-го января по 18-е апреля 1858 года», в котором описывается покорение кавказских земель, подчеркивается, что местные жители являются «воинственным и хищным народом». Аналогичная характеристика обнаруживается в другом очерке К. Дидимова «Экспедиция в Чанты-Аргунское ущелье с 1-го июля по 19-е августа 1858 года». Говоря о ненависти кавказского населения к русским, повествователь называет такие национальные свойства, как «необузданная воля», «безотчетная страсть к войне и хищничеству». Как и в романтических произведениях, в очерках К. Дидимова воинственные горцы представляются «однородной» стихийной массой. Интересно, что К. Дидимов, описывая это свойство, использует сравнение, представленное в прозе А.А. Марлинского. В «Письмах из Дагестана» население сравнивается с муравьями: «Лезгины, как муравьи, таскали по камню, сейчас ложились за ними и посылали к нам брань и пули» [Бестужев-Марлинский, 1981, с. 138]. В очерке об экспедиции в Аргунское ущелье встречается описание, включающее это литературное сравнение: «<...> снеговые горы сделались черными от покрывших их страшных масс чеченцев, которые, подобно муравьям в муравейнике, давя друг друга, спешили на вершины <...>» [Дидимов, 1859].

Таким образом, в литературе романтизма и, в частности прозе А.А. Марлинского, формируется литературный образ Кавказа, на который ориентируются путешественники, жела-

ющие представить путешествие как увлекательную беллетризованную историю.

Одновременно с тиражированием клише развивается другой процесс: осмысление «изношенности» литературных образов. В травелогах появляются рассуждения о том, что пришло время отказаться от романтического представления о Кавказе и начать изучать географию края, собирать этнографический материал. Приведем репрезентативный с этой точки зрения фрагмент травелога К. Самойлова «Заметки о Чечне»:

Все познания большинства нашего общества о Кавказе ограничиваются <...> самыми неточными и сбивчивыми сведениями, почерпаемыми <...> из высокопарных кавказских романов с их неизбежными, никогда небывалыми и невозможными Фатимами, Зюлейками <...> [Самойлов, 1855, с. 44].

Как правило, первоисточником «ложного» представления о Кавказе называется беллетристика А.А. Марлинского. А. Чужбинский (псевд. Афанасьев), автор травелога «Несколько дней за Кубанью», замечает, что писатель «... так много повредил Кавказу своими фейерверочными описаниями, что <...> трудно решиться описывать край, где читатель привык встречать сказочный мир Шахерезады и восточное великолепие» [Чужбинский, 1855, с. 3]. Путешественники, авторы «кавказских» травелогов, стараются разрушить романтические описания природы Кавказа, местного населения. Эта тенденция наблюдается уже в 1830-е годы.

Н. Пауль в «Кавказских картинах», опубликованных в 1833-м году в «Телескопе», описывая военный поход, отмечает, что в одном из селений они спасают русского пленника. Автор подчеркивает, что положение казака не имело в дей-

ствительности ничего общего с той картиной, которую создали писатели-романтики:

Во все время плена страдалец лежал в углу сакли, ежедневно получая в пищу кусок тыквы; изредка только три бравые (как выражался он с улыбкой) девки украдкой ему давали головку кукурузы. Девки, что за выражение! Девы – скажите лучше – роскошные девы Кавказа, как цветок благовонные, как серна легкие, как чинар стройные; в сердце их загорался чистейший пламень любви к несчастному пленнику, начинавшему таять от блеска черных глаз. Это десятый том Пленника в стольких-то строфах, стольких-то стихах, за каждый стих столько-то: это романтизм на деле, проданный за воображаемый капитал ассигнаций невинных, белых, с черной оттенком цены. Тс! – успокойтесь! – поэзия хороша лишь на бумаге; никто влюбляться не станет с колодкой на шее, кроме сумасшедшего от любви у Обухова Моста. Полунагая Чеченка, прикрытая лохмотьями, с тряпкой на голове вместо покрывала, с босыми ногами и черствыми руками, есть не что иное как неопрятное создание, раздавленное домашней работой <...> [Пауль, 1833].

Стремление Н. Пауля разрушить романтический образ Кавказа, однако, реализовывается не в полной мере. Деромантизируя характеристики местных жителей, сюжет, автор в романтическом свете изображает горный пейзаж. В описании природы он использует устойчивые формулы («величественная», «разнообразная» природа), подражает стилю романтических повестей⁶. В «Кавказских картинах» встречается сравнение панорамы кавказской природы с театральной

⁶ Приведем фрагмент описания природы: «Кто мог полагать с нашей точки зрения, что сей ландшафт, сладкий для взора, как юная дева, столь же обманчив, как сердце кокетки, и что сия улыбающаяся местность почти непроходима <...>» [Пауль, 1833]

декорацией⁷, которое будет использовано автором «Поездки на снеговой хребет северо-западной цепи Кавказа».

Процесс деромантизации кавказской природы представлен в травелоге «Поездка в Грузию» анонимного автора. Устойчивое сравнение Кавказа с земным Раем в нем преобразуется в семантическую «противоположность»: автор сравнивает горный пейзаж с царством всеобщей смерти и мрака:

... нет растений, нет птицы, нет одушевленного существа, где камень и камень <...> Там все иссохло, исчахло, окаменело [Гаджиев, 1982, с. 23];

Ужасный край! Жилище Асмодеев и Мефистофелей и всех адских сил [Там же].

Нужно отметить, что такого рода сравнение (Кавказ – ад) не встречается в других травелогах.

В период формирования романтического образа Кавказа, травелоги, в которых обнаруживается обратная тенденция, вызывают резкую оценку современников. П. Бестужев в рецензии на «Поездку в Грузию» подчеркивает, что автор предоставляет читателям недостоверный материал⁸. В 1840-е годы ситуация изменяется: осмысление «изжитости» романтических клише становится нормой, правилом. Обратимся в этой связи к «Путешествию по Востоку» И.Н. Березина, одна из частей которого – «Путешествие по Дагестану и Закавказью» – посвящена путешествию по Кавказу.

«Путешествие по Дагестану и Закавказью» И.Н. Березина представляет результат поездки, совершенной с науч-

⁷ «Волшебная опера была тогда в наших глазах, на сей тесной удушенной сцене – а на деле, в природе» [Там же].

⁸ О статье П. Бестужева, опубликованной в «Сыне отечества», см. подробнее: [Виноградов, 1982, с. 64–82].

ной целью на Кавказ. Выпускник Казанского университета, И.Н. Березин по поручению правительства был отправлен изучать кавказские языки и диалекты, для того чтобы по возвращении в Россию занять кафедру в Казанском или Петербургском университете. Рассматриваемый травелог включает в себя как исторические сведения о Кавказе и местных жителях, так и личные впечатления путешественника. Оказавшись на Кавказе, И.Н. Березин постоянно сопоставляет вымышленный образ пространства, сложившийся в его представлении под влиянием романтической литературы, с тем, который открывается его взгляду.

Знакомство путешественника с Кавказом начинается с Тарху. Глава, посвященная описанию пребывания в этом городе, начинается с эпитафии из стихотворения Полежаева: «Скажу не в смех: / Аул Шамхала / Похож немало / На русский хлев» [Березин, 1849, с. 47]. Приведенный эпитаф задает фокус дальнейшего повествования: романтический образ Кавказа последовательно разрушается. Это выражается в изменении стилистики описания пространства. С иронией И.Н. Березин воспроизводит клишированное представление о Кавказе как романтическом уголке:

Кто из нас, читая в былое время с тяжкими вздохами «Кавказского пленника», восторженно не представлял себя героем преплачевной или престрашной драмы с самой благополучной развязкой, перед чьим сколько-нибудь живым воображением не рисовались великолепно-ужасные картины <...> кавказской природы, всегда похожие на самую крайнюю степень необыкновенного, которую только удавалось каждому видеть в своей жизни <...> [Там же, с. 47–48].

Далее язык описания изменяется, однако реальное описание подменяется рефлексией о неправдоподобности литера-

турных описаний. Изображая природу Кавказа, путешественник замечает:

При первом взгляде на очаровательный отрывок огромной картины, находившейся у меня перед глазами, я понял инстинктивно всю ложность водянистых пейзажей изнасилованного воображения, всю ничтожность географических сведений, собранных мною у «достоверных писателей» [Там же, с. 48].

Однако, путешественник, говоря о ложности литературных описаний, не дает своего, сколько-нибудь правдивого варианта. От описания природы автор переходит к характеристике местных жителей. Он подчеркивает, что представление о горцах как хищниках, тиражируемое в романтической литературе, не отвечает действительности. Путешественник, разрушая этот ложный образ, изменяет стилистику описания, сближает романтические штампы с бытовыми деталями. И.Н. Березин подчеркивает необразованность, неразвитость, апатичность жителей Кавказа.

В травелоге разрушается «фабула», традиционная связывающаяся с пространством Кавказа. Путешественник подчеркивает, что, встретившись с прекрасной иноплеменницей, он не влюбляется в нее. Характерно, что иноплеменницей является Сюльтанет, прототип героини повести А.А. Марлинского «Аммалат-бек». Специально познакомившись с женщиной, И. Березин сопоставляет ее с романтической героиней. В описании он делает акцент на том, что она постарела и живет в бедности. Романтический образ разрушается введением продолжения истории Сюльтанет и Аммалат-бека: муж отказывается от жены, начинает ухаживать за более молодой женщиной; жена поселяется в уединенном домике, живя на ограниченное содержание, которое дает ей «дражайший супруг».

Сопоставление вымышленного образа Кавказа с реальным становится отличительной чертой «кавказских» травелогов середины и второй половины XIX века. Рефлексия о неправдоподобности романтических образов встречается в очерках А. Чужбинского (Афанасьева) «Несколько дней за Кубанью» и «Аул за Тереком». В очерках рассказывается о поездке русского в гости к горцу. Причиной первой поездки в горы становится случай, подруживший повествователя с кавказским офицером. Так, во время перехода он вылечил горца, находящегося при смерти. В знак благодарности офицер пригласил русского в гости, для того чтобы представить семье. Причина второго путешествия в горы уже иная: молодой офицер руководствуется желанием узнать о жизни местного населения за Тереком. Отличительной особенностью обоих травелогов является описание бытовой жизни горцев. Путешественник, живя в доме, отмечает особенности во взаимоотношениях между родственниками, обращении с женщинами. На правах друга он оказывается вовлеченным не только в домашнюю жизнь горца, но и в жизнь целого аула. А. Чужбинский во время первого путешествия принимает участие в местном развлечении – скачках джигитов. Это событие он воспринимает сквозь призму литературных штампов. Разговаривая с другом, путешественник припоминает аналогичный эпизод из повести А.А. Марлинского «Аммалат-бек». Однако, как и в травелоге И.Н. Березина, романтический образ снижается, обытовляется:

Разговаривая о скачке, я припомнил описание, читаное мною у Марлинского, и спросил у Арслан-Бея, может ли он на скаку отстрелить из пистолета шип на задней подкове своей лошади? Арслан-Бей уставил на меня глаза. «Как шип? – спросил он, – да разве же у нас куют лошадей по вашему?» [Чужбинский, 1855, с. 31]

В обоих травелогах путешественник влюбляется в сестру друга. Однако события в них развиваются различно. В первом случае молодой офицер, чувствуя уважение к семье горца, не позволяет себе делать комплименты девушке и расстается с ней как с сестрой. Во втором случае А. Чужбинский невольно попадает в историю, которую затем описывает как романтическое литературное приключение. Так, в отсутствие пригласившего горца, он узнает о том, что девушка несчастна в семье. Эта часть травелога написана с ориентацией на беллетристику: путешественник делает акцент на том, что девушку заставляют выйти замуж против воли за бесчестного мужчину. Приехавший офицер невольно занимает позицию освободителя. Брат девушки говорит ей о том, что его друг – чародей, который может помочь ей освободиться от жениха. Не убедив девушку в обратном, молодой человек отправляется с ней за травами. Далее образуется романная перипетия: во время поисков в лесу молодые люди сталкиваются с горцами, для того чтобы избежать встречи с ними, девушка увлекает офицера в расщелину и целует его. Однако любовный роман между русским и иноплеменницей не развивается. Герой отказывается от предложения брата украсть красавицу и помочь ей тем самым освободиться от ненавистного брака. Интересно, что в очерке изменяется антитеза, тиражируемая в романтической литературе: свободная горянка представляется мятущейся и несвободной, как европейская женщина.

Рефлексия о неправдоподобности образа Кавказа, созданного А.А. Марлинским, встречается в «Отрывках из моих воспоминаний» А. Зиссермана, опубликованных в 1870-е годы в «Русском вестнике». В начале повествования А. Зиссерман пишет о том, каким ему представлялся Кавказ по прочтении художественной литературы:

Мне было тогда 17 лет, когда, живя в одном из губернских городов, я в первый раз прочитал некоторые сочинения Марлинского <...> довольно сказать, что чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю с ее грозною природой, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом, высокими, вечно покрытыми снегом горами и прочими прелестями, неминуемо воспламеняющими воображение семнадцатилетней головы <...> [Зиссерман, 1876, с. 52].

Как видно из приведенного фрагмента, описание включает в себя художественные образы, традиционно связанные с кавказским пространством: природа, горцы, девы гор. Подчеркнем, что устойчивые художественные образы вводятся в повествование с помощью романтических формул: «грозная природа», «воинственные обитатели», «чудные женщины». Далее, как и в травелоге И.Н. Березина, вымышленный образ Кавказа, созданный под влиянием романтизма, разрушается. Однако разрушение происходит не последовательно. Как и в случае с «Путешествием по Дагестану и Закавказью», рефлексия автора о неправдоподобности романтических клише не приводит к «объективизации» образа Кавказа.

Изображая кавказскую природу, А. Зиссерман сначала подчеркивает, что описания, данные А.А. Марлинским, не передают всей красоты и величия горного пейзажа:

Опять вскарабкались на тощих буцефалов и тронулись мерным шагом дальше к знаменитому Дарьялу <...> впечатление, трудно передаваемое на бумаге. Все поэтические описания, посвященные этим местам все-таки слабы перед действительностью [Там же, с. 55].

Однако далее автор, для того чтобы передать величественную картину кавказских гор, обращается к формулам (наиболее частотное прилагательное живописный). Одновременно с романтическими описаниями природы в «Отрывках...» даны описания, романтический пафос которых снижается. Например, пейзаж, который открывается с высокой площадки, А. Зиссерман оценивает следующим образом:

... вид был вообще дико унылый, в некоторых местах лежали грязные, снежные глыбы, остатки обвалов; но ничего ни особенного поражающего, ни опасного я не заметил [Там же, с. 57–58].

Несмотря на стремления авторов травелогов сообщить «объективные» сведения о Кавказе, в XIX веке это оказывается практически невозможным, поскольку, для того чтобы описать природу кавказского края, быт и традиции населения, необходимо сначала сформировать качественно новый язык их описания. Удачная в этом отношении попытка обнаруживается в путевой литературе второй половины XIX века. Речь идет о травелоге Н.И. Воронова «Из путешествия по Дагестану», размещенном в первых выпусках сборника «Сведения о кавказских горцах». Преодоление «литературности» обусловлено форматом публикации. Н.И. Воронов, следуя задачам сборника, сообщает малоизвестный материал, необходимый для научного изучения Кавказа. Причина, по которой автору, в отличие от других путешественников, совершающих поездку с научной целью, удается представить «объективные» сведения без использования литературных клише, заключается в том, что он изменяет традиционную оптику восприятия Кавказа. Приведем репрезентативный фрагмент описания:

... мы продвигались медленно, так сказать робкими шагами все ниже, ниже, а река в свою очередь также лилась ниже, и между нами и ею оставалось все одно и то же расстояние. В некоторых местах она скрывалась под навесом почерневшего снега, быть может, легшего здесь или упавшего с горы давным-давно и никак не успевающего растаять в короткий срок здешнего лета. Стены узкого и глубокого ущелья да эта речка внизу – вот и вся картина этих мест. Мрачно, сыро, глухо... [Воронов, 1868, с. 9].

Автор отказывается от панорамного изображения природы, описывает неживописный топос Кавказа, находясь внутри него, а не на высоте птичьего полета. Изображая ущелье, автор изменяет романтическую вертикаль: его взгляд скользит в горизонтальной плоскости. Изменение оптики приводит к тому, что появляются неромантические языковые средства: река *лилась*, а не струилась / бурлила (как представляется в романтических произведениях), ущелье *узко* и *глубоко*. Картина, изображенная с новой пространственной точки зрения, лишается романтической живописности. Характерно, что обращение к традиционной оптике – путешественник обзревает природу с горной вершины, с высоты птичьего полета – обуславливает появление таких клише, как *живописное* и *благодатное* место. Таким образом, Н.И. Воронов, как и другие путешественники, желающие сообщить «объективные» данные о Кавказе, оказавшись в пространстве, закреплённом в романтической литературе, невольно попадает под влияние романтического образа.

Итак, стремление авторов «кавказских» травелогов деромантизировать Кавказ, сообщить достоверную информацию о ландшафте, быте и традициях местного населения в полной мере в исследуемый период не реализуется. Образ Кавказа, сформировавшийся в романтической литературе, превраща-

ется в миф⁹, который прочно укореняется в памяти читателей-путешественников. В таком случае возможности путешественников, желающих рассказать о поездке на Кавказ, ограничиваются двумя «полюсами»: описывая природу, горцев, они идут по пути романтизации Кавказа, несущественно изменяя романтические клише, или начинают рефлексировать по поводу «ложности» описаний, созданных под влиянием романтической беллетристики. Написать о «кавказском» путешествии «поверх» романтической традиции оказывается невозможно.

Литература

Источники: «кавказские» травелоги

Березин И.Н. Путешествие по Востоку. Ч. 1. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Казань; М.; СПб.: В университетской типографии, 1849.

Бестужев-Марлинский А.А. Письма из Дагестана // Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1981. С. 128–176.

Воронов Н.И. Из путешествия по Дагестану // Сведения о кавказских горцах. Тифлис: В типографии главного наместника кавказского, 1868. Вып. 1. С. 1–36.

Воронов Н.И. Из путешествия по Дагестану // Сведения о кавказских горцах. Тифлис: В типографии главного наместника кавказского, 1870. Вып. 3. С. 1–40.

Воспоминания о Тифлисе. (Из дорожных записок 1844 года) // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений. 1847. Т. 67. № 266. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Vosp_Tiflis_1844/text.htm (дата обращения: 12.03.2016).

⁹ О формировании кавказского мифа в русской литературе первой половины XIX в. см. подробнее: [Романенко, 2006].

Дидимов К. Экспедиция в Аргунское ущелье с 15-го января по 18-е апреля 1858 года // Военный сборник, № 7. 1859. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Didimov_K/text2.htm (дата обращения: 12.03.2016).

Дидимов К. Экспедиция в Чанты-Аргунское ущелье с 1-го июля по 19-е августа 1858 года // Военный сборник, № 8. 1859. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Didimov_K/text1.htm (дата обращения: 12.03.2016).

[*Зиссерман А.Л.*] Десять лет на Кавказе // Современник. 1854. Т. 47. С. 1–42, 117–155.

Зиссерман А.Л. Отрывки из моих воспоминаний // Русский вестник. 1876. Т. 122. С. 50–105.

Костенецкий Я.И. Записки об Аварской экспедиции на Кавказе 1837 года: В 3 ч. Ч. 2. СПб.: Типография Э. Праца, 1851. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Kosteneckij_Ja_I/text2.htm (дата обращения: 12.03.2016).

Пауль Н. Кавказские картины. Из записок очевидца // Телескоп. 1833. Ч. 16. №15 URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Paul_N/text1.htm (дата обращения: 12.03.2016).

Самойлов К. Заметки о Чечне // Пантеон. 1855. Т. 23. Кн. 9. С. 43–86.

Токарев. Поездка на снеговой хребет северо-западной цепи Кавказа // Современник. 1851. Т. 28. С. 1–24.

Чужбинский А. (Афанасьев). Несколько дней за Кубанью. Из дорожных записок // Пантеон. 1855. Т. 20. Кн. 3. С. 1–34.

Чужбинский А. (Афанасьев). Аул за Терекком. Из дорожных записок // Пантеон. 1855. Т. 22. Кн. 8. С. 1–24.

Экспедиция в Большую Чечню зимою с 1856 на 1857 год // Современник. 1858. Т. 67. С. 119–127.

Научная литература

Алексеев П.В. Русский ориентальный травелог как жанр путевой прозы конца XVIII – первой трети XIX века // Филология и человек. 2014. № 2. С. 34–46.

Багратион-Мухранели Н.Л. Кавказ как утопия русской классической литературы // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2014. № 9 (150). С. 83–89.

Виноградов Б.С. Кавказ в русской литературе 30-х годов XIX века (Очерки). Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1966.

Гаджиев А. Кавказ в русской литературе первой половины XIX века. Баку: Язычы, 1982.

Меднис Н.Е. Сибирские рассказы В.Г. Короленко в контексте русской литературы и культуры // Сибирские страницы жизни и творчества В.Г. Короленко. Новосибирск: Наука, сибирское отделение, 1987. С. 54–63.

Нурбагандова Л.А. Кавказская публицистика А.А. Бестужева-Марлинского: дисс. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2008.

Романенко С.М. Кавказский миф в русском романтизме и его эволюция в творчестве Я.П. Полонского: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Томск, 2006.

Савченко Т.Д. Литература путешествий о Кавказе второй половины XX века: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2009.

Степанова Е.А. Кавказская фабула в русской литературе XIX–XX веков: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Уфа, 2004.

Ханмурзаев Г.Г. Дагестанская тема в русской литературе второй половины XIX века. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1982.

Ходанен Л.А. Культурный концепт «Кавказ» и его текстообразующая роль в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова // Сибирский филологический журнал. 2015. № 4. С. 47–57.

Шадури В. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси: Заря Востока, 1958.

Эмирова Л.А. Кавказская проза А.А. Бестужева-Марлинского: проблемы евразийского культурного диалога: дисс. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2002.

Юсуфов Р.Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в. М.: Наука, 1964.

A.A. Ponomareva

Novosibirsk State Pedagogical University

DEROMANTIZATION OF THE CAUCASUS IN “CAUCASIAN” TRAVELOGUE OF THE 19TH CENTURY

Abstract. The article is devoted to the “Caucasian” travelogue of the middle and the second half of the 19th century. The material of the study are the travelogues that have not attracted the attention of researchers: the texts are mainly published in literary magazines of the 19th century and generally have not been reprinted later. The article shows that the “Caucasian” travelogue is formed on the basis of romantic literature. Travelers borrow descriptions of landscapes, portraits of the natives generated in fictional literature for depicting of their trips to the Caucasus. The impact of fictional literature on the “Caucasian” travelogues is revealed in the article by bringing into comparison some fragments of “Caucasian” prose by A.A. Marlinsky (who’s influence on the perception of the Caucasus by travelers was stronger than Pushkin’s or Lermontov’s) and non-fictional travel “sketches”. Study shows that the authors of “Caucasian” travelogues often reflect on the influence of Marlinsky’s prose on their perception of real space. As the result, the process of deromantization of the Caucasus starts and the triviality of literary cliches is realized in the middle and the second half of the 19th century. We have considered the ways the authors try to give “impartial” information about Caucasian nature and the native population, “destroy” the cliches of Romanticism.

Keywords: the “Caucasian” travelogue, the Caucasus, “Caucasian” prose by A.A. Marlinsky, deromantization of literary cliches.

Information about the author. Ponomareva Anastasia Alexandrovna, post-graduate student of of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluykaya str., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126. E-mail: anastasiya.ponomareva.92@inbox.ru).

Е.Г. Николаева

Новосибирский государственный педагогический университет

**ЖЕЛТУГИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
ИЛИ АМУРСКАЯ КАЛИФОРНИЯ
В ОЧЕРКАХ И МЕМУАРАХ РУССКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XIX ВЕКА
(Я-Й, Н.Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ, М.В. ГРУЛЕВ)¹**

Аннотация. В статье рассмотрены очерки и мемуары, в той или иной степени рассказывающие о путешествии в Желтугинскую республику – русско-китайское незаконное государство, возникшее стихийно в связи с открытием запасов золота на приграничной с Российской империей территории Китая. Анализ выбранных текстов направлен на рассмотрение элементов травелога, связанных с описанием впечатлений путешественников от поездки в «Амурскую Калифорнию» или через нее, а также специфики ее социума, быта, экономики, политики и законодательства. Делается акцент также на том, что изображение Желтугинской республики у отечественных авторов лежит в русле определенной традиции, заложенной с одной стороны газетными и журнальными новостными публикациями о калифорнийской золотой лихорадке, с другой – очерками и художественной литературой о старателях, в частности очерками М. Твена и рассказами Брет Гарта. Ведется наблюдение за сменой стилей повествования в тексте очерка «Амурская Калифорния». Также, при констатации наличия одной и той же событийной канвы в изображении Желтугинской республики в исследуемых текстах, делается вывод о разнице в нарративных установках их авторов.

¹ Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-04-00508 («Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII – начала XX вв”»).

Ключевые слова: травелог, путешествие, старательский рассказ, очерк, мемуары, Желтугинская республика, Амурская Калифорния, Калифорния, Китай, золотая лихорадка.

Сведения об авторе. Николаева Екатерина Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, НГПУ. Тел.: (383) 244-03-30. E-mail: nikks@ya.ru).

Желтугинская республика – незаконное образование, возникшее на территории Китая на реке Мохэ (приток М. Албазихи), то есть на приграничной с Российской империей территории. Как отмечает синолог О. Курто [Курто, Амурская Калифорния...], это незаконное государственное образование конца XIX века (1883–1886), основой которого послужила золотодобыча, является одним из уникальных примеров сосуществования на одной территории русских и китайских граждан. Интерес к Желтугинской республике в XIX веке был широк, о чем говорит обилие публикаций в самых разных изданиях («Сибирь», «Восточное обозрение», «Вестник Императорского русского географического общества», «Жизнь на восточной окраине», «Вестник Европы» и др.) как во время ее существования, так и позже. Интерес к «республике» отражен и в ряде художественных текстов: от Н.В. Латкина до В. Пикуля и Г. Чхарташвили [Латкин, 1898; Пикуль, 1992–1998, т. 25, с. 331–342; Борисова, 2011]. В последнее время интерес к самопровозглашенному государству возобновился: этот феномен рассматривается с исторической, политической, экономической, социологической, этнографической, краеведческой и др. позиций [Курто, Отечественная историческая литература..., с. 54–67; Скрипко, Снакин, Бе-

резнер, 2009, с. 53–77]. С филологической точки зрения тексты о Желтуге, насколько нам известно, специально не рассматривались, в том числе не были изучены элементы травелога в ряде очерков, мемуаров и научных текстов XIX века, посвященных описанию путешествия в Желтугинскую республику или через ее территорию.

Но прежде чем мы остановимся на подобных текстах, необходимо отметить, что описание путешествий в Амурскую Калифорнию, как называли Желтугу, зачастую лежит в русле определенной традиции. История разработки золотых и серебряных месторождений в XIX веке к моменту образования Желтугинской республики была уже довольно большая: это и история горного дела на Урале и отчасти в Сибири, и Невадская серебряная и Калифорнийская золотые лихорадки. Современники узнавали об открытии богатых месторождений прежде всего благодаря слухам, газетным и журнальным новостным сообщениям, а также из очерков и произведений художественной литературы, так или иначе связанных с литературой путешествий. Поэтому к моменту появления и распространения Желтугинской лихорадки в поле зрения авторов уже были образцы описания подобных явлений на других территориях. Так, российский читатель был знаком с событиями 40-х – 50-х годов XIX века в Неваде и Калифорнии. Интерес российского общества именно к последнему золотоносному району объясним: «Связано это с тем, что в <...> том самом месте, где и обнаружено было золото, почти в течение тридцати лет существовала русская колония, озаглавленная в отечественных источниках как „крепость и селение Росс”. Годы ее существования, 1812–1841, хронологически предшествуют периоду калифорнийской „золотой лихорадки”.

В самом деле, в 1841 г. из форта Росс эвакуировались последние русские, продав эту крепость мексиканскому подданному швейцарского происхождения Д. Суттеру за 30 тысяч пиастров <...>. А уже в 1848 г. во владениях Суттера обнаружатся золотые россыпи. Естественно, русская сторона не могла обойти этот вопрос молчанием и русская периодическая печать, в частности, разразилась в течение 1848–1850-х гг., да и не только, рядом публикаций, посвященных калифорнийскому золоту» [Низовцев].

Публикации о Калифорнийской лихорадке, в том числе и в русской прессе [Современник (Смесь), 1848, т. 12, № 11–12, с. 173; Современник (Смесь), 1849, № 2, с. 212–213; Современник, 1849, т. 14, № 3–4, с. 75–76 и др.] и специальной литературе [Низовцев], а также ранние путевые очерки М. Твена и старательские рассказы Брет Гарта², отразившие путешествие в Калифорнию этого периода и старательские быт и нравы, определили во многом принципы подачи истории желтугинской золотой лихорадки,

² Об отражении темы «золотой лихорадки» в творчестве этих авторов см. статью И. Супоницкой [Супоницкая, «Фронтир» и «золотая лихорадка»...]. Отчасти касается данного вопроса в творчестве М. Твена В.А. Шачкова в своей диссертации [Шачкова, 2008]. Русские читатели знакомятся с творчеством М. Твена с 1870-х гг. XIX в. Первый перевод Ф. Брет Гарта в России опубликован в 1872 г., первое собрание сочинений – в 1895 г., об интересе к его произведениям (в частности, к старательским рассказам) может говорить, например, такой факт: в 1878 г. в сибирской ссылке с ними знакомится Н.Г. Чернышевский, который в письме к жене переводит рассказ «Миггис», сопровождая его критическим разбором творчества американского писателя [Чернышевский, 1939–1953, т. XV, с. 228–242].

в частности, ее сравнение с калифорнийской³. Однако нельзя сбрасывать со счетов и факт сходства принципов и этапов освоения золотоносных территорий Калифорнии и Сибири (в том числе пограничной русско-китайской зоны в районе р. Желта) в результате колонизации этих земель⁴, что также повлияло на возникновение близких сюжетных ситуаций и деталей при описании золотодобычи в Калифорнии и в Желтугинской республике.

Мы остановимся на трех примерах отражения этого незаконного образования в очерках и мемуарах путешественников.

Первый пример – очерк «Амурская Калифорния», подписанный псевдонимом «Я-й» [Амурская Калифорния, 1886, с. 138–168]⁵. Данный текст заслуживает отдельного внимания, потому что он фактически построен на «рассказе» одного очевидца жизни в Желтуге – избранного старателями

³ Но, справедливости ради, нужно сказать, что открытие калифорнийского золота стало возможным благодаря уральско-сибирским изысканиям: немецкий ученый А. Гумбольдт в 1829 г. посетил Березовское, другие месторождения золота России и позднее опубликовал специальную работу, которая сподвигла других известных зарубежных геологов искать геологическое сходство в различных странах с Урало-Сибирскими «золотыми» зонами. «Снежная цепь гор Калифорнии в ее минералогическом строении совершенно сходна с горными породами Сибири», – писал английский геолог Р. Мучисон. [Цит. по: Россия спасла мировую денежную систему...].

⁴ См. подробнее об этом в работе И.М. Супоницкой [Супоницкая, 2007].

⁵ Во второй публикации очерк вошел в сборник «Сибирские рассказы приискового люда» [Амурская Калифорния, 1888].

«президента» Амурской Калифорнии⁶. Этот «очевидец» (или тот, кто редактирует его «рассказ», систематизируя его в очерковой форме⁷) знаком с большим количеством публикаций в российской прессе, а также широким освещением в Европе распространения желтугинской золотой лихорадки, о чем там «возвещено было телеграфом», что, как будет нами показано ниже, окажет влияние на его повествование.

Наименования желтугинского образования «Калифорния» или «Клондайк»⁸, по аналогии с известными месторождениями золота, не раз встречаются в прессе того времени (и не только применительно к Желтуге, но и, например, к Олекминским месторождениям), что объяснимо памятью о нашумевших публикациях, рассказывавших о баснословном богатстве американских месторождений. *Я-й* видит родство Желтуги с Калифорнией в соединении на территории Желтуги множества национальностей (ороченов, китайцев, русских) и «авантюристов всяких племен» [Амурская Калифорния, 1886, с. 138]. Однако им отмечается, что именно эта «международная Калифорния», между тем, «представила столько оригинального».

⁶ В тексте «Амурской Калифорнии» есть «зазор» между журналистским дискурсом и собственно рассказом очевидца: «по словам очевидца»; «Один из очевидцев и участников в основании этой колонии, игравший в своеобразной администрации Калифорнии важную роль, доставил нам любопытный рассказ об обстоятельствах, сопровождавших открытие золота», «наш корреспондент сообщил о последних днях ея» [Амурская Калифорния, 1886, с. 138–139]. Также отметим, что неоднородность стилистики и языка собственно «рассказа очевидца» говорит в пользу того, что отдельные его части подвергались большей или меньшей редакторской правке. Далее, говоря об авторе «Амурской Калифорнии», мы будем иметь в виду «рассказ очевидца».

⁷ В жанровом отношении эти записки «по словам очевидца» можно отнести к очеркам, где совмещены несколько его разновидностей – например, путевая и историческая.

⁸ Золотая лихорадка на Аляске начинается после 1896 г., в то время, когда история Желтугинской республики движется к концу.

Интерес этот текст представляет подробным описанием истории начала Желтуги, здесь автор предельно «документален» – он называет национальность и даже имя того (орочен «Ванька»), кто нашел первый самородок на этом месте, само место (на могиле его матери); золотопромышленника Середкина, кому было сообщено о находке и дату начала распространения слухов о несметных богатствах станицы Игнашиной (именно там ранней весной в 1883 году был обнаружен самородок)⁹.

⁹ Эти и другие подробности, вероятно, и позволяют некоторым исследователям считать автора «президентом» Желтуги. По одной из версий им был Карл Фассе (Фасе / Фоссе). Так, О. Курто отмечает: «Существует несколько версий того, кто же был первым правителем Желтуги. Справедливости ради следует отметить, что ясности не было и в годы, когда разворачивались эти события. В отчёте, составленном Канцелярией министерства финансов в 1897 г., можно найти такие сведения: „Выбор пал на лицо, выделявшееся из толпы своим образованием, разносторонними практическими сведениями, честностью и трезвостью и одарённое в высшей степени энергическим характером. Это был Карл Карлович Фоссе, итальянский подданный“; по другим известиям (Сибирский Вестник) – Адольф Карлович Фассе; по Revue française – Карл Карлович Иванович, словак, австро-венгерский подданный. В самое последнее время существования прииска во главе общины стоял отставной горный исправник Сахаров (Сибирь, 1885, № 5). „Жизнь на Восточной окраине“ (1896, № 135) сообщала, что в Благовещенске, в июле этого года, скончался Н.А. Прокунин, стоявший одно время также во главе Желтугинских приисков. Однако, нигде больше имени Прокунина не встречается». [Курто, Амурская Калифорния...].

Электронный портал «Немцы в России» дает такую биографическую справку: ФАССЕ Карл Иоганн (1847, Тироль – 1905, С.-Петербург), золотопромышленник. Выходец из Австро-Венгрии. Окончил юридический факультет Будапештского университета (1870). В 1874 г. приехал в Россию. Служил чиновником телеграфного ведомства во Владивостоке. В начале 1880-х гг. оставил службу и занялся золотодобычей на правом берегу Амура, в бассейне реки Желтуга, на территории китайской провинции Хейлуцзян. <...> В 1884 сход избрал Ф. президентом «республики». Ф. разработал «Конституцию» и «Закон», которые были приняты всеми старателями и неукоснительно соблюдались, а сам Ф. пользовался непререкаемым авторитетом. <...> 1 декабря 1885 Ф. был вызван в Нерчинск и арестован (по одной из версий, причиной ареста стал донос местных молокан <...>). В январе 1886 «республика» разогнана маньчжурскими войсками. Ф. вскоре был освобожден и уехал в С.-Петербург. <...> Рукопись воспоминаний Ф. утрачена в годы Гражд. войны 1917–22 [Немцы в России].

В большинстве случаев автор, описывая свой приезд и пребывание в «республике», фиксирует сходные с калифорнийской этапы развития желтугинской лихорадки. Так, он подчеркивает стремительность в распространении слухов – в июне–июле они «распространились уже по всему Амуру и Забайкальской области, да еще с такими грандиозными преувеличениями о богатстве их, что каждому так и грезилось, что стоило, будто бы, только взять на лопату песка, промыть его, и счастливцев уже получал чуть не с ½ фута золота» [Амурская Калифорния, 1886, с. 141]. Это преувеличение, вероятно, заставляет автора искать определения и метафоры для наименования этого топоса – не только уже общеупотребительное в русской прессе «Калифорния», но и «золотопромышленная колония» и «золотая земля»¹⁰. Само название «республики» – Желтугинская, Желтуга – возникло от названия реки Желта (китайск. – Мохэ, ороченское – Жел-ту), от которого золотодобытчики путем метафорического переноса по сходству с цветом золота стали называть и реку, и место, полные желтого металла – золота¹¹.

Однако открытие лёгкой наживы на золотоносных землях воспринимается «очевидцем», приехавшем в Желтугу, как бедствие, опасность для российского человека (что будет отражено и у других авторов, например, генерала Грулева). Так, горного инженера Лебедкина (доверенного Середкина) в скором времени после находки самородка увозят «чуть живым на русскую сторону» по причине того, что «пил запоем», часть инструментов Середкина «расхищена рабочими, оставшимися продолжать работы на собственный счет» [Там же, с. 276]. Картина такой быстрой деградации усугубляется еще

¹⁰ Также в другом тексте этого же автора мы встречаем – «Игнашинская Калифорния» [Я-й, 1885]. Эта публикация построена на выдержках из рассказов очевидцев, в том числе тех, кто знал Фассе (в тексте статьи – *Пасси*).

¹¹ Интересен факт, что после разгона «демократической республики», незаконные золотодобытчики, рассеявшись по приамурской и забайкальской областям, перенесли это название на многие речки, где они мыли золото и организовали подобные «республики».

и тем фактом, что был намечен раскол внутри местного казачества: «... увлечение легкой наживой со стороны молодых казаков встревожило старых казаков-хлебопашцев». Но если решение, принятое на сходе казаков – запретить им участвовать в золотодобыче, позволив только доставку и продажу припасов рабочим, – уберегло этот слой от золотой игнашинской лихорадки, то большинство других оказались подвержены ей в больших масштабах. Автор очерка придает этому движению глобальный характер, описывая процесс прибытия на «золотую землю» как переселение народов: «... усиленное движение разного народа из одного конца в другой: переселенцев, беглых каторжных, наконец массы пробирающихся из Иркутской и Забайкальской областей свободного люда», «движущаяся толпа» [Там же, с. 140–141, 145.] Катализатором увеличения скорости и интенсивности притока людей в Желтугу, по мнению «очевидца», являются те же слухи, но пущенные «из хвостовства», они подливали «масла в огонь», так как социальное зло начинает распространяться и на ремесленников и служащих, бросавших «мастерские и занятия» и уезжающих сотнями и тысячами туда, «где их ждало счастье»¹².

¹² Сходную ситуацию рисует и М. Твен, приводя в своих путевых очерках «Налегке» (Переводное название очерков «Закаленные», 1871), посвященных путешествию 1861–1866 гг. в Неваду и Калифорнию времен серебряной и золотой лихорадки, цитату из «Дейли территориал энтерпрайз»: «... все помешаны на „футах“. Города наши почти опустели. Они хиреют, как больная чахоткой. Где же наши крепкие, мускулистые сограждане? Они рассыпались по ущельям и горным склонам» [Твен, 1959–1961, т. 2, с. 147]. Российские печатные издания также активно сообщали об этом: «Известно, что в нынешнем году в Калифорнии <...> открыты золотые прииски, которые по количеству содержания золота бесспорно принадлежат к богатейшим в целом свете <...>. Такое открытие свело с ума население города Сан-Франциско <...>. Города и деревни опустели, и все работы остановились, потому что рабочие руки обратились на промывку золота». [Современник, 1848, т. 12 (11/12), с. 173]. В некотором отношении газетные и журнальные публикации, как и слухи, также подогревали интерес к старательским разработкам, способствуя оттоку населения в золотоносные районы.

После этого, там, где автор говорит о начале своего путешествия в Желтугу, стилистика повествования меняется (по всей видимости, здесь текст в меньшей степени подвергся журнальной редакции) и становится близкой стилистике древнерусских хождений: «В это прекрасное время я, грешный человек, одержимый получившей значение эпидемии золотой лихорадкой, увлекся и поплыл вместе с житейской волной туда, где, как говорили, не сеют, не жнут, а только жатву собирают»¹³ [Там же, с. 142]. Интересно отметить, что эта цитата весьма противоречива: «прекрасное время» и «лихорадка» – для автора это благое и вместе с тем «болезненное» время.

«Благое» – поскольку традиционный образ плавания по «волнам житейского моря» символизирует человеческую жизнь, полную испытаний, а пристань – смерть и (в христианской культуре) переход в иной мир – рай для праведников. Именно как эдемское состояние описывается мечта о Желтуге – «где не сеют, не жнут» (т. е. не трудятся), а «только жатву собирают». Можно предположить, что здесь автор неосознанно или сознательно прибегает к библейскому контексту и пословичному корпусу, компилируя эти два пласта: библейский «Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы...» (О птицах. – Мф. 6:26) и пословичный: «Где не сеют, там не жнут», «Жнет, где не сеял, а собирает, где не рассыпал». Выражение «житейская волна» играет в текстах о Желтуге еще одну роль, означая «положиться на волю волн», «довериться судьбе», поскольку многие из хлынувших в Игнашину и ее окрестности, как и в случае любой золотой лихорадки, полагались на

¹³ Ср.: «Се азъ недостойный игумень Данил Руския земля, хужши во всѣхъ мнѣхъ, съмѣренный грѣхи многими, недоволенъ сый во всякомъ дѣлѣ блазѣ, понуженъ мыслию своею и нетрыгѣнием моимъ, похотѣхъ видѣти святыи градъ Иерусалимъ и Землю обѣтованную» [Житие и хождение игумена Даниила].

везение, счастье. Неожиданный поворот фортуны в Желтуге мог быть связан не только с найденным золотом или азартной игрой, но и с выгодным положением. Так, в очерке «очевидца» неожиданно вес приобрел начальник телеграфной станции, перед которым добытчики заискивали из страха перед властями, так как «всякое приключение, касающееся их, не будет секретом для телеграфа» [Там же, с. 142]. Возвеличившийся чиновник «ввел поборы и называл себя „горный исправник”», но фортуна изменила ему – он быстро попал в опалу и был лишен «звания» [Там же]. Интересно отметить, что о сходной ситуации с ловким телеграфистом пишет в очерках «Налегке» и М. Твен: «Один девятнадцатилетний юноша, который за сто долларов работал телеграфистом в Вирджинии, разбогател потому лишь, что следил за проходившими через его руки телеграммами с приисков и, соответственно, при посредстве приятеля, проживавшего в Сан-Франциско, то покупал, то продавал акции <...>. Через три месяца у него было сто пятьдесят тысяч долларов...» [Твен, 1959–1961, т. 2, с. 245]. Это сходство можно объяснить как тем, что «очевидец» как образованный человек был знаком с современной западной литературой и прессой, так и тем, что и калифорнийская золотая лихорадка, и желтугинская развивались по общему сценарию, порождая сходные ситуативные моменты и типы, что предопределено психологическими и экономическими причинами. Тот же М. Твен подчеркивает множественность таких случаев: «Другой телеграфист, уволенный компанией за разглашение служебной тайны...» [Там же].

«Болезненность» же, «лихорадочность» желтугинского времени связана с искушением: «одержим», «увлекся». Под влиянием золотой лихорадки прежде «скромная станица Игнашина» из-за суеты, шума и разгула превращается в своеобразный Содом: «Улицы были полны народа, снующего

с гармониями в руках из одного кабака в другой. В кабаках здесь недостатка не было» [Там же, с. 142]. Одержимость проявляется в Желтуге во всем: в гульбе, картах, страстях.

После общего впечатления от Желтуги читатель «Амурской Калифорнии» знакомится с непосредственными впечатлениями автора о поездке из станицы Игнашиной к прииску и о девственной и страшной природе края. Здесь путешественника охватывает безотчетный страх: «Переправляясь через Амур, мне пришлось проехать верст пять лугом, а затем тропинка пошла долиною, поросшей густым лесом, по которому бежала небольшая река: продолжать путь надо было шагом, потому что конь то и дело спотыкался о валежник и пни погоревшего и вырубленного леса или же вязнул в болоте и с трудом вытаскивал свои ноги. Мне привелось в первый раз одному очутиться среди этого девственного, взлелеянного веками, леса, и, правду говоря, меня обуял почему-то страх» [Там же, с. 142–143]. Пораженный и испуганный рассказчик несколько верст едет в «каком-то забытье», «не давая себе отчета в своем предприятии». Однако при встрече с людьми опасения очевидца только усиливаются – от понимания того, что единственный закон в этих местах – «закон сильного». Авантюрная составляющая описания подобных путешествий связана с разгулом преступности в золотоносных районах, куда стихийно стекались разнородные элементы. С другой стороны, литературная традиция, связанная с описанием предшествующих золотых лихорадок и заложенная в американской литературе Брет Гартом его старательскими рассказами, также устанавливает определенный «канон» в описании событий приисковой жизни. Так, в повести «История одного рудника» (1878) Брет Гарта гибель доверчивого и неопытного золотодобытчика Кончо predetermined «законом хитрого и сильного».

«Временной страх» от встречи с людьми в лесу у рассказчика в «Амурской Калифорнии» исчезает, когда он видит (и удивляется этому) «какое-то единение, равенство, которое было так заметно в среде этой разношерстной толпы. Здесь не было различия каторжного от православного гражданина, здесь все смешивалось во что-то общее, нераздельное» [Там же, с. 143]. Эта «коммуна» создается только одним интересом – золотом, поэтому ее пестрота не является чем-то специфическим именно для желтугинской лихорадки.

Затем снова авторские установки меняются – от непосредственных впечатлений он переходит в правовое поле (напомним, что предполагаемый автор очерка – Фассе – юрист по образованию): он описывает формы трудовых отношений в «коммуне» (с помощью «отчасти артельной и отчасти индивидуальной собственности»), условия труда («производить работу со всеми прочими членами наравне»), наличие общей собственности («капитал для покупки жилища, инструментов, коня и прочих принадлежностей вносит каждый поступающий в товарищество на паях поровну» [Там же, с. 152–156], общее трудовое «законодательство», пункты и подпункты, регламентирующие «правила игры» на прииске (например, способы добычи золота).

В этом фрагменте очерка доминирует дискурс уголовных уложений: «Каждый из членов артели, пожелавший по законным причинам не явиться на работу...»; «обладателю предоставляется полное право» и т. п. Не совсем ясно в этом фрагменте авторство этого юридического нарратива: то ли это сведения предоставляет сам «очевидец», то ли он пересказывает сообщенное приехавшим в Желтугу раньше другом, то ли вообще цитирует некий рукописный документ.

Приятель рассказчика, уже познавший особенности желтугинского промысла, по всей видимости смотрит на реаль-

ность «республиканской жизни» уже со скепсисом, а не «со слов», как «очевидец», а потому охлаждает «одержимость» друга, «вселяет страх за будущее», так как его рассказ, по словам автора «Амурской Калифорнии» содержал «мало веселого».

Однако собственные впечатления, полученные наутро по прибытии на золотоносный разрез, были иными по сравнению с возникшими от рассказа друга – взгляду новичка предстает «крайне оригинальная картина». Живые впечатления путешественника-старателя снова перебиваются и заменяются описанием местности с указанием сторон света, точных глубин, топонимов, что больше напоминает географические или этнографические отчеты того времени. Безэмоциональное, по сравнению с впечатлениями от лесной поездки, описание гор, небольших рек, а также уступа с 60-ю зимовьями¹⁴ золотодобытчиков вначале вводит читателя в заблуждение – никакой «оригинальной картины» взгляду не представляется. Удивление у автора вызывают несколько моментов. Во-первых, главный стан – «Орлово поле»¹⁵ [Там же, с. 145] – это название этимологически восходит к игре в орлянку, в которую играли в кабаке, возникшем здесь при самом открытии Амурской

¹⁴ Автор текста (или редактор, готовивший его к публикации) снабжает его небольшими комментирующими вставками, например, этимологическими (история превращения ороченского «Желта» в русскую Желтугу), социоэтнографическими (что такое «зимовье», его устройство и стоимость строительства в данном месте).

¹⁵ Второй топоним этого поселения – улица Миллионная [Амурская Калифорния, 1886, с. 147], возможно, иронично отсылающая к аналогичным топонимам в Российских столицах (во всяком случае в Москве она получила такое название из-за близости Ростокинского акведука, прозванного Миллионным мостом из-за дороговизны [Агеева, 2007]). Повлиять на номинацию улицы могла высокая стоимость всех товаров, но в большей степени то, что рядом с ней «золото тянулось правильной россыпью» (чего не было у Орлова поля), делая это место одним из богатейших.

Калифорнии. Во-вторых, сам золотоносный разрез, видимый с Орлова поля, а точнее, количество работающих там людей, которые «за дальностью расстояния кажутся какой-то движущейся разношерстной лентой». Но еще больше поражает очевидца «тьма» народа на улице Орлова поля и «крик, песни, ругань, пьянки», – все это смешивается перед взглядом новичка и представляет для него картину, «невиданную мною до сего времени» [Там же, с. 145]. Это «смешение» и «столпотворение» – одна из главных черт Желтугинской республики в ее описаниях у различных авторов.

Порция свежих впечатлений снова прерывается сухим отчетом о структуре, устройстве и правилах добычи золота на приисках Желтуги. Но и здесь прорывается частный человеческий голос – одного из тысяч. Так, очевидец, снова возвращаясь к теме везения, не только сообщает, что покупка шурфа не гарантирует счастья, но и с горечью говорит о собственной неудаче: «... мое положение было подобно положению других неудачников» – «нужно было искать новую яму, но не путем покупки, а найдя свободное место». Нужно отметить, что этот юридический дискурс, естественно, отличается от того языка, которым эти законы передавались в очерковой и художественной литературе (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Б. Гарт, М. Твен). Но живое переживание «невезения» в некотором отношении претендует на художественность, отличаясь от подачи материала Гартом и Твеном только модусом. Тема *везения / невезения, счастья / несчастья*, к которой неоднократно прибегает «очевидец» в «Амурской Калифорнии», является неотъемлемой частью произведений различных жанров о золотодобыче хоть в Америке, хоть в Сибири. Так, например, в очерках «Налегке» М. Твен неоднократно обращается к теме везения, «подарка судьбы», понимаемого как положительно, так и иронично. Он приводит истории баснословного обогащения или паде-

ния, например, бедных мексиканцев, владевших участками земли в золотоносном районе (так, один из них, обменявший свой ручеек на сто футов неперспективных залежей компании «Офир», становится вдруг владельцем самой богатой части всей Офирской жилы) [Твен, 1959–1961, т. 2, с. 214]. Сам герой полуавтобиографических очерков становится то «неудачником», то «счастливчиком»: «Подо мной точно качалась земля <...> – дикий хаос противоречивых чувств захлестнул мое сердце и мозг <...> я пустил все сомнения по ветру и заорал громче, чем он. Ибо я стал миллионером...» [Там же, с. 207]. Овладение «фортуной» важно и для доктора Тирвейта Брукса, описание путешествия которого в Калифорнию опубликовано в «Современнике»: «Я надеюсь, что начинаю воздвигать здание своего счастья и благодарю Всевышнего от всего сердца. Во время странствия по свету я получил довольно толчков, но теперь фортуна в моих руках» [Четыре месяца в обществе золотопромышленников..., 1849, с. 75–76].

Описывая мощную и «непрерывную ленту» миграции, он показывает, в какие условия поставлены эти мигранты: по срок человек живут на каждой станции по 3–5 суток, так как почтовых лошадей «за сильною гоньбою, совершенно загнали», так что ямщики не только отказывались возить, но и пользуясь положением брали по 15 рублей. Как часть этой «ленты» и, предположительно, как «президента» Желтугинской республики, «очевидца» волнует не только бедственное положение «трудового мигранта», но и нежелание властей решать эту проблему: в ответ на просьбу как-то решить вопрос с перевозкой на станциях лишь распространили правительственное предписание, которое приказывало всем возвращаться назад под страхом отлова на кордонах (которых не было).

Эти фрагменты позволяют судить о системном взгляде автора на вопросы желтугинской жизни, о знании всех тонко-

стей изнутри (например, описаны способы обхода мигрантами правительственных распоряжений, сложностей и дороговизны перевозки до прииска – покупка лошадей вскладчину, получение подорожных до других, ближайших, населенных пунктов и т. п.). Безусловно, здесь путешественник выходит за пределы литературных «образцов», характеризуя специфику именно желтугинской республики.

Особенный эмоциональный всплеск у рассказчика вызывает появление в Желтуге большого количества «темного люда: беглых карийцев, аферистов, игроков, шулеров и вообще всякого пошиба туристов, пришедших сюда ловить рыбу в мутной воде». Изображение «пестрой толпы», «сброда», «отбросов», упоминание жестокости и насилия, чинимых их представителями – типичный элемент старательских рассказов, дневниковой и очерковой литературы о золотых лихорадках. Например, в дневнике Т. Брукса читаем: «... вероятно они принадлежали какой-нибудь шайке грабителей, состоящих из грязного осадка всех наций, кочующих в ущелье Сьерры-Невады» [Там же, с. 89]. Отмечает это и рассказчик в очерках М. Твена «Налегке»: «А что это было за общество – дикое, своевольное, беспорядочное, чудовищное! Одни мужчины! Целая армия сильных, здоровых мужчин, и кругом ни ребенка, ни женщины!» [Твен, 1959–1961, т. 2, с. 324]. Другой автор, Завитков, освещающий приисковую жизнь в Сибири, также пишет о пестром составе старателей: «Как делаются сибирскими приискателями и откуда они вылезают – трудно сказать. Нет определенного цветника в Сибири, где произрастают эти цветы местного финансового мира. Они являются случайно, часто из сфер и из куч, с которых не подозреваем» [Завитков, 1885, с. 3].

«Желтугинская республика», как и любое другое подобное образование, не только нуждалась в объемах продоволь-

ствия, что привело к росту цен в ближайших краях (например, в Чите), но и имела большой денежно-золотой запас, что и привлекало сюда торговцев, артистов, музыкантов и шулеров, способствовало появлению «инфраструктуры» и «культуры»: гостиниц, кабаков, игорных домов, зверинца, цирковых и оркестровых площадок.

Несмотря на избранную автором ранее «дидактическую» роль – описание бедствий, которые несла желтугинская «лихорадка» для работающего населения, его в то же время несомненно привлекает одно из таких «законных» средств отъема полученных на прииске денег – «маленькое Монте-Карло под названием „Читы“»: «... обширнейшее и не в пример прочим приличное здание» из трех комнат: буфет и оркестр; столовая (цены – “Борель позавидовал бы”¹⁶); «арена, где состязались игроки». Именно последняя комната затмевает все остальное для «очевидца», патетика (или ирония, что не совсем ясно), возможно, выдает в нем игрока или азартного человека: «... игра проводилась на двух столах: на одном царствовал сам „штос“, а на другом – прекрасная рулетка» [Там же, с. 147].

Обусловленные спецификой быта и человеческой средой старательских поселений, попойка, непритязательные развлечения (в русском варианте – зверинец, цирк; в американском – фанданго, коррида и проч.), а также карточная игра и рулетка становятся одним из повторяющихся элементов в текстах дневников, очерков, мемуаров и рассказов о любой «лихорадке». Так, описание игорного пространства автором

¹⁶ Упоминание Бореля – известнейшего ресторатора Санкт-Петербурга – говорит о знакомстве автора со спецификой петербургской великосветской жизни. Ресторан Бореля находился на Большой Морской улице, д. 16, отличался крайней дороговизной и считался одним из самых престижных и «приличных» мест Петербурга. В нем бывали Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, А.П. Чехов и другие деятели науки и искусства.

«Амурской Калифорнии» удивительным образом совпадает во многом с дневником И. Кристмена, «человека 49-го»: «Мы входим в „Эмпайр Салун”. Направо, за длинной стойкой, четверо служителей наливают виски и взвешивают золотой песок, по две щепотки за стаканчик. Дальше, за другим прилавком, стоит сеньорита; возле нее леденцы и громадная ваза с горячим кофе. Отмериваем по четыре щепотки и переходим в другой конец зала, где на специально устроенной галерее оркестр исполняет приятные мелодии. Стены увешаны картинами любовного содержания. Посреди зала стоят восемь или десять столов, заваленных грудями серебряных монет и объемистыми мешочками с золотым песком и окруженных толпою людей. Играют в рулетку, монте и фараон. Позднее, ночью, когда игроками овладевает азарт, увидишь, как на одну карту ставятся тысячные суммы» [Цит. по: Старцев, 1966, с. 17]¹⁷. Сходную картину во время калифорнийской лихорадки рисует и М. Твен: «... в игорных домах среди табачного дыма и ругани теснились бородатые личности всех мастей и национальностей, а на столах возвышались кучки золотого песка, которого хватило бы на бюджет какого-нибудь немецкого княжества <...>. Порядочный золотоискатель выручал со своего участка от ста до тысячи долларов в день и, если ему везло, умудрялся спускать их все до последнего цента в игорных и прочих домах» [Твен, 1959–1961, т. 2, с. 322–324].

В «Амурской Калифорнии» «очевидец», по-видимому, нередко бывал в игорном доме, о чем говорят фразы: «однажды», «мне самому приходилось видеть». Текст не дает возможности предположить, вступал ли он сам в игру, в нем есть лишь фиксация фактов: «... крестьяне проигрывали спокойно суммы в несколько тысяч, на которые они могли бы безбед-

¹⁷ Англоязычная публикация: One Man's Gold. The Letters and Journals of a Forty-niner Enos Christman. New York. 1930.

но вести сельское хозяйство», «... омут разгульной, полной безрассудства жизни», «... забывали все то, что было когда-то дорого и свято». Эта «жатва без посева» сопровождалась, по словам «очевидца», «неумолкающей музыкой» и «вечным пиром». Пиком этой деградации стали два момента. Первый – проявление высшей степени эгоизма: «... здесь каждый знал себя и думал о себе». Второй – когда «отшатнулись от края бездны» самые отпетые – убийство повара каторжных карьерцев. Именно это убийство, пришедшееся на «междувластие» и на раскрытие, которого никто не решался из-за «наэлектризованности» общества (по этой причине тело пролежало шесть дней), стало последней каплей в понимании необходимости порядка. Только после этого «очевидец» говорит о том, что был избран в «президенты» Желтугинской республики. Он умалчивает о том, почему выбор пал именно на него. Однако мотивировка его согласия еще более странная: «... положительно не имел возможности представить им законные причины, на основании которых я мог бы уклониться от этого звания» [Там же, 1886, с. 149]. После «инаугурации» («на другой день депутаты, посланные от команды, явились ко мне с хлебом-солью и поздравлениями») рядовой золотодобытчик приступает к созданию того, что и будет названо потом феноменом народного желтугинского государственного самообразования в этом хаосе – желтугинского государства.

Нужно сказать, что избрание «президента» и создание «законов» не являлось исключительной чертой желтугинской лихорадки: калифорнийские старатели для борьбы с преступностью и пороками организовывали «комитеты бдительности», позже выродившиеся в суды Линча, а также «органом самоуправления и правосудия на первых порах было общее собрание старательского стана или поселка. При разношерстности старателей в каждом поселке находился человек

с юридическими познаниями, и процедура судебного процесса соблюдалась в возможно полной мере, хотя и с гротеском и отклонениями, о которых не раз с юмором повествует Брет Гарт» [Старцев, 1966, с. 15]. В данной ситуации следует, по всей видимости, говорить о том, что желтугинцы (или отдельные представители) были знакомы с историей калифорнийского «государства в государстве», а потому в некотором отношении «подражали» ей. (Об этом, например, свидетельствует тот факт, что Желтуга была поделена на «штаты».) Только подражание это имело свои особенности: например, Калифорния стала первым штатом, объявившем об отмене рабства, Желтуга – первой отделила церковь от государства (отменены обязательные церковные обряды). Безусловно, по большей части знакомство с калифорнийской жизнью старателей у жителей Желтуги было литературным: книги, журналы (или их пересказ образованными членами артелей), но велика вероятность и того, что туда приезжали и те, кто имел старательский опыт и в самой Калифорнии. Однако первый путь представляется более интересным в парадигме отношений «литература – жизнь – литература».

Последующая часть «рассказов очевидца» посвящена описанию проводимых им как «президентом» политики и преобразований: налоговой политики, избранию представителей желтугинцев во власти («совет правления»), обозначением границ «государства» и топографической съемки его местности, организации корреспонденции, лазарета (чего, кстати не было у калифорнийских старателей), решению проблем с торговлей, «внешней политики», законодательным актам. Здесь, кроме описания базарного дня и страшных бедствий беглых китайцев после разгона Желтуги, нет прямых впечатлений о желтугинской жизни, нет травеложного компонента, заслуживает внимания, пожалуй, лишь сам «закон желтугинской

команды вольных промышленников Амурской Калифорнии, написанный в период правления «очевидца».

Второй пример описания Желтугинской республики – очерки Н.Г. Гарина-Михайловского «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» [Гарин-Михайловский, 1957–1958, т. 5, с. 7–391]. Желтугинская республика, описываемая во всех источниках как «демократическая» с точки зрения национальной и социальной пестроты, в очерках Гарина-Михайловского, с одной стороны, изображается так же. Читатель видит смешение национального своеобразия, дифференциация русских и китайцев сглажена, но при выходе за пределы исторического и государственного казуса, различие оказывается очевидным и существенным. Так, при первом упоминании Желтуги капитаном корабля, на котором в августе 1898 года рассказчик и проплывет мимо берегов бывшего Амурского Клондайка, казаки, населяющие русский берег, и китайцы дифференцированы, соответственно, как ленивые, берущие за провод втридорога первые и трудолюбивые, работающие задешево – вторые: «... атаман на пароход: так и так, на каком основании китайцев-пассажиров везете, паспорта у них неисправные» – «штука вся в том, что пассажиры эти взяли за три копейки с пуда выгружать груз. Так вот откажи им, а казакам по пятаку отдай...» [Там же, с. 46–47]. Беспаспортность китайцев не останавливает ни их, ни «работодателей»: «... идут и идут... и нельзя их не брать в работу: кто ж работать будет?». (Такая же «беспаспортность» процветала и в Желтугинской республике.) Низкой стоимостью рабочей силы и ленью казаков объясняется и продуктовая зависимость русских от Маньчжурии – «maid in China» охватывает даже традиционно русский «продукт»: «... мы все из Маньчжурии покупаем: и хлеб, и мясо, и водку». Однако такая ситуация выгодна: при невероятно высоких ценах на все по

сравнению с европейской частью России упование на свое производство привело бы к еще большему росту цен на продукты: «а без них (китайцев¹⁸. – *Е.Г.*) мы досиделись бы до двадцати рублей за пуд говядины, как было во время Желтугинской республики...» [Там же, с. 46]. Это сравнение с ценами в Амурской Калифорнии неслучайно: высокие прибыли здесь, как и в американской Калифорнии, порождали не только большие зарплаты, но и определяли цены на все товары и услуги, кроме того дороговизну объясняет и трудности или контрабандный способ доставки.

Наиболее интересен в отношении этого золоторудного района у Гарина-Михайловского эпизод, когда корабль проплывает косу между Аргунью и Шилкой и казацкое селение Усть-Стрелку, по собственному замечанию писателя, связанного с путешествием И. Гончарова («Фрегат “Паллада”»). Капитан акцентирует внимание путешественников на локусе: «– О Желтуге слышали? – Ну, конечно, – Вот она. – Где? Где?» [Там же, с. 58]. Конечно, никакой «Желтуги» члены экспедиции не могут увидеть, поскольку плывут в этих местах в августе 1898 года, когда «демократическое» и «самопровозглашенное» государство уже не существует – оно разгромле-

¹⁸ Сходное сравнение «белых» и китайцев в пользу последних приводит в очерках о старательской (и не только) жизни и М. Твен: «Как и во всех городах и городках близ побережья Тихого океана, в Вирджинии значительный процент населения составляли китайцы. Они смиренны, миролюбивы, покладисты, трезвого поведения и работают с утра до вечера. Буйный китаец – редкость, ленивый китаец просто не существует в природе. <...>. Китайский квартал отстоит <...> от прочей части города. Основное занятие здешних китайцев – стирка. <...> За дюжину белья платили два с половиной доллара, – белая прачка умерла бы с голоду при такой оплате. <...> Почти вся прислуга, повара и т. д., в Калифорнии и Неваде состояла из китайцев. <...> Китайцы высоко ценятся как прислуга, так как они проворны, послушны, терпеливы, смьшлены и неутомимые работники» [Твен, 1959–1961, т. 2, с. 302–303].

но в 1886 году. Однако дух «золотой лихорадки» еще витает в воздухе, память о обильных газетных и журнальных публикациях свежа – слушатели «жадно поднялись с мест, всматриваясь в китайский берег». Но впечатления от увиденного весьма скудны: «Между двух гор, в незаметном ущелье показались какие-то домики, обнесенные забором. Это и есть устье Албазихи, в которую впадала Желтуга». Само описание численности «граждан», устройства и законов республики дано со слов капитана корабля, бывшего золотоискателя на Желтугинских землях, и не представляет ничего нового по сравнению с публикациями в прессе и других источниках: «двенадцать тысяч жителей»¹⁹, «каждые двадцать человек имели своего выборного, и этот выборный имел своего ближнего начальника...», «во главе стоял выбираемый общим собранием старшина» [Там же] и т. п. Рассказчик, со слов очевидца жизни в Желтуге – капитана корабля, упоминает и о разнообразном составе «республиканцев» (беглые каторжане, студенты, чиновники и др.), и о крупных жалованиях, и о жестоких законах в «республике». Отмечается им и особый «демократизм» государства, а также «законодательство» («Законы Линча – короткие и суровые. За смерть – смерть. За воровство – наказание плетью и вечное изгнание из республики» [Там же]) и органы, обеспечивающие его соблюдение («Содержалась громадная полиция конных маньчжур» [Там же]). Именно эти законы и карательные органы гарантировали, по мнению очеркистов и современных историков, порядок в Желтуге: «Нарытое золото оставляли в незапертой лачужке, и не было случая воровства. Порядок был образцовый» [Там же]). Гарин-Ми-

¹⁹ В других источниках, в частности, в комментариях к этой книге очерков, указываются несколько иные цифры – например, двадцать тысяч человек.

хайловский вскользь упоминает и фигуру основателя Желтуги – «наш интеллигент из судебного мира», очевидно, имея в виду того же Фассе с его юридическим образованием²⁰.

Приводимые рассказчиком в качестве воспоминаний капитана сведения о Желтуге контрастируют с тем, что видит сам рассказчик: его впечатления летние, а для капитана словно бы до сих пор здесь зима: «вот на этом месте, на сером льду, и проходили экзекуции» (Там же, 59), для рассказчика Желтуга растаяла также, как этот лед, отойдя в прошлое, для капитана она все еще живое воспоминание.

Впечатления от местности, где располагалась исчезнувшая республика, двойственные: с одной стороны, бывшая «общая» территория почти не отличается от российской действительности: «... мы вплоть проходили около китайского городка. Он постройками не отличается от наших сел, окон только больше и окна больше, из мелких рам, с массой мелких стекол. Много решетчатых и резных украшений, но редкий дом открыт» [Там же]. С другой стороны, далее, дифференцирующие признаки только увеличиваются: на улицах и в окнах нигде нет женщин, и «русских не видно, а в наших селах китайцев больше иногда, чем русских» [Там же] (знакомая картина современного Приамурья). Разительно отличается впечатление Гарина-Михайловского о китайцах, проживающих на территории бывшей Желтуги, от привычного современному читателю – «маленькие»: «Стоят китайцы: рослые, крупные, уверенные» [Там же]. Эта значительность их фигур словно определена тем, что вся Желтуга отошла Китаю и теперь «золотой китайский берег» придает им значимость

²⁰ Капитан корабля и Гарин-Михайловский могли быть знакомы с «Амурской Калифорнией», опубликованной впервые в 1886 г., то есть за 12 лет до посещения ими этих мест, и с другими сообщениями о Желтуге в прессе.

и статусность, вызывая зависть капитана корабля: «Вся Желтуга в золоте, от самого устья. Теперь китайцы там машины поставили <...> Сколько таких приисков, где русские разыщут золото, а китайцы потом работают. Весь китайский берег золотой, а на нашем ничего нет. Вот долина перешла и на нашу сторону – прямое продолжение, а золота нет» [Там же]. Эта зависть – следствие «золотой лихорадки» – определяет и ответ капитана на вопрос хотел бы он вновь оказаться в подобии желтугинской республики: «обязательно», так как «забыть нельзя».

При этом сам капитан рисуется Михайловским как «житель Сибири, по-американски готовый всегда взяться за дело, которое выгоднее или больше по душе» [Там же]. Но если в данном варианте мы видим слияние русских и американских черт в одном человеке, отсутствие дифференциации русского и китайского топоса на месте бывшей Желтуги, то вообще в очерках о Желтуге гораздо чаще Сибирь, Китай и Америка сравниваются. Так, у самого Гарина-Михайловского при описании истории расправы властей России и Китая с Желтугинской республикой власти Поднебесной оказываются несравнимо более жестокими: «... русские войска папортов не требовали и всех отпустили, а китайцы своим порубили головы (до трехсот жертв)» [Там же, с. 59–60]. При этом собеседники капитана обсуждают поверие китайцев о том, что без своей косы они не попадут в рай, но многие из них, чтобы хоть как-то нивелировать национальные признаки и избежать кары, обрезали их, хотя это и не помогало. Чтобы усилить впечатление от рассказа капитана о расправе китайских властей, рассказчик упоминает и о документальных свидетельствах этих зверств: «... где-то есть фотографии расправы китайских войск со своими подданными: целыми

рядами привязывали их к срубленным деревьям и потом рубили головы»²¹.

В целом Сибирь предстает у Гарина-Михайловского как территория, живущая по «обратным», алогичным законам: «... в Сибири внешний вид мало что скажет, и привыкший к русской традиции в определении по виду людей, сильно ошибется здесь и как раз миллионера золотопромышленника примет за продавца тухлой рыбы, а под скромной личиной чернорабочего пропустит европейски образованного человека» [Там же, с. 64]. Впрочем, подобная ситуация характерна была и для калифорнийцев. Алогичной для путешественника является и крайняя дороговизна жизни в Сибири. И если в Желтуге это объясняется большими прибылями и сложностью доставки товара, то в целом в Сибири («вплоть до Иркутска и Владивостока, на протяжении четырех с половиной тысяч верст вглубь страны»), как пишет Гарин-Михайловский), где действовало порто-франко²², это не имеет никаких разумных объяснений: «тут ли не быть дешевой жизни, а меж тем нет в мире более дорогого уголка» [Там же, с. 61]. Гарин-Михайловский пишет об этом вскользь и обобщая ситуацию – «в Сибири», а в «Амурской Калифорнии» автор проводит сравнение цен в Желтуге с Благовещенском по целому ряду товаров (сухари, мясо, вино, сахар, инструменты) – в «республике» они выше в 2–4 раза. Недаром рассказчик у Гарин-Михайловского, сокрушавшийся, что вез далеко ружье, утешает себя тем, что он сможет его перепродать и окупить путешествие.

²¹ Действительно, капитан прав, такие фотографии существовали в реальности. Один из таких страшных снимков Эмиля Нино (в отличие от других его фотографий, растиражированных в современной периодике и в Интернете) приводится на стр. 141 в статье Т. Кирпиченко в «Иных берегах» [Кирпиченко, 2014, с. 140–145].

²² Беспшлинный провоз (от итал. porto franco – свободный порт).

И, наконец, обратимся к третьему примеру описания Желтугинского образования – «Запискам генерала-еврея» М.В. Грулева [Грулев, 2007].

В мемуарах генерала Грулева, объехавшего по долгу службы не только практически всю Российскую империю, но и совершившего, как и Гарин-Михайловский, кругосветное путешествие, жизнь приискателей и, в частности, история Желтугинской республики излагается в VII главе «Жизнь и служба в Сибири».

Грулев, вслед за автором «Амурской Калифорнии», смотрит на добычу золота как на опасную болезнь, но если живший в Желтуге «очевидец» смотрит на проблему шире, с нескольких точек зрения, то генерал в своей оценке этого рода деятельности однозначен: «... в Сибири нетрудно встретить на каждом шагу и во всевозможных профессиях и слоях общества людей, жестоко наказанных судьбой за добычу презренного металла из недр земли. Эта самая земля – наша общая мать-кормилица – точно мстит человеку, когда он пытается извлекать из неё золото вместо хлеба» [Там же, с. 165]. Грулев приезжает в Забайкалье в 1888 году, когда там «ещё густо носились остатки одуряющего угара, навеянного желтугинским золотом» [Там же]. Однако его отнесение «Желтугинской истории» к 1887 году сомнительно – либо Грулева подводит память, либо, как мы увидим ниже, его рассказ о Желтуге вторичен, поскольку в большинстве источников говорится о 1883–1886 годах: «В 1887 г. разнеслась по Амуру глухая молва о каких-то приисках с баснословным содержанием золота, открытых на китайском берегу Амура, против нашей Игнашинской станицы» [Там же]. Нельзя доверять точности Грулева и в указании численности желтугинцев, поскольку в литературе сведения разнятся: от 3–4 тысяч (Гру-

лев) до 5 тысяч (автор «Амурской Калифорнии») и 11 тысяч (современные исследования).

Грулев отмечает многие вещи, уже знакомые по «Амурской Калифорнии», – социальную пестроту («был даже среди них служитель алтаря»), заброшенные земли и мастерские («бросались дома, семьи, хозяйство»), отсутствие «всякого контроля каких бы то ни было властей» [Там же, с. 166].

Генерал говорит также о ряде законов, сочиненных «в интересах общественной безопасности» и о личном знакомстве с «главным директором» Желтугинской республики: «... как меня уверял главный директор, называвший себя даже президентом Желтугинской республики, на Желтуге водворился образцовый порядок, так как смертные приговоры произносились и приводились в исполнение в течении шести часов» [Там же, с. 166].

Ссылаясь на слова «президента», Грулев объясняет поражение желтугинцев в противостоянии китайским властям: «... не успели ещё обзавестись собственным войском» [Там же] (хотя в «Амурской Калифорнии», например, об этом нет речи).

В целом у Грулева встречаются фрагменты, уже знакомые по первым двум текстам – мучительная казнь китайцев на бревнах с отрубанием голов, «вторая серия» Желтуги, крайнее обеднение золотодобытчиков после разгона. Таким образом, мемуары Грулева, вышедшие в свет довольно поздно – в 1930 году, в части описания Желтуги вторичны: устные рассказы, возможное знакомство с различными публикациями (в том числе, например, с «Амурской Калифорнией» и очерками Гарина-Михайловского) в мемуарах Грулева (менее конкретных в отношении Желтуги) обобщены, совмещены с личными впечатлениями (более позднего характера) и слухами. Так, он, опираясь на устную информацию («в Забайкалье, как и в других золотоносных районах Сибири, приходится часто

слышать» [Там же, с. 167]), объясняет причины возникновения подобных «Желтуг» – неоперативность властей: «... пока власти узнают про это, пока примут меры, да пока ещё проникнут в эти таёжные гнёзда, а там – смотришь – уже организовано своеобразное самоуправление и идёт лихорадочное добывание золота, которое ещё более обогатит богатых, сделав несчастных добывателей ещё более несчастными». Такая стилистика в целом характерна для Грулева, поскольку он в своих мемуарах рисует себя как оппозиционного генерала, критикующего власть, поэтому желтугинский материал интересует его только в той мере, которая позволяет судить уже о приисковой жизни в Сибири в целом, о ее закономерностях и роли властей в этой сфере.

Так, знакомство с организацией и законодательством Желтуги переносится Грулевым на все подобные образования: «По прибытии первых партий выбираются старшина, сотские и десятские, сборщик податей и назначается место для сходов – „орлово поле”. Около этого поля ставятся общественные постройки или балаганы: дом для старшины и десятских, баня, трактир, амбар для товаров и прочее. Одновременно даётся знать о месте прииска доставщикам продуктов и спиртоносам. Везётся на прииск всё, что только может потребоваться: всякая провизия, спирт, ханшин (скверная китайская водка), опиум и непременно карты» [Там же, с. 168]. Помимо сведений, которые он мог почерпнуть от главы Желтуги (об организации бесплатной больницы и скором суде), Грулев сообщает и то, что у двух других авторов мы не встречали: спрашивать паспорт в Желтугах «считается личной обидой», наличие тайного суда, когда за «преступление против товарищей или за донесение начальству суд бывает тайный, и приговор виновному не объявляется: он просто пропадает без вести, где бы он ни был, и разве от него оставят ногу, руку

или другую видную часть тела для назидания другим» [Там же]. Строгость порядков и недопущение в республики женщин порождает у Грулева сравнение Желтуг с Запорожской сечью, хотя, как мы знаем, это было характерно и для Калифорнии²³.

Знаком Грулев и со специфическим сленгом калифорнийцев: «Таёжный кодекс невелик: всего только три статьи, или, вернее, три степени наказания: первая – „на лёд”, т. е. выпороть; вторая „на лёд и вон”, т. е. выпороть и изгнать, и третья – „прикрыть”, т. е. прикончить, убить» [Там же, с. 169].

Военный человек, автор мемуаров, отмечает в среде таёжных хищников «образцовый, поддерживаемый строгой дисциплиной и суровым судом, а – главное – тем, что сами хищники сознают необходимость исключительного порядка при такой исключительной обстановке» [Там же].

Еще одной особенностью грулевского повествования о Желтуге является претензия на художественность²⁴, которая, хотя фрагментарно и появлялась у автора «Амурской Калифорнии», но не педалировалась: «таёжные трущобы», слухи распространяются по «беспроволочному телеграфу», хищни-

²³ О. Курто объясняет это сходство тем, что «из-за тягот и невзгод старательской жизни, отсутствия условий для создания семейного очага» женщины не стремились переезжать в подобные образования, кроме того, «появление на прииске женщин грозило ростом напряженности» в сугубо мужской среде [Курто, Мужской мир, мужские ценности..., с. 68]. Однако отсутствие женщин или ситуации, связанные с их присутствием, становятся одним из элементов старательских рассказов и очерков, посвященных этой теме (например, рассказ Брет Гарта «Счастье Ревущего стана»; очерки «Налегке», глава XVI «Калифорния – Женщина, увиденная впервые после долгого перерыва – Ей-Богу, ребенок» – Сто пятьдесят долларов за поцелуй – В очередь!»). К слову, в Желтуге старательское правило не допускать на прииски женщин было отменено ее «президентом» в первых же «законодательных актах».

²⁴ Чрезмерную патетику и претензию на художественность мы встречаем в уже упомянутом очерке Завиткова [Завитков, 1885, с. 3].

ки (незаконные золотодобытчики) слетаются, как «перелётные птицы», как «таёжные волки» [Там же, с. 167].

Обобщая проанализированный материал, отметим, что три путешественника, побывавшие в районе Желтугинской республики, в целом излагают одну и ту же событийную канву в описании истории Желтуги (разнясь в точности и в полноте), но из-за разных нарративных установок подача материала существенно различается: у автора «Амурской Калифорнии» одновременно живой и фактологически выверенный рассказ; у Гарина-Михайловского эти две линии разделяются – эмоциональный план отдается капитану – бывшему старателю в Желтуге, а изложение (пересказ) событий и фактов – рассказчику, который, как и его спутники, слышит о Калифорнии, однако для него – это прошлое, в отличие от капитана, который все еще живет в ушедшем желтугинском рае; у Грулева, как и у Михайловского, Желтуге уделяется небольшой фрагмент в описании многочисленных переездов. При этом жанровые установки (очерки и мемуары) делают их травелоги разными: у Михайловского – это социальные и географические зарисовки русского и китайского быта, через которые просвечивает история Желтуги; у Грулева – воспоминания о своей военно-политической роли и миссии, месте в общественно-политическом процессе, в истории страны и ее взаимоотношений с соседними государствами, критика властей. Можно сказать, что история Желтуги в целом в двух последних текстах меркнет по сравнению с детальным описанием у «очевидца».

Литература

Агеева Р.А. и др. Имена московских улиц: Топонимический словарь. М.: ОГИ, 2007.

Амурская Калифорния (по рассказам очевидца) // Сибирский сборник. Научно-литературное периодическое издание под ред.

Н.М. Ядринцева. Прил. к газ. «Восточное обозрение». СПб.: Тип. И.И. Скороходова, 1886. Книга I. С. 138–168.

Амурская Калифорния // Сибирские рассказы приискового люда. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича; Вас. Остр., 2 л., 7; 1888 г.
Борисова А. (Чхарташвили Г.) Времена года. М.: АСТ, Астрель, 2011.
Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. М.: ГИХЛ, 1957–1958.
Грулев М.В. Записки генерала-еврея: Кучково поле; Гиперборея; Москва, 2007.

Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли. URL: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4934> (дата обращения: 17.09.2015).

Завитков. В тайге (Очерки приисковой жизни в Сибири) // Литературный сборник. Издание редакции «Восточного обозрения» (Собрание научных и литературных статей о Сибири и Азиатском Востоке) / под ред. Н.М. Ядринцева. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1885. С. 1–59.

Кирпиченко Т. Амурская Калифорния // Иные берега. № 3 (35). 2014. С. 140–145.

Курто О. Амурская Калифорния, или Желтугинская республика. URL: <http://magazeta.com/2010/02/amur-california/> (дата обращения: 07.08.2015).

Курто О.И. Мужской мир, мужские ценности: повседневность мужчин-старателей «Желтугинской республики» 1883–1886 гг. // Женщина в российском обществе. 2011. № 1. С. 66–76.

Курто О.И. Отечественная историческая литература о русском присутствии в Китае // Новая и новейшая история. 2011. № 4. С. 54–67.

Латкин Н.В. На сибирских золотых приисках (из таёжных воспоминаний). СПб.: Типография Высочайше утверждённого Товарищества «Общественная Польза», 1898.

Немцы в России. URL: http://www.rusdeutsch-panorama.ru/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=3669 (дата обращения: 12.09.2015).

Низовцев Н.А. Калифорнийское золото (по мотивам русской дореволюционной печати) // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 3. URL: <http://human.snauka.ru/2012/03/770> (дата обращения: 13.11.2015).

Пикуль В.С. Желтухинская республика // Пикуль В.С. Полное собрание сочинений: В 30 т. М.: Международная ассоциация писателей баталистов и маринистов, 1992–1998. Т. 25. С. 331–342.

Россия спасла мировую денежную систему (о «золотых лихорадках» XIX века) // Уральский рынок металлов. № 5 (июнь). 2011. URL: <http://www.urm.ru/ru/75-journal186-article2015> (дата обращения: 17.01.2016).

Скрипко К.А., Семенова Л.Д., Снакин В.В., Березнер О.С. «Амурская Калифорния» – малоизвестная страница истории добычи золота в Приамурье в фотографиях из архива Музея Землеведения МГУ // История наук о Земле. 2009. Т. 2. № 2. С. 53–77 и др.

Современник. 1848. Т. 12 (11–12).

Современник. 1849. № 2.

Старцев А. Брет Гарт и калифорнийские золотоискатели // Гарт Б. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1966. С. 3–48.

Супоницкая И.М. Русская Сибирь и американский Запад: статья 4-я из цикла «Чем Россия отличается от США?» // История. 2007. 16–31 марта (N 6). С. 7–23. Эл. версия статьи – URL: http://www.liveinternet.ru/users/word_solo/post202048741/http://www.liveinternet.ru/users/word_solo/post202048720/ (дата обращения: 13.02.2016).

Супоницкая И.М. «Фронтир» и «золотая лихорадка»: Американский Запад в произведениях Ф. Брет Гарта и Марка Твена. URL: <http://america-xix.org.ru/library/suponitskaia-frontier/> (дата обращения: 17.09.2015).

Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М.: Госуд. изд-во худ. лит., 1959–1961.

Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В XV т. М.: Гослитиздат, 1939–1953.

Четыре месяца в обществе золотопромышленников Верхней Калифорнии (Дневник путешествия Тирвейта Брукса) // Современник. 1849. Т. 14 (3–4). С. 75–76.

Шачкова В.А. Жанр путешествия в творчестве М. Твена 60–70-х годов XIX века. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2008.

Я-й. Еще об Игнашинской Калифорнии // Восточное обозрение. 1885. № 39 (10 октября). С. 10–12.

E.G. Nikolaeva

Novosibirsk State Pedagogical University

**ZHELTUGA REPUBLIC OR CALIFORNIA
ON THE AMUR IN ESSAYS AND MEMOIRS
OF RUSSIAN TRAVELERS OF THE 19TH CENTURY
(YA-I, N.G. GARIN-MIKHAILOVSKY, M.V. GRULEV)**

Abstract. The article is devoted to the essays and memoirs describing travels to the Zheltuga Republic, an illegitimate independent assembly of Russian and Chinese gold miners on the Chinese side of the border between the Russian Empire and China. We analyze the elements of travelogue describing travelers' impressions on trips to or across the "Amur California" as well as its lifestyle, economic, social, political and legislative features. It is stressed that depicting of the Zheltuga Republic is based on the tradition started by magazin and newspaper articles about gold rush in California and essays and fiction about gold-diggers, particularly the literary works by Mark Twain and Bret Harte. Changing of narration styles in essay "The Amur California" is observed. The same plot base, the repeated sequence of events depicted in the texts about the Zheltuga Republic is shown, as well as the different intentions and approaches in narration.

Keywords: travelogue, travel, gold-digger's story, essay, memoirs, the Zheltuga republic, the Amur California, California, China, gold rush.

Information about the author: Nikolaeva Ekaterina Gennadyevna, Candidate of Philology, Associate professor of the Department of Russian and Foreign Literature and Literature Theory of Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Vilyuiskaya str. 28, NSPU. Tel. (383) 244-03-30. E-mail: nikks@ya.ru).

А.А. Богодерова

Новосибирский педагогический колледж № 2

МАНЬЧЖУРИЯ В РУССКИХ ТРАВЕЛОГАХ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ¹

Аннотация: В статье исследуются особенности документально-художественных произведений, описывающих поездку в Маньчжурию. Рассмотрены характерные для них комплекс тем и мотивов, топосы, особенности наррации, выделен единый топографический сюжет. Повторяющиеся маршруты путешествий по железной дороге получают разное освещение в зависимости от оптимистичных или катастрофических предчувствий авторов. Выявлены четыре периода в развитии маньчжурского травелога, соответствующие стадиям освоения региона.

В произведениях последнего десятилетия XIX в. нет единого маршрута, пребывание в Маньчжурии обусловлено разведывательной экспедицией, геология и топография местности интересуют путешественника в первую очередь. В мирных или опасных встречах с местными жителями Маньчжурия предстает как пустынная дикая земля с шокирующими обычаями.

В травелогах начала XX в. складывается единый маршрут путешествия – поездка по КВЖД. Маньчжурское пространство, до этого слабо структурированное, упорядочивается. Комплекс повторяющихся описаний, рассуждений, идей формирует единый сюжет, проявляющий сходство с сибирским сюжетом русской литературы. Динамика сюжета заключается в перемещении из области «своего» в северной (русской) Маньчжурии, к открытию иной культуры в южной (китайской) части региона.

Путешествия времен Русско-японской войны развивают обозначенный сюжет, дополняя его новыми элементами. Обостряются черты экстремально опасного пространства, рассказ-

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII–XX веков»).

чики стараются найти в окружающем мире черты гармонии, сохранившиеся среди военного хаоса.

Ключевые слова: травелог, путешествие, сюжет, Маньчжурия, Харбин, Мукден, Китайско-Восточная железная дорога, литература рубежа XIX–XX веков.

Сведения об авторе. Богодерова Анна Александровна, кандидат филологических наук, преподаватель литературы Новосибирского педагогического колледжа № 2 (Новосибирск, ул. Линейная, 223. Тел.: (383) 20-30-043. E-mail: bogoderova86@mail.ru).

К концу XIX века в русской литературе путешествий сложился сравнительно устойчивый облик европейских стран, однако принципы изображения стран Азии, как и контакт с ними, еще не были так детально разработаны. Некоторые районы Азии до самой середины XIX века оставались для широкой публики *terra incognita*.

На рубеже XIX–XX веков русскими путешественниками создаются произведения, описывающие поездку именно в такое место – в Маньчжурию. Ряд общих признаков, а именно: комплекс тем и мотивов, топосы, особенности наррации – позволяет выделить единый топографический сюжет.

Маньчжурия – малоизвестный, ментально не освоенный и слабо развитый исторический район Северо-Восточного Китая, место столкновения интересов нескольких цивилизаций (западноевропейские страны, Российская империя, Китай, Япония). На рубеже XIX–XX веков она воспринималась как пустая и малонаселенная, однако очень перспективная территория, на которой можно воплотить самые смелые планы [Аблова, 2004, с. 183–213].

Выделяются четыре периода в развитии маньчжурского травелога в соответствии со стадиями освоения региона:

- начало знакомства во второй половине 1890-х годов;
- активное вторжение в 1900–1904 годы;

- Русско-японская война (1904–1905 годы);
- спад интереса в послевоенное время (позднее 1907 года).

Рассмотрим подробно эти периоды.

Интерес к Дальневосточному региону и Маньчжурии проявляется во второй половине 1890-х годов, с началом строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в рамках дальневосточной политики С.Ю. Витте. Издаются отчеты научных экспедиций, изучивших рельеф, геологическое строение и топографию местности: И.И. Стрельбицкий «Отчет о путешествии по Маньчжурии в 1894 г.» [Стрельбицкий, 1896], «Из Хунчуна в Мукден и обратно по склонам Чанбай-шаньского хребта. Отчёт о семимесячном путешествии по Маньчжурии и Корее в 1895–1896 гг.» [Стрельбицкий, 1897], Э.Э. Анерт «Путешествие по Маньчжурии» [Анерт, 1904]. Маньчжурия открывается русскими путешественниками как экзотичный и опасный район: Н.С. Свягин «По русской и китайской Маньчжурии от Хабаровска до Нингуты. Впечатления и наблюдения» [Свягин, 1897], Н.Г. Гарин-Михайловский «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» [Гарин-Михайловский, 1958]. По способу изображения пространства к ним примыкает и более поздней очерк М. Грулева «Из поездки в Маньчжурию» [Грулев, 1900], отображающий пребывание в Сунгарийском районе.

Все путешественники движутся по труднодоступным районам с разведывательными экспедициями. В отличие от более поздних текстов, здесь нет повторяющихся маршрутов, не описаны те города и места, которые будут привлекать внимание в дальнейшем (КВЖД и Харбин еще не построены). Путешественник погружается в экзотическую, чуждую ему среду, мало зная о китайской культуре и не владея языком (в последующих произведениях путешественника всегда

окружают постоянно живущие здесь русские, он практически не бывает один в незнакомой обстановке).

Травелог Н.С. Свиягина, одного из организаторов строительства КВЖД, содержит описание поездки верхом по Хингану, от одной одиноко стоящей китайской усадьбы до другой. В повествовании много места занимают горные ландшафты, на которые путешественник смотрит глазами строителя. В изображении местных жителей он опирается на собственные впечатления, иногда прибегает к научным работам о регионе. Итог его наблюдений таков: «... мы видим пустынную страну с жалкими зачатками культуры, искусственно насаждаемой китайским правительством» [Свиягин, 1987, с. 87], то есть здесь китайцы – еще одни колонизаторы пустой маньчжурской территории, в то время как в более поздних текстах они скорее играют роль дикого аборигенного населения, как буряты или якуты в Сибири.

В путешествии Н.Г. Гарина-Михайловского, помимо разведывательных целей, есть попытка осмыслить потенциал восточноазиатских стран, Китая, Кореи и Японии. Корея в его изображении «в вечном сне», Китай «пробуждается», Япония – уже «пробудившаяся» страна, в сравнении с которой Россия представляется Н.Г. Гарину-Михайловскому безнадежной и отсталой провинцией. Выводы о скором пробуждении Китая для активной жизни сделаны, однако, не во время поездки по границе с Кореей, а в более восточных и южных районах, где путешественник наблюдает китайскую цивилизацию в ее полном развитии. Маньчжурия же, как и у Н.С. Свиягина, оказывается пустынным полудиким местом, где его жизнь несколько раз подвергается реальной опасности.

Встреча с другой культурой представлена в повторяющихся эпизодах:

А. Обмен визитами с китайскими чиновниками: роскошное китайское застолье, китайские церемонии.

Б. Нападение разбойников-хунхузов, столкновения с золотоискателями.

Кроме того, каждый шаг путешественников сопровождается зачастую шокирующими открытиями подробностей чужого образа жизни: большое число прокаженных и отсутствие всякой их изоляции; непривычные похоронные обычаи; распространение опиума и ханшина; физическая грязь.

Единый сюжет поездки в Маньчжурию складывается в ряде произведений 1900–1904 годов, то есть в промежутке мирной жизни между двумя войнами – восстанием ихэтуаней и Русско-японской войной, когда российская власть придерживается политики активного утверждения на Дальнем Востоке. Маньчжурия в это время – большая строительная площадка, привлекающая рабочих и переселенцев из центральных районов России и Китая, «земля обетованная», о которой, тем не менее, никто не знает ничего определенного. В то же время регион уже имеет репутацию настолько экстремального, что страховые компании отказываются работать в уезжающими туда: «... там вечно бродят огромные шайки хунхузов, постоянно бывают крушения поездов, свирепствуют эпидемии дизентерии, тифа, лихорадки, холеры, чумы – одним словом, там все, что может способствовать сокращению человеческой жизни» [Кравченко, 1904, с. 2].

Произведения, о которых далее пойдет речь, созданы русскими путешественниками – учеными, военными, художниками, оказавшимися на Дальнем Востоке по долгу службы: П.Ю. Шмидт «По Манчжурке» [Шмидт, 1902], А.В. Верещагин «В Китае. Воспоминания и рассказы 1901–1902 гг.» [Верещагин, 1903], Н.И. Кравченко «В Китай! Путевые наброски художника» [Кравченко, 1904], С. Рунич «В Маньчжурии»

[Рунич, 1904]. Маньчжурия сама по себе не является их целью, они проезжает ее по пути в Китай или с Дальнего Востока в Россию. Однако она является основным объектом описания или же ей посвящена значительная часть произведения.

Центр маньчжурского пространства – КВЖД, также называемая Маньчжурской дорогой, проходившая по территории Маньчжурии от Читы до Владивостока и Порт-Артура. Именно движение по этой дороге вызывает комплекс повторяющихся описаний, рассуждений, идей.

Главная дихотомия, намеченная еще в тексте Н.С. Свиגיной, то есть различие русской и китайской, северной и южной Маньчжурии, здесь развита и разнообразно выражена.

Русская Маньчжурия – географически это северная часть КВЖД – территория, на которой привнесенная русская культура доминирует. Связанное с ней главное событие, эмоциональная оценка которого в разных текстах колеблется от бурного восторга до ужаса, от скуки до радостного узнавания – встреча с известным, со «своим». Экзотическая Маньчжурия, формально даже не являющаяся частью Российской Империи, скорее тыл, чем передовая в ее развитии, при рассмотрении оказывается «обычным российским захолустьем» с его непривлекательным пейзажем, плохой административной организацией, злоупотреблениями начальства и ощущением бессилия отдельного человека.

Маньчжурский сюжет проявляет сходство в некоторых аспектах с сибирским сюжетом русской литературы. Как и Сибирь, Дальний Восток в это время – зона освоения, а следовательно, *terra incognita*. У обоих пространств есть признаки фронта: территория притяжения людей авантюрного склада, место чиновничьего произвола; холодная страна «других»; ресурсная кладовая и Эльдorado [Панарина, 2013, с. 42]. Вся проблематика, связанная с этим, сконцентрирована

в маньчжурской пословице: «Месяц не время, сто рублей не деньги, шампанское не вино, китаец не человек» [Кравченко, 1904, с. 12].

Устойчивый облик «русской Маньчжурии» формируется через повторение ряда топосов. Проезжая одни и те же места, путешественники воспроизводят их описания, отдельные элементы которых быстро превращаются в устойчивые формулы.

Первый значимый топос – участок железной дороги от станции Маньчжурия до Хингана. Почти во всех травелогах повторяется изображение местного степного пейзажа, который наводит на путешественников уныние. Подчеркивается пустота, однообразие, бесконечность степи, ее скучный серый вид настраивает на восприятие Маньчжурии как бедной и неуютной страны.

Важная тема, вероятно, общая для «дальневосточных» и «сибирских» произведений – произвол железнодорожников, делающий невозможным путешествие и пребывание здесь. Все путешественники с ужасом описывают перевозку пассажиров в переполненных вагонах для скота, неблагоустроенные станции, медленное движение, необъяснимые остановки в голой степи. В отлучках машинистов для стороннего заработка проявляется обостренная жажда наживы, характерная для фронта. В повествовании этот мотив мошенничества разрастается до пугающих размеров, потому что рассказчик не ограничивается передачей собственного опыта. Непосредственные наблюдения и «зарисовки с натуры» чередуются с рассказами попутчиков о шокирующих случаях. Одни авторы пытаются критически отнестись к окружающим их слухам, другие делают их неотъемлемой частью путешествия, компенсируя отсутствие информации и впечатлений.

Скука и однообразие, на которые жалуются путешественники, обусловлены также отсутствием встречи с чужой куль-

турой. Станции отнесены на большое расстояние от давших им название китайских городов (Цицикар), и даже в посещенных китайских городках местная культура полностью заслоняется и подавляется русской. Во многих текстах повторяется такая деталь, как китайская кумирня, превращенная в русский склад или ресторан.

Следующий топос, попадающий в поле зрения путешественников, – горный хребет Хинган. Здесь путешественников ждет «страшное испытание» – система тупиков, позволяющая поезду условно безопасно спускаться с горы. Замена этого неудобного устройства тоннелем остается в будущем. Мотив крушения поезда неизбежен в маньчжурском сюжете: путешественник или реально попадает в катастрофу, или слушает о ней, или видит следы уже произошедшего крушения. Событие обнаруживает печальную правду об успехах в освоении Дальнего Востока, например, в травелоге Н.И. Кравченко: «Пошли смотреть путь и ... увидели, как строилась Маньчжурская дорога. Все шпалы, сделанные из суходрева – дерева, уже утратившего всякую крепость и вязкость – были разбиты в щепы и на несколько кусков на расстоянии более чем 400 саженьей» [Кравченко, 1904, с. 25]. При недостатке впечатлений коллективная починка поезда превращается в своеобразное развлечение.

Другой устойчивый элемент маньчжурского сюжета – мотив нападения разбойников. Налет хунхузов предсказывается и обсуждается путешественниками, но не происходит, несмотря на все ожидания. Более того, российские реалии вытесняют опасную экзотику, в некоторых произведениях китайцев с успехом заменяют русские солдаты, вставшие на путь разбоя.

Второй значимый топос русской Маньчжурии – город Харбин, построенный русскими практически на пустом месте, Эльдордо и Новый Вавилон, куда стекаются переселенцы

различных национальностей. Эйфория от успехов и перспектив русского строительства лишь отчасти уравнивает весь сложившийся ряд негативных явлений. Грязный недостроенный город отличается неуютной атмосферой. Обман, грабеж, финансовая махинация, взятка – основные двигатели этой жизни, и сама КВЖД предстает одной большой аферой. Как железная дорога строится из негодных шпал, так городское население составляют худшие люди, «вытолкнутые» из европейской части страны, дельцы и авантюристы. Отношение самого путешественника к китайцам варьируется от радостной констатации доминирования русской культуры, русификации китайцев, до стыда за русского шовиниста, эксплуатирующего и унижающего китайцев.

Китайская Маньчжурия, окружающая южную часть КВЖД, является полным антиподом описанной выше северной части. Здесь черты культурной ситуации фронта постепенно вытесняются из повествования. Нужно отметить, что единственный текст, в котором нет этой части, – «По Маньчжурке» П.Ю. Шмидта – сохраняет без изменений принцип изображения китайцев («манзы», униженные и жалкие аборигены в русской провинции). Чем южнее перемещается путешественник, тем заметнее ироничный и уничижительный тон в отношении китайцев сменяется уважительным и доброжелательным. А когда путешественник попадает в Пекин или другой город за пределами Маньчжурии, он оказывается настолько поражен увиденным, что признает необходимость не только просвещать китайцев, но и учиться у них.

Из маньчжурских городов (Гирин, Инкоу и др.) наиболее значимы здесь Мукден и Порт-Артур. При этом Порт-Артур, уже четыре года находящийся под властью Российской Империи, демонстрирует сочетание русских и китайских черт. Развивается ранее заявленный комплекс тем и мотивов; при

всем динамичном развитии и великом будущем город рискует упустить все шансы на лидерство. Но именно здесь, глядя на рикшей, китайские дома и торговлю, путешественники задумываются от национальной специфике Китая.

Мукден уже определяется путешественниками как «китайская Москва», древняя столица, в облике которой русский элемент не имеет особого значения. Именно здесь происходит полноценная встреча с чужим – с непонятной и привлекательной китайской цивилизацией. Это и встречи с разными представителями иной культуры, в основном с китайскими чиновниками и торговцами, и осмотр местных достопримечательностей – древних дворцов, башен, могил, и наблюдения за толпой на улице и на рынке. В противовес ведущей теме скуки и однообразия из «северной» части травелога, в этих текстах возникает поразительное разнообразие и обилие, как на китайском застолье. Если русская Маньчжурия вся еще находится в процессе строительства и все ее блестящее развитие целиком в области возможного будущего, то южная Маньчжурия и китайская цивилизация в целом обращены в прошлое, в древность. Вместе с тем, в еще строящемся новом мире «русской Маньчжурии» уже очевидны причины и признаки его будущего крушения (все описанные выше негативные стороны – не временное, а устойчивое явление), в то время как в консервативной цивилизации Китая обнаруживается достаточно жизнеспособности для вступления в XX век: «Восток – сочетание догнивающего конца с каким-то началом, какой-то зарей той жизни, о которой только может еще мечтать самый смелый идеалист наших дней» [Гарин-Михайловский, 1916, с. 362].

Новый интерес к Маньчжурии возникает в связи с Русско-японской войной (1904–1905 гг.). В целом период оставил множество воспоминаний участников войны, прошедших

один маршрут по КВЖД до Маньчжурии: И.Е. Иванов «Военно-походные впечатления командира роты 1-го Восточно-сибирского стрелкового Его Величества полка» [Иванов, 1907], Н. Воронович «Русско-Японская Война (Воспоминания)» [Воронович, 1952], М.В. Грулёв «В штабах и на полях Дальнего Востока» [Грулёв, 1908], А. Квитка «Дневник забайкальского казачьего офицера» [Квитка, 1908], Е. Павлов «На Дальнем Востоке в 1905 году» [Павлов, 1907]. Но далеко не все воспоминания о войне являются травелогами. В них внимание рассказчика сосредоточено на военных действиях, на выявлении причин неудачных действий русской армии. В них нет открытия для себя нового экзотического мира, все подробности о местном населении и его образе жизни собраны в приложениях и последних главах.

Однако можно выделить ряд травелогов (1904–1905 гг.), описывающих перемещения по Маньчжурии с действующими войсками: Н.Г. Гарин-Михайловский «Дневник во время войны» [Гарин-Михайловский, 1916], В.И. Немирович-Данченко «В Маньчжурии» [Немирович-Данченко, 1907], Н.Э. Гейнце «В действующей армии» [Гейнце, 1904], П.Н. Врангель «По Маньчжурии. Домой» [Врангель, 1906], Л.А. Сулержицкий «Путь» [Сулержицкий, 1906], В.В. Вересаев «На японской войне» [Вересаев, 1961]. В большинстве произведений повторение уже сложившегося маршрута по КВЖД – только часть травелога, далее путешественники или движутся с войсками в различных направлениях или долгое время пребывают в одном топосе.

Еще резче становятся негативные черты пространства. Во время войны увеличиваются до катастрофических масштабов железнодорожная и административная неразбериха, злоупотребления, нехватка ресурсов и достоверной информации. Враждебный человеку климат, жара, дожди и грязь, от

которых невозможно укрыться, антисанитарные условия дополняют картину «ужасного кошмара».

Сохраняется разделение на Северную и Южную Маньчжурию, причем первая окончательно оказывается «проклятой Богом пустыней». Если в довоенных травелогах подчеркивалось блестящее будущее, ожидающее Маньчжурию, теперь этот мотив исчезает из повествования. Прошлое региона также вызывает мало интереса у путешественников. В описаниях пейзажей, просыпающейся весной земли, построек, в поведении китайцев они пытаются уловить вечно повторяющееся, постоянное, не разрушаемое даже военным хаосом. Китайская кумирня, в русских текстах чаще всего заброшенная или разрушенная, здесь оказывается оплотом человечности: у В.И. Немировича-Данченко буддистские монахи в кумирне бескорыстно заботились о раненых русских солдатах, указывая на то, что веры разные, но Бог один [Немирович-Данченко, 1907, с. 16]. В.И. Немирович-Данченко цитирует слова своего собеседника-китайца: «Всё пройдёт, как облака по летнему небу, а Китай останется, как это небо. И ещё тысячи лет простоит непонятный и чужой вам, как и вы непонятны и чужды Китаю» [Немирович-Данченко, 1907, с. 68].

Особняком в этом ряду стоит книга очерков военного корреспондента Николая Гейнце «В действующей армии» [Гейнце, 1904], заметно отличающаяся от рассмотренного выше. В изображении этого автора война оказывается не катастрофой, а победным шествием русской армии по Маньчжурии. Текст Н. Гейнце отражает общественные настроения в начале войны до крупных поражений. Устойчивые элементы маньчжурского сюжета развиваются и здесь, однако истолковываются в шовинистском и «ура-патриотическом» ключе. Российские железнодорожные беспорядки сведены к мелким случайностям, зато нападения хунхузов и враждебность

китайского населения, пусть и не пережитые на собственном опыте, не подвергаются сомнению. Монголоидная раса в целом описана пренебрежительно, а тайное пособничество китайцев японской армии, с точки зрения автора, полностью оправдывает русское мародерство. У северной Маньчжурии, до этого изображаемой преимущественно в виде дикой земли без прошлого, наконец обнаруживается история, однако она начинается только с подавленного при помощи Российской Империи восстания 1900 года. Только русские войска и колонисты приносят порядок и цивилизацию в маньчжурский первобытный хаос.

Отдельного рассмотрения заслуживает сборник «В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов» [В трущобах Маньчжурии..., 1910]. В книге показан процесс сбора картографического и географического материала в малонаселенных районах. В сборнике 21 произведение, 12 из них посвящены путешествиям и пребыванию в Маньчжурии в 1904–1906 годах, во время Русско-японской войны. Данные тексты имеют общие черты с ранними травелогами второй половины 1890-х годов. Здесь также нет устойчиво повторяющихся маршрутов, каждый топограф двигается своей дорогой по незнакомой местности. Хорошо известные локусы (КВЖД, Харбин, Ляоян) не занимают значительного места в повествовании, это лишь отправная точка для путешествия в неисследованную глубину Маньчжурии. Однако есть и существенные различия. Иными становятся сами условия: настороженное отношение и скрытность местного населения, военная угроза. Результат работы топографов – карта, поэтому они не стремятся к детальному словесному описанию, научному отчету о рельефе пройденного участка. Рассказчик по своему усмотрению выбирает картины, которые будет изобра-

жать (наиболее примечательные пейзажи, трудности прохождения, занятные происшествия, портреты спутников и встреченных людей). Формируется круг однотипных действующих лиц:

- повествователь-топограф, возглавляющий отряд и несущий за все ответственность;
- его солдаты, которые нуждаются в постоянном контроле и ободрении и в особо тяжелых условиях устраивают бунт;
- китайские проводники и переводчики;
- китайское население (крестьяне, торговцы, охотники), панически боящееся обеих разоряющих его армий и спасающееся от насилия любыми способами;
- российская администрация, ведущая себя непредсказуемо.

Вся дорога путешественника – череда испытаний, постоянное столкновение с препятствиями, природными или социальными. При этом, как и во многих других маньчжурских текстах, от стараний путешественника на дороге мало что зависит, он обречен на долгое ожидание и бессилие перед непреодолимыми обстоятельствами.

Можно выделить несколько групп произведений по месту действия:

1. Зона боевых действий (под Ляояном): Косматов А. «С оровайцами. Воспоминания топографа о Русско-Японской войне 1904–1905 г.» [Косматов, 1910], Бух В. «Былое. Из воспоминаний военного топографа» [Бух, 1910]. Эти произведения сходны с другими маньчжурскими военными травелогами. В военном хаосе герои переживают мало зависящие от них перемены от несчастья к счастью и наоборот. Повествователь, как правило, находится далеко от противника, наблюдая военные действия со стороны, однако иногда, сам того не понимая, оказывается на опасных участках.

2. Населенные районы (Харбин, Хайчен, Сансин, реки Сунгари и Эррдодзян): Левитский М.Н. «По этапам в Мань-

чжурии» [Левитский, 1910], Алексеев Я. «В Маньчжурии. Заметки 1905 год, съемочные работы» [Алексеев, 1910], Осадчий Е. «В глуши южной Маньчжурии. Из заметок топографа в 1905 г.» [Осадчий, 1910], «Охота по зверю на Большом Хингане» [Осадчий, 1910], «В горах Большого Хингана. Заметки охотника» [Осадчий, 1910]. Поездки совершаются верхом с одного этапа на другой или в лодках по рекам с дальнейшим углублением в непроходимые дебри. В отличие от железнодорожных путешественников из произведений 1900–1904 годов, вынужденных в течение всего пути оставаться пассивными наблюдателями, топографы из сборника с усилиями отвоевывают каждый новый кусок информации или пространства. При этом независимо от выбранного транспортного средства движение оказывается мучительным, медленным, изматывающим. Попытки «европейского» разума победить азиатские неудобства далеко не всегда увенчиваются успехом, иногда обстоятельства вынуждают действовать самым неэффективным и грубым способом. Например, в очерке М.Н. Левитского попытку рассказчика взять поклажу навьюченной на лошадей, то есть более оптимальным способом, пресекаются комендантом («не по уставу»), и он вынужден калечить лошадей поездкой в тяжелой китайской арбе.

В этой группе текстов подчеркивается царящая в военной Маньчжурии атмосфера всеобщего недоверия и опасности. Местные жители изображены беспомощными, раболепными, вынужденными неуклюже лгать для своей безопасности. Впечатление усугубляется языковым барьером. Путешественники навязчиво передают свои диалоги с китайцами, состоящие из жестов и искаженных русских и китайских слов. Комическая примитивность речи явно воспринимается топографами как примитивность мышления собеседника, ритуальное подобострастное поведение принимается за настоящее. Тем

сильнее оказывается разочарование путешественника, когда он понимает, что его успешно обманули. При всей кажущейся примитивности этот мир так и остается для него непонятным, все превращается на ходу одно в другое. Мирное население бывает сложно отличить от разбойников-хунхузов, зато хунхузы внезапно проявляют милосердие к пленникам и даже целым отрядом поступают на службу государству. Запутанным становится и пространство: повествователей намеренно сбивают с пути, искажают названия объектов, они получают бесполезные ориентиры и пользуются недостоверными картами. Более того, каждый, кто находится Маньчжурии, в той или иной мере оказывается мошенником. Даже топографы вынуждены недобросовестно составлять карты, потому что действовать по правилам не позволяют условия, и закрывать глаза на мародерство своих солдат.

3. Безлюдные районы (хребет Чжан-Гуан-Цайлин, реки Таванхэ, Тунанчи, Сунгари): Чудинов Ф. «Последняя спичка. Эскиз» [Чудинов, 1910], Мурашев П. «По Таванхэ. Воспоминание топографа 1906 г.» [Мурашев, 1910], Евсеев А. «В верховьях р. Тунанчи. Эскиз» [Евсеев, 1910], Любицкий А. «Мартиролог Военного Топографа» [Любицкий, 1910]. Топографические отряды по рекам добираются до самых отдаленных закоулков Маньчжурии и остаются практически в полной изоляции в горной тайге. Пространство труднопроходимо и непроницаемо, в нем сложно двигаться и ориентироваться даже профессиональному топографу. Если в предыдущих произведениях оно хотя бы делится на отрезки (станции этапа, расстояния между деревнями, фанзами), то здесь нет и этих ориентиров. Потеря дороги – один из самых частотных мотивов сборника, он возникает на любом этапе путешествия. Любой природный объект (скала, куст, лиана) враждебен, непредсказуем, опасен. Наибольшую угрозу представляет во-

дная стихия (река с ее порогами и разливами, болото, дождь, туман): она портит запасы продуктов, уносит лодку с вещами, топит путешественника и его спутников, заставляет ночевать на холоде в мокрой одежде. Соответственно лучшим союзником человека в этих первобытных условиях является огонь. Например, в произведении Ф. Чудинова «Последняя спичка. Эскиз» [Чудинов, 1910] спасение отряда, заблудившегося ночью в болоте, зависит от того, загорится или нет последняя оставшаяся у них сухая спичка.

В эту группу произведений следует также отнести очерк «Месяц в пустыне» [Л.И., 1910], герои которого проводят съемку местности в отдаленном районе Северной Маньчжурии. Для путешественников по КВЖД эта «проклятая Богом пустыня» – сравнительно краткое путешествие, в отличие от них герои очерка вынуждены выживать там и осваивать местность, не имея для этого элементарных ресурсов (дров и воды). С точки зрения рассказчиков, и горная тайга, чаще служащая местом действия в этом сборнике, и равнина унылы и монотонны, огромное однообразное пространство создает ощущение потерянности. Но если тайга откровенно враждебна в первопроходцам, то голая степь – воплощенное равнодушие мира к человеку. Его попытки изменить что-либо бесполезны (не удастся наполнить водой колодец и др.), ему удастся только выполнить свой долг и завершить карту местности. Топограф с его командой атакован всеми стихиями: сначала он страдает от солнца и степного пожара, потом его попеременно топят ливнем, заметает снегом и сносит ураганом.

Очерк Л.И. – редкое произведение, где повествователь старается компенсировать изоляцию чтением российских газет. Вынужденное бездействие, ощущение бессилия, противопоставление реального пустынного и воображаемого городского пространства создают почву для появления мотива

бегства, частого элемента провинциального текста: «...мне жадно захотелось бросить этот звериный образ жизни, который я теперь веду, и неудержимо потянуло в те отдаленные центры, где жизнь бьет бурливым ключом, где люди живут в культурных условиях, и захотелось жить вместе с ними в тепле и уюте, волноваться, следить вместе со всеми, как жизнь разворачивает свою широкую хартию, и забыть невзгоды и лишения на целых шесть месяцев!» [Л.И., 1910, с. 74]. В прочих произведениях такой «бунт», вопрос о смысле всех пережитых трудностей поднимается только «низшими чинами», и нигде не получает ответа.

После Русско-японской войны русские авторы травелогов все реже обращаются к Маньчжурии. Однако **послевоенные произведения (позднее 1907 года)**, посвященные пребыванию постоянных русских жителей Дальнего Востока в южных маньчжурских городах, все еще создаются: А. Ротштейн «Манчжурские очерки» [Ротштейн, 1907], А. Ивашкевич «У недавних победителей. Риоюн (Порт-Артур), Дайрен (Дальний)» [Ивашкевич, 1912].

В очерках Александра Ротштейна повествователь встает на китайскую точку зрения в описании явлений, до этого в основном остававшихся неясными. Вера китайцев, культ предков и празднование Нового года и другие обычаи представлены «изнутри» как возвышенный ритуал, часть мудрого и гармоничного образа жизни. Вместе с тем, Ротштейн в последующих главах очерка отказывается от идилличности. История ухода китайского бедняка в разбойники вырастает до масштабов трагедии, в изображении опиумного притона появляются декадентские мотивы (освобождение от жизни, безысходная скука).

В очерке Ивашкевича представлена поездка из русского Харбина в уже принадлежащие Японии Порт-Артур и Далянь.

Жизнь региона вне контакта с Россией приобретает идиллические черты. Интересно отметить, что в обоих травелогах в изображении городских улиц часто повторяются характеристики «нарядно и весело», «ярко и чисто», до этого почти не встречавшиеся. Город процветает под властью Японии. Такой повторяющийся элемент, как кумирня, снова фигурирует в повествовании, но теперь китайские и синтоистские святилища находятся в полном порядке, а «мерзость запустения» угрожает русскому православному храму, который все еще поддерживается японскими властями и совершенно забыт русскими. Наполняющие русский травелог ожидания блестящего будущего для Маньчжурии сбываются, но уже вне русского влияния.

Итак, в маньчжурском травелоге на рубеже XIX–XX веков заметно стремление авторов упорядочить противоречивые впечатления с помощью повторяющихся элементов (одни и те же топосы; опасности, которым подвергается путешественник, потеря дороги, крушение поездов и лодок, общие неразбериха, ложь и недоверие). Маньчжурия проявляет признаки фронта: окраина как «земля обетованная», куда стекаются авантюристы и худшие люди из метрополии; надежды на блестящее будущее колонии; новые города – Эльдorado и Вавилон; основа всего – афера и нажива; нападения разбойников. Маньчжурский текст имеет общие элементы с сибирским текстом: бессилие и беспомощность путешественника; негодные дороги, суровая природа – «мертвая степь» и «дикая пустыня»; безответственность чиновников; униженные аборигены, а также и с провинциальным текстом: скука, однообразие, грязь, бегство. Вместе с тем можно выделить и присущие только ему реалии (эпидемии, кумирни, опиум и ханшин, китайские чиновники и церемонии). Путешественники стараются организовать пространство, превратить маньчжурские

трущобы и дебри в прямую магистраль. В покоренной русскими области коренная культура заслонена привнесённой, ускользает от русского путешественника, и вместо экзотики он наблюдает и описывает российскую обыденность в привычных для нее формах.

Динамика сюжета заключается в перемещении из области «своего», знакомого, сохраняющей типологическое сходство с сибирским текстом, к открытию иной культуры. Однако даже при продвижении вглубь Маньчжурии только усиливается ощущение дистанции между русским путешественником и китайской культурой, их взаимной непонятности и чужеродности. То, что остается чуждым проезжему путешественнику, открывается постоянному обитателю в более широких рамках маньчжурского текста.

Литература

Аблова Н.Е. Россия и русские в Маньчжурии в конце XIX – начале XX вв. // Русско-японская война, 1904–1905. Взгляд через столетие: междунар. ист. сб. / под. ред. О.И. Айрепетова. М., 2004. С. 183–213.

Алексеев Я. В Маньчжурии. Заметки 1905 года, съёмочные работы // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 315–339.

Анерт Э.Э. Путешествие по Маньчжурии. СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1904.

Белаш Н.Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 75–89.

Бух В. Былое. Из воспоминаний военного топографа // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 281–315.

В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910.

Вересаев В.В. На японской войне // Вересаев В.В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М.: Изд-во «Правда», 1961.

Верещагин А.В. В Китае. СПб.: Издание В.А. Березовского, 1903.

Воронович Н.В. Русско-японская война. Воспоминания. Нью-Йорк, 1952.

Врангель П.Н. По Маньчжурии. Домой. Путевые заметки // Вестник Европы. 1906. № 8. С. 433–476.

Гарин-Михайловский Н.Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову // Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1958.

Гарин-Михайловский Н.Г. Полн. собр. соч. Н.Г. Гарина: В 8 т. Петроград: Издание товарищества «А.Ф. Маркс», 1916. Т. 6: Дневник во время войны.

Гейнце Н.Э. В действующей армии. СПб.: Типо-литография «Энергия», 1904.

Грулев М.В. Из поездки в Маньчжурию // Исторический вестник. 1900. № 9. С. 945–973.

Грулев М.В. В штабах и на полях Дальнего Востока. Воспоминания офицера Генерального штаба и командира полка о русско-японской войне. Ч. 1–2. СПб., 1908–1909.

Евсеев А. В верховьях р. Тунанчи. Эскиз // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 127–137.

Иванов И.Е. Военно-походные впечатления от Владивостока до Вафангоу и от Вафангоу до Ляояна командира роты 1-го Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества полка. СПб., 1907.

Ивашкевич А. У недавних победителей. Риоюн (Порт-Артур), Дайрен (Дальний) // Исторический Вестник. 1912. Т. 127. № 3. С. 992–1005.

Квитка А. Дневник забайкальского казачьего офицера. СПб.: Издание В.А. Березовского, 1908.

Косматов А. С оровайцами. Воспоминания топографа о Русско-Японской войне 1904–1905 г. // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 413–461.

Кравченко Н.И. В Китай! Путевые наброски художника. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904.

Л.И. Месяц в пустыне // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 49–79.

Левитский М.Н. По этапам в Маньчжурии // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 363–401.

Любицкий А. Мартиролог военного топографа // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 199–229.

Мурашев П. По Таванхэ. Воспоминание топографа 1906 г. // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 71–483.

Немирович-Данченко В.И. В Маньчжурии. Картинки и сценки из войны с Японией. М.: Издание редакции журналов «Юная Россия» и «Педагогический листок», 1907.

Осадчий Е. Охота по зверю на Большом Хингане // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 79–93.

Осадчий Е. В глуши южной Маньчжурии. Из заметок топографа в 1905 г. // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов /

под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 253-281.

Осадчий Е. В горах Большого Хингана. Заметки охотника // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 501–515.

Павлов Е. На Дальнем Востоке в 1905 году. Из наблюдений во время войны с Японией. СПб.: Книгопечатня Шмит, 1907.

Панарина Д.С. Мифы и образы сибирского фронта // Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. № 1. С. 39–52.

Ротштейн А. Манчжурские очерки // Вестник Европы. 1907. Т. 243. Кн. 1. С. 171–194; Т. 244. Кн. 2. С. 469–477.

Рунич С.В. Маньчжурии // Исторический вестник. 1904. Т. 95. № 2. С. 608–632; № 3. С. 952–982; Т. 96. № 4. С. 235–271.

Свиягин Н.С. По русской и китайской Маньчжурии от Хабаровска до Нингуты. Впечатления и наблюдения. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1897.

Стрельбицкий И.И. Из Хунчуна в Мукден и обратно по склонам Чан-бай-шаньского хребта. Отчёт о семимесячном путешествии по Маньчжурии и Корее в 1895–1896 гг. СПб., 1897.

Стрельбицкий И.И. Отчет о путешествии по Маньчжурии в 1894 г. // Русское географическое общество. Приамурский отдел. Записки. Т. 1. Вып. 4. 1896.

Сулержицкий Л.А. Путь // Сборник товарищества «Знание». СПб., 1906. Кн. 9. С. 265–315.

Чудинов Ф. Последняя спичка. Эскиз // В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Сборник очерков, рассказов и воспоминаний военных топографов / под. ред. М.Н. Левитского. Одесса: Типо-лит. Штаба округа, 1910. С. 515–520.

Шмидт П.Ю. По Манчжурке. Путевые наброски // Русское богатство. 1902. № 8. С. 95–133.

A.A. Bogoderova

Novosibirsk Teachers Training College № 2

MANCHURIA IN RUSSIAN TRAVELOGUES AT THE END OF 19TH – THE EARLY 20TH CENTURY

Abstract. The article is devoted to the specificity of the travel literature, describing trips to Manchuria. The topographical plot is formed by the complex of repeated themes and motives, topoi and features of narration. Pessimistic or optimistic authors depict the repeated railway itineraries differently.

There are 4 periods of development of Manchurian text, determined by historical situation.

The texts of the last decade of 19th century do not describe one common itinerary. The travelers arrive to Manchuria with scientific expeditions, with primary interest in geology and topography of the new land. Manchuria is shown as a wild desolate land, and its habitants, dangerous or friendly, keep shocking customs.

The building of Chinese Eastern Railway determines one itinerary for all travelers of the beginning of 20th century. Manchurian space is structured and regulated. The general plot is formed by repeated descriptions of landscape, meditations and ideas and is similar to so-called Siberian text of Russian literature. The traveler moves from the North Manchuria, settled by Russians, to absolutely unknown southern area, the domain of Chinese culture.

The travel literature of 1904-1905th (the Russo-Japanese War) evolves the mentioned plot, adding some new elements. Although the extreme danger of this land is especially emphasized, the narrators try to discover and depict some elements of harmony in the chaos of war.

Keywords: travelogue, travel, plot, Manchuria, Harbin, Shenyang, Chinese Eastern Railway (CER), 1890-1910th.

Information about the author. Bogoderova Anna Aleksandrovna, Candidate of philology, teacher of literature, Novosibirsk Teacher's Training College № 2 (Novosibirsk, Lineinaya street, 223. Tel.: (383) 20-30-043. E-mail: bogoderova86@mail.ru).

Е.К. Созина

*Института истории и археологии Уральского отделения РАН;
г. Екатеринбург*

СЕВЕР В ЛИТЕРАТУРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА¹

Аннотация. Статья посвящена анализу нескольких книг о путешествиях на Север, написанных в 1900-е гг. Автор показывает, что в сравнении с XIX в. в начале XX в. ощутимо меняется поэтика травелогов. В этот же период в русской культуре оформляется своя мифопоэтика и этнотопика Севера, который в литературе зачастую выступает метонимическим замещением всей России, прародителем русской цивилизации. С этих позиций исследуются репрезентативные произведения трех авторов, чьи описания путешествия по Северу России явились в определенном смысле новаторскими. – М.М. Пришвина, К.Ф. Жакова и А.М. Ремизова. Это книги очерков Пришвина «В краю непуганых птиц» (1907) и «За волшебным коlobком» (1908), книга путешествий Жакова «На север, в поисках за Памом Бур-Моргом» (1905); затрагивается также цикл поэм Ремизова «Полунощное солнце» (1903–1905), созданный им по мотивам и на материале мифологии коми, когда автор находился в ссылке в Усть-Сысольске. Несмотря на видимые различия писателей и их произведений, все трое открывают Север как заветную прародину человечества и свою собственную, с чем связана мифологизация края, наиболее явная у Жа-

¹ Исследование выполнено в русле интеграционного проекта УрО – СО РАН Формирование национальных художественных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX – первой половины XX вв. Статья представляет собой дополненный вариант публикации: *Созина Е.К.* Северные нарративы в литературе путешествий начала XX в. // Нарративные традиции славянских литератур: от средневековья к новому времени: сб. статей / Ин-т филологии СО РАН. Новосибирск: Омега Принт, 2014. С. 206–216.

кова и Ремизова и менее заметная у Пришвина. Свое обращение к этнографии народов севера Пришвин мотивирует тем, что в ней воплощается не столько национальная, сколько стихийная общечеловеческая душа. Очевиден выход к символизации северных этнотопов, что стало характерной чертой литературы Серебряного века и всех указанных писателей и что в не меньшей степени характеризует всю литературу нового века.

Ключевые слова: травелог, нарратив, концепт, мифологеми, литература и этнография.

Сведения об авторе. Созина Елена Константиновна, доктор филологических наук, профессор, зав. сект. истории литературы Института истории и археологии Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург 620090, ул. С. Ковалевской, д.16. Тел. (343) 374-53-40, 374-57-22. E-mail: iia-history@mail.ru).

Север vs юг – давняя оппозиция мировой культуры, актуальная для России уже в силу ее немалой географической протяженности. В культуре значение географических концептов не исчерпывается чисто территориальным или географическим понятием сторон света, но имеет множество разнообразных смыслов: аксиологических, антропологических, метафизических. Своеобразная борьба между двумя полюсами человеческого знания, сознания и культуры, вертикалью проходит через всю историю мировой цивилизации и ее литературу. По-видимому, это связано уже с проблемой происхождения человека: откуда он пришел, чтобы заселить всю землю, с севера (легендарная Гиперборея) или все-таки с юга (не менее мифогенная Атлантида, а также библейский Эдем, помещавшийся, как известно, между Тигром и Ефратом). В русской истории и культуре конфронтация севера и юга выражается в противополжении двух истоков древнерусской государственности и социальности: Киев и/или Новгород, в постоянном дискутировании вопроса о призвании варягов

на Русь, в реинтерпретации роли и значения монголо-татарского нашествия (а точнее, его влияния) на Русь и проч. Заостряя проблему, современный историк А.В. Головнёв говорит о взаимодействии и противоборстве в истории России, да и Европы двух евразийских традиций и двух цивилизаций – «нордической» и «ордической», «норд-русской» и «орд-русской», т. е. северной, скандинавско-варяжской, и степной, монголо-тюркской [Головнёв, 2015, с. 167–281]. Однако, несмотря на варварско-татарские, азиатские корни московской власти, как, впрочем, и самой Москвы – города с восточно (азиатски) ориентированным типом архитектуры, образа жизни, быта и т. п., Россия в целом, по крайней мере после строительства С.-Петербурга, стала все чаще отождествляться с Севером. Идентификация такого рода четко прослеживается в отечественной литературе с XVIII века [Лотман, 2005]. Религия варягов, их культура, считал в начале XX века Н. Рерих, «напитали» собой всю Европу, не говоря о Древней Руси [Рерих, 1991, с. 98–99]. «Скандинавский» и «финский» вопросы для России были актуальны не только в связи с выяснением истоков ее государственности и культуры, но и в силу того обстоятельства, что ближайшими соседями русских совсем неподалеку от столицы империи оказались финно-угорские племена, колонизация которых не могла считаться законченной еще и в начале XX века. Русский и «иностранческий» Север становился героем записок путешественников во второй половине XIX века – как здесь не вспомнить многочисленные очерки и книги С.В. Максимова, К.Н. Случевского, Е. Львова, А.П. Энгельгардта и др. Уже исходя из этого можно говорить о геополитической и геокультурной семантике географических концептов и особой важности для России

концепта «север»². Попадая в литературу, концепт неизбежно насыщается мифологическими смыслами и обретает статус мифологемы. Точнее, поле мифа определяет его содержание изначально, и научно-географическое, абстрактно-понятийное значение концептов, указывающих на стороны света, вырастает именно из лона мифа. Согласно закону инверсии и динамической пластичности любой мифологемы, север, подобно соседним с ним геоконцептам, совмещает начала прямо противоположные: это царство холода, вечного льда и, соответственно, смерти, но это и обиталище предков, а значит, хранитель истоков, прародина человеческой цивилизации. По словам Н.М. Терехина, «...В русском умозрении, сохранившем изначально чистоту и полноту архаического мировидения, Север распознается как запредельное инобытийное островное пространство, постижение которого возможно лишь на путях аскезы, опрощения, кенозиса, отречения от пут здешнего, посюстороннего мира. Северный путь пролегает через горизонты мифа о вечном возвращении мира и человека к своим родовым корням и истокам, к своей покинутой прародине» [Терехин, 2004, с. 43]. В этом последнем значении север нередко отождествлялся с востоком или же замещался им. «Северо-восточное направление имеет явное преимущество перед остальными, оно тесно связано с самой судьбой России. Судьба России – на Северо-Востоке» [Лотман, 2005, с. 26]³. В 1928 году оказавшись на Соловках, указанные метафизические смыслы Севера не теоретически, а всей своей судьбой и сердцем ощутил Д.С. Лихачев: «Северо-восток ближе к космосу. Там, в этом углу Европы – Азии, рождается погода, [находятся] метеорологические станции, [происходят]

² См. об этом: [Шадрина, 2010].

³ «...В эзотерическом плане, – пишет О. Шадрина, – Север и Восток смыкаются» [Там же, с. 144].

подвижки льда. Космический холод – форпост человечества. Звезды кажутся ближе, и завесы северных сияний чуть приоткрываются над тайной Создания, чтобы вселить в души людей смертельный холод, пустоту и ужас перед громадностью мироздания» [Лихачев, 1993, с. 21]. Очевидно, что сакральная география, получившая «права гражданства» уже в наше время, рождалась в живом чувстве путешественников, вольных или невольных, по земным просторам, и Север располагал к ее концептуализации, быть может, более всего.

Новое открытие многих регионов мира и Российской империи происходило в эпоху Серебряного века. Как в читательском, так и в писательском сознании вновь актуализируются записки и дневники путешественников. Известность «травеложных» жанров в России обычно связывают с «Письмами русского путешественника» Н.М. Карамзина. В XIX веке произведения этой «неканонической» жанровой ориентации распространяются все шире и помещаются между документальной и художественной литературой. С одной стороны, в них соблюдается реалистическая установка на объективность и жизнеподобие изображаемых картин путешествий, а с другой – как никакие другие жанры они позволяли автору выражать свое личное отношение к происходящему, меняющиеся впечатления от смены картинок во время странствия – все то «мимолетное», по выражению В. Розанова, что обычно в сферу реалистического мимесиса XIX века не попадало. Хотя многое здесь определялось личностью автора и степенью его приверженности литературным конвенциям. В.С. Киссель указывает, что после Карамзина «возникла их (русских травелогов XIX в. – Е.С.) чрезвычайно тесная привязанность к литературным нормам, подчеркнутая литературность, более обращавшая взгляды путешествующих русских писателей на претексты, нежели на реальность посещаемых стран» [Кис-

сель, 2010, с. 16]. Однако это положение применимо далеко не ко всем писателям и произведениям указанного жанра.

С началом XX века травелоги ощутимо меняются: все то, что прежде было за границами жанра и литературы в целом – мимолетность и беглость взгляда, центрированность на «я» повествователя, нескрываемая субъективность описаний, передача их через призму если не личных пристрастий и интересов автора-повествователя, то его философских взглядов и концепций, разорванность сюжета и композиции, полифония жанров и стилей в пределах одного текста и т.д. – становится едва ли не нормой. Процессы эти описаны в науке и замечательно прослеживаются на примере «травеложных» текстов В. Розанова, А. Белого, О. Мандельштама, Н. Гумилева, М. Волошина и др.⁴ Именно в этот период в русской культуре оформляется своя мифопоэтика и этнотопика Севера, уже не связанного с северной столицей (как преимущественно было в поэзии XVIII–XIX вв.). В широком смысле следует говорить о процессе экспликации мифологического потенциала, накопленного XIX веком, и проецировании его из сферы поэзии – хранителя и транслятора универсальных мифологем в новоевропейской литературе – в иные виды и жанры литературного творчества.

Итак, говоря о северных нарративах травелогов начала XX века, мы имеем в виду 1) их принципиальную и нередко концептуальную мифогенность; 2) их частую встроенность в автобиографический дискурс, разновидностью которого они нередко выступают; 3) сохранение ими пограничного характера – между документальной литературой, этнографией и беллетристикой (фикшн и нон-фикшн); 4) возможность ис-

⁴ См. об этом одно из последних изданий: [Беглые взгляды, 2010]. О литературных путешествиях начала XX в., а также оригинальное исследование: [Куликова, 2011].

пользования в них модернистской поэтики, отдельные черты которой были приведены выше; 5) чаще всего неизбежный – в силу специфики времени – выход их авторов к проблемам, связанным с жизнью коренного населения описываемых регионов: либо на уровне встроенных сюжетов, либо на уровне метаповествования – в виде авторских размышлений и иных форм повествовательной рефлексии. Безусловно, принципиально важным является здесь то, с чьей позиции ведется повествование – осуществляется ли акт присвоения особенностей *чужого* этноса, *другого* образа мира, т. е. чужой ли он для автора-рассказчика – или же предстает для него как хорошо забытое *свое*, родное и исконное. С этих позиций репрезентативными являются три автора, выбранные нами.

М.М. Пришвин наблюдает раскрывающийся перед ним «этнографический винегрет» (выражение самого Пришвина [Пришвин, 1984, с. 311]) севера как сторонний наблюдатель, хотя и крайне заинтересованный, в полной мере наделенный способностью участливого внимания. С описания северных путешествий Пришвин начинал свой путь в литературу, это его очерки, изданные в виде отдельных книг, – «В краю непуганых птиц» (1907) и «За волшебным коlobком» (1908). Об их не вполне законченном и, по мысли автора, полулитературном характере свидетельствуют подзаголовки: первое – «Очерки Выговского края», второе – «Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии».

Современник Пришвина **К. Ф. Жаков** менее известен широкому читателю, но он органично вписывается в атмосферу Серебряного века с его синкретизмом художественных интересов, панэстетизмом, движением неорелигиозного сознания и т. д. Жаков получил образование в Петербурге, стал профессором психологии (работал в Психоневрологическом институте), обладал совершенно уникальными, энцикло-

педическими по своему характеру интересами и знаниями и, будучи выходцем из земли коми, сыном простого «резчика Фалалея» (как называл он отца в своих сочинениях), никогда не забывал о своих корнях. Поэтому север для него – «милый», свой, близкий, несмотря на частое употребление расхожей фразы «север далекий». И если Пришвин, описывая свои путешествия по северу, в равной степени обращал внимание и на русских жителей, поморов, и на представителей иных народов, с которыми сталкивала его дорога странствий, то Жаков был сосредоточен исключительно на своем народе и своей земле, он «работал» на пробуждение национальной идентичности родных коми, на репрезентацию народа не только в российской, но и в мировой культуре. С путевыми очерками Пришвина соотносится книга Жакова «На Север, в поисках за Памом Бур-Мортом» (1905), хотя в жанре путешествий или о путешествиях написаны многие его рассказы и очерки.

Наконец, третий художник – А.М. Ремизов – попадает в этот ряд благодаря циклу «Полунощное солнце» (1903–1905), созданному им по мотивам и на материале мифологии коми, когда Ремизов находился в ссылке в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар). Если Пришвин и Жаков писали свои произведения совершенно самостоятельно и в тот период вряд ли знали о существовании друг друга, то между Жаковым и Ремизовым (а также Ремизовым и Пришвиным) наличествует реальный творческий диалог, хотя происходил он на почве иных жанров, не путешествий. В целом же, указанные произведения писателей, выполненные как в жанре травелога, так и в жанре «поэм» (авторское наименование произведений А.М. Ремизова) или «стихотворений в прозе»⁵, обнаруживают

⁵ Согласно исследованию Ю.Б. Орлицкого, поэмы Ремизова – это именно стихотворения в прозе: указанную номинацию ученый рассматривает в аналитическом аспекте [Орлицкий, 2002, с. 220–280].

определенное сходство, свидетельствующее об их мировоззренческой близости, основа которого – близкая система ценностей, связанная, в основном, с главенством в их воззрениях и жизни природного начала. Все трое в большей или меньшей мере причастны к движению неоязычества, распространенному в среде российской художественной интеллигенции того времени. Наиболее ярким и оригинальным художником в этом отношении был, конечно, Ремизов, наиболее оригинальным поэтом-мыслителем – Жаков, хотя собственно к поэтам природы (но отнюдь не к «чистым» язычникам) следует отнести скорее Пришвина, и он же, один из всех, проделал долгий и довольно извилистый путь развития, определяемый как внутренними факторами его личного движения, так и объективными обстоятельствами жизни.

Ссылаясь на других исследователей темы, немецкий ученый В.С. Киссель выделяет два типа путешествий/странствий (осознавая возможность различения путешествия и странствия, мы, тем не менее, рассматриваем их здесь как явления и понятия, близкие по смыслу, но не синонимичные): «...если странничество происходит в закрытом религиозном космосе и направлено к трансцендентальной цели, то путешествия Нового времени ведут в пространство, в принципе мыслимое как открытое» [Киссель, 2010, с. 15]. Он же отмечает, что, к примеру, в поэзии А. Белого сочетаются оба представления, и это в целом было характерно для литературы рубежа веков. В применении к нашим авторам различие проводится достаточно четко: М. Пришвин – это именно нововременный тип «открытого» путешествия, «включения в ландшафт», как сказал бы современный географ В.Л. Каганский [Каганский]; К. Жаков – «закрытое» странствие по типу паломничества, особенно распространенное в эпоху Средневековья и преследующее цели трансцендентального порядка. Цикл поэм

Ремизова также можно рассматривать как своеобразное путешествие, или странствие, «по лесам и полям странной зырянской земли, как странна меднолика белая зырянская ночь» [Ремизов, 2000, с. 600]. Воображаемое странствие писателя будет относиться скорее к первому, средневековому, типу, поскольку автора более всего интересуют тайный лик окружающего мира, сокровенный мир зырянской мифологии. Однако свои перекрестья и нарушения правил наблюдаются и здесь.

При создании первой книги «В краю непуганых птиц» Пришвин поначалу ориентировался на обычные для XIX века образцы этнографических очерков и в первую поездку по северу отправился как этнограф и фольклорист – «для записей былин по примеру Ончукова» [Пришвин, 1984, с. 406]. Действительно, эта книга Пришвина более всего напоминает книги путешествий писателей XIX века – скажем, «Год на Севере» С.В. Максимова или «Лесное царство» П.В. Засодимского. Но есть коренное различие – избирательность, произвольность рассказа, который подчиняется логике странствий путешественника и его личному выбору «объектов» описания, а не следует жестко принятой его предшественниками, а зачастую и современниками схеме квазинаучного этнографического нарратива, согласно которой последовательно описывались география, история того или иного места и проживающего там народа, природные условия, «жизнь-бытие: жильё, одежда, пища», «выдающиеся черты народного характера» [Засодимский, 1983, с. 120], род занятий и т. д. У Пришвина иначе: «Но все-таки эти карельские камни, славянские песни о соловьях, которых здесь никто не слышал, *и моя собственная, единственная в своем роде, неповторимая короткая жизнь*: ведь только вспышкой моей живой жизни освещались эти финские скалы и славянские былины!» (курсив наш. – Е. С.) [Пришвин, 1984, с. 407]. Авторефлексия отличает текст и самих очерков.

Личное отношение автора выразилось в названии книг. Смысл заглавия первой раскрывается в диалоге автогероя со своим проводником и спутником Мануйлой, воссозданном в главке «На угоре (Вместо предисловия)»:

– В наших краях много такой птицы, что и вовсе человека не знает. – Непуганая птица? – НетрАщенная, много такой птицы, есть такая [Там же, с. 4].

Затем, во «Вступлении», рассказчик поясняет, что он стремился попасть в «край непуганых птиц» как в место, не тронутое цивилизацией, и это стремление можно рассматривать в качестве важнейшего в жизни современного человека, горожанина, лишённого общения с природой. Вначале он и сам руководствуется восприятием среднего петербуржца, словно бы исподволь раскрывая перед читателем-зрителем картины внешнего мира и сопровождая их своим комментарием с понятными всем ассоциациями (например, с деятельностью Петра Великого), попутно рассказывая то о развитии речного транспорта, то о местной топонимике и т. д. Но чем дальше в глубь края продвигается рассказчик, тем прицельнее и заинтересованнее становится его письмо, он обдумывает увиденное, изыскивает закономерности в жизни населения Выговского края – исторические, климатические, природные. Едва ли не сразу автор-повествователь приходит к мысли о том, что именно и только на Севере сохранились «остатки чистой, не испорченной рабством народной души» [Там же, с. 34]. Немало страниц книги посвящено рассказу о старообрядцах, истории Выговской пустыни, благодаря чему, собственно, и получили известность очерки Пришвина. Распространение раскола на севере автор объясняет суровыми природными условиями, а также личностью православного

батюшки, назначенного в приход. Как известно, религиозные поиски и народа, и интеллигенции были частым предметом изображения в литературе 1900-х гг., особенно те, что выходили за грань традиционного вероучения. Но для Пришвина нет особой разницы между расколом и православием. Показывая две церкви, расположенные по соседству, – беспоповскую моленную и православную церковь, он замечает:

В одной церкви давит какое-то непосильное окаменение духа, в другой скучно, обыкновенно [Там же, с. 105].

Проявляя вполне рациональный, даже научный склад ума, само существование двух церквей он расценивает как выражение страшной «трагедии духа русского народа». Н.А. Дворцова объясняет скептическое отношение Пришвина к таинствам христианства влиянием В.В. Розанова, особенно сильным во второй книге писателя (см., напр., описание Соловецкого монастыря) [Дворцова, 1995, с. 64–68]. Но, скорее, это связано с доминантой этнографического и антропологического взгляда в книгах Пришвина, и лишь во второй научный объективизм рассказчика начинает вытесняться поэзией народного слова и мира.

Уже в первой книге Пришвина проявляется скрытый символизм авторского письма (писатель был близок к символизму, хотя З.Я. Холодова, автор ряда книг о его творчестве, предпочитает говорить о «реалистической символике» Пришвина [Холодова, 2000, с. 108 и др.]). Таков имеющий корни еще в XIX веке, но выраженный совершенно по-новому символ «человечество как один человек», раскрываемый на последних страницах книги, и образ-символ «полунощного солнца», из первой книги Пришвина мигрирующий во вторую. В очерках о «стране непуганых птиц» этот образ дан лишь во

вступительной главке, возможно (если судить по стилю), написанной автором позже основного текста:

Снится страна непуганых птиц. Полуночное солнце – красное, устало, не блестит, но светит, белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрятся в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко сверкает серебристое крыло... [Там же, с. 4].

Импрессионизм письма резко выделяет фрагмент из всей книги Пришвина. Принципиальная инаковость облика мира в призрачном свете белой ночи передается в нарративе через фрагментарность картины, оконтуренность рисунка, доминанту цвета в его контрастности, ахромности и подчеркнутым отсутствием в нем дневной полнокрасочной гаммы, а главное – через лирическую эмоцию наблюдателя. Пришвин пишет картину графикой, выражая ее в слове и тексте. Этот принцип изображения поразительной для чужака картины ночного севера он сохранит и во второй книге. Отметим, однако, что не только Пришвин, но и другие северные путешественники наблюдали парадоксальную неподвижность «ночного солнца» и озаряемого им мира. Журналист Е. Львов, в конце XIX века путешествовавший по Крайнему Северу и не отличавшийся особой художественностью письма, передавал свои, по-видимому, сходные с пришвинскими, впечатления:

Теперь вот первый час ночи; до полуночи солнце спускалось к горизонту, а сейчас, не доходя до небосклона, как бы остановилось и висит неподвижно над скалами. Так же недвижимо, как на декорациях. <...> вам невольно кажется, что вы в сказочном царстве, так все грандиозно и в то же время неподвижно, беззвучно и мертво: и солнце, и воды, и скалы, и воздух, по которому скользят как тени гагары, чистики, чайки... [Львов, 1895, с. 154].

Ожидание встречи с полунощным солнцем становится в книге Пришвина центральным мотивом. Призрачный, словно бы ненастоящий цвет и свет белых ночей ставит под сомнение все, что окружает путешественника, заставляя сомневаться в казавшихся прежде незыблемыми вещах физического мира. Белые ночи чрезвычайно «идут» к природе севера – к его пустынности, тишине, сокрытости. Пожалуй, именно сема сокрытости, невыявленности вовне глубокого внутреннего содержания (а в том, что оно есть, пришвинский рассказчик убежден) определяет жизнь севера.

Но вот он (проводник. – *Е.С.*) ушел, и вместо него начинает говорить и это пустынное, безлюдное место. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малейшего шелеста, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки что-то говорит... Пустыня говорит... [Там же, с. 216].

Не понимая языка пустыни, пришвинский герой-рассказчик вынужден наполнять мир теми смыслами, которые возникают в его собственном сознании, он испытывает и передает неожиданные, совершенно новые и, казалось бы, противоречивые ощущения:

Хорошо и больно. Хорошо, потому что в этой тишине ожидаешь такую светлую, чистую правду. И больно, потому что внезапно из далекого прошлого выбегают серенькие мысли, как маленькие хвостатые зверьки [Там же, с. 216].

Далее рассказчик продолжает:

Эта северная природа потому и волнует, потому так и тоскует, что в ней глубокая старость, почти смерть вплотную стоит к зеленой юности, перешептывается с ней. И одно не бежит от другого [Там же, с. 216].

Исчезновение границ между привычными реалиями жизни, погружение в белую, сияющую тишину севера меняет само существо человека. Мир начинает проникать в его сознание и тело, образуется единый «субстрат», единая живая «среда»:

От всего этого во мне как будто натягивается струна, выше и выше, и вот уже нет звуков: ноги и тело, вероятно, сами идут, но сам я где-то порхаю. Каждую частицу себя ощущаю, но сам не знаю – где. Поймать бы, уловить, описать это разбросанное в лесу существо человека. Но это невозможно [Там же, с. 217].

Изменение восприятия мира подготавливает и самого героя, и читателя к встрече с лапландцами, или лопарями, за которыми в этнографической литературе того времени закрепились слава едва ли не самых забитых и неспособных к культуре «инородцев», но которые у Пришвина несут на себе след родной им приполярной призрачной ночи, всего этого загадочного, непрочитанного края и поражают его многим.

Казалось бы, в Лапландии рассказчик способен обрести свою «родину», поиском которой вдохновлено все его путешествие:

Я желал бы напомнить о той стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежим... [Там же, с. 142]

– так говорит автор-повествователь в предисловии о цели своей книги. «Страну без имени, без территории» он готов признать всюду, где его душа освобождается от пут цивилизации, обретает свободу, а окружающий мир предстает исполнившейся сказкой. Как пишет об этом Н.П. Дворцова, народный мир в первых книгах Пришвина увиден глазами возвращающегося «к себе первоначальному интеллигенту»

[Дворцова, 1998, с. 142]. Отсюда рождается хронотоп волшебного колобка, который ведет странника за собой по особому пути. Однако стать полноценным героем сказки, былины, духовного стиха у него не получается, как не получается и понять высокий смысл обетов странников, рядом с которыми он порой путешествует: для этого, думает он, нужно было бы стать иностранцем и суметь «взглянуть на них со стороны» [Там же, с. 173]. И письмо, и чувство рассказчика словно балансируют на грани между рассудком и фантазией, доверием к сказочному народному миру и здравым сомнением городского интеллигента.

Пик новых, неожиданных ощущений рассказчика приходится на долгожданную встречу с полуночным солнцем, когда он с лопарями путешествует через Хибинские горы. Затухают лучи красного гаснущего солнца, и с ними останавливается мир, само время, которого не знают и не отслеживают лопари. Текст становится рваным, движется натужно, имитируя работу пораженного болью или сильным аффектом сердца. С остановившимся временем словно останавливается, немеет и восприятие рассказчика, который пристально вглядывается в заколдованный, остановленный миг чистого бытия мира. Сознание его словно раздваивается: погружаясь в довременное состояние, он отслеживает толчки сердца и регистрирует заливающий все кругом красный свет потухшего солнца:

Будто разумная часть моего существа заснула и осталась только та, которая может свободно переноситься в пространства, в довременное бытие. <...> Это не сон, это блуждание освобожденного духа при красном, как кровь, полуночном солнце. <...> Солнце давно погасло, давно я не считаю времени. Везде: на озере, на небе, на горах, на стволе ружья, – разлита красная кровь. Черные камни и кровь.

Вот если бы нашелся теперь гигантский человек, который восстал бы, зажег пустыню по-новому, по-своему. Но мы сидим, слабые, ничтожные комочки, у подножия скал. <...> Нельзя записать, нельзя уловить эти блуждания духа при остановившемся солнце. Мы слабые люди, мы ждем и просим, чтобы засверкал нам луч, чтобы избавил нас от этих минут прозрения [Там же, с. 246–247].

Затем, по мере дальнейшего путешествия к океану, яркое свечение солнца в полночь станет почти привычным, но нельзя привыкнуть к остановившемуся времени, хотя и это поразительное ощущение пытается «обжить» и сделать своим, извлечь из него нужный смысл человеческого сознание:

Ночь или день? Забываешь числа месяца, исчезает время...

И так вдруг на минуту станет радостно от этого сознания, что вот можно жить без прошлого и что-то большое начать. Но ничего не начинается, пустыня покоится, и мертвый глаз вечно стоит над горизонтом, зорко следит, как бы кто-нибудь из мертвых здесь не восстал [Там же, с. 249].

При встрече с непривычным и странным в природе или среди людей рассказчик Пришвина стремится понять свои ощущения, разьять их на части и прокомментировать, пусть даже сам комментарий имеет художественный, образный характер. Иной характер носит письмо А.М. Ремизова в цикле «Полунощное солнце». Само название цикла позволяет сближать его с книгой Пришвина, написанной чуть позже⁶. В третьей части цикла поэм Ремизова, давшей название всему ци-

⁶ Еще с того времени идет история о «плагиате» Ремизова, «перепи-савшем» сказки, записанные Пришвиным и опубликованные в сборнике Н. Е. Ончукова. См. об этом: [Дворцова, 1995, с. 93–107]. Здесь же дан глубокий анализ творческих взаимоотношений двух писателей.

клу, – «В царстве полунощного солнца» – северной ночи при свете замершего солнца посвящены первые шесть миниатюр. Все они выражают разные облики мира в череде изменений, рождаемых разными временами года, разными настроениями лирического героя. Здесь не столько рефлексия, сколько констатация состояний души, отзывчивой на пограничность природных явлений, однако общее течение самой белой ночи, ощущение остановки времени и настроение безотчетной тревоги, а порой и тоски, возникающее в ответ на природные аномалии, передается у Ремизова не менее ярко, чем у Пришвина. Меняется лишь доминанта цвета: тревожный красный свет незаходящего полуночного солнца Пришвина – и зеленоватый, путающий очертания предметов и вещей свет ночи в описании Ремизова:

Зеленоватая ночь, туманная, в колеблющихся тучах.

Не слышно ни звуков, ни голоса. Но все живет, заваянное зеленоватым светом.

И кажется, пройдут века, и ничто не шелохнется, никто не подаст голоса.

Бесшумно поднимаются мысли, идут и замирают, сливаясь с зеленоватым светом.

И то, чего минуту так сильно желал, отступает.

С отчаянием я вызываю пережитое. Но все замолкло и прячется.

Прямо через окно идет зеленоватый свет, идет и проникает в душу.

Не смерть, нет смерти в этой ночи, есть своя странная жизнь.

Уж не такая ли вечная жизнь?

Медленно впитывается зеленоватый свет, медленно обволакивает душу [Ремизов, 2000, с. 100].

По-видимому, необычность и острота этих переживаний заставляли помнить их долго, и человек, однажды испытал

их, вновь и вновь стремился пережить и понять себя в объятиях белой ночи. Не в этом ли причина притягательности севера для однажды побывавших в «царстве полуночного солнца»?.. Но если красный цвет полуночного солнца, как замечает Н.П. Дворцова, связан с темой преобразования, важной для Пришвина, то зеленоватый цвет ночи у Ремизова – это цвет двоящихся зырянских божеств, Ёна и Омеля, цвет призрачного, «застывшего в печали и боли мира радости-страдания» [Дворцова, 1995, с. 104].

Оставив позади красное солнце лопарей, зажженное «лампадой» «над мертвой пустыней», рассказчик Пришвина словно спускается на землю:

Хочется простых ощущений, общения с обыкновенными и свободными людьми [Там же, с. 249].

Дальнейший его путь, описанный во второй части книги, проходит «к варягам»: из Архангельска он плывет в Мурманск, выходит на лов с поморами, неделю живет в промысловом становище, наконец, отправляется в Норвегию. Наблюдая новый для него мир, рассказчик постоянно стремится протянуть нить в детство, в прошлые, пусть чужие жизни, т. е. оживить память и обрести связь с тем гигантским человеческим существом, которое он воображал себе то на Невском проспекте, связывая его с северными водопадами, то в ущелье Хибинских гор, где ожидал возрождения солнца. Н.П. Дворцова называет его «коллективным героем» Пришвина [Дворцова, 1998, с. 143]; через него автогерой и рассказчик писателя стремится понять и лично обрести живую целостность мира. Путь к целостности открывается для героя Пришвина не только через созерцание природы и ее – в себе, но и через заинтересованное, соучастное наблюдение человеческого сообщества.

В Мурманске, погружаясь на пароход, рассказчик видит вокруг себя великое разнообразие иноплеменных лиц и типов:

Тут есть норвежцы с благородными германскими лицами, есть несколько зырян – великанов в самоедских костюмах, красивых, но плутоватых, есть русские поморы и смесь из финских племен, лопарей, финнов, карелов, всех этих прозябающих на Крайнем Севере некрасивых племен; многие из финляндцев и лопарей совсем маленькие, квадратные, с крючковатыми носами, на низких кривых ногах. Во всей этой этнографической смеси даже красивый национальный тип обесцвечивается, для него нет фона.

Ни Россия, ни Норвегия...

– Чушь! (чудь), – определяет одним словом мой знакомый помор этот этнографический винегрет [Там же, с. 311].

После дикой жизни среди «детей природы» культура и Европа кажутся особенно привлекательными, и рассказчик постоянно сравнивает Россию и Норвегию, русских и обитателей новых мест. «Там стихия, здесь история» [Там же, с. 318], – заключает он, попадая в небольшое норвежское селение, сверкающее чистотой и порядком. Недаром поморы, регулярно посещающие чужой берег, упорно тянутся за Норвегией («не от России дышим» [Там же, с. 313]), хотя сами чаще всего не способны устроить жизнь по западному образцу. Нордкап, северный мыс Норвегии, для русских поморов – «пустая земля, черный камень», для норвежцев, мнением которых проникается рассказчик, «это символ ума и воли» [Там же, с. 330].

Все сопоставления национальных характеров и образов жизни пришвинский путешественник делает не в пользу соотечественников:

Ах, эти хитрые русские глаза, этот взгляд искоса, проникновенный, обидный, унижительный. Этот взгляд видит в каждом новом человеке непременно жулика. Никогда в жизни я не понимал так ясно противоположности германцев и славян. Эти доверчивые, открытые голубые глаза германцев и эти хитренькие славянские глаза [Там же, с. 335–336].

«На одной стороне – рассудок, на другой – вера» [Там же, с. 339], – говорит он, наблюдая поморскую лоцию, где морская карта перемежается строками из Священного писания. Россия – заграница, стихия – история, хаос – преобразование и творчество жизни, славянская чувствительность и хитреца – германские ум и воля – эти антиномии проходят через весь рассказ пришвинского путешественника о норвежских впечатлениях. Наконец, возникает оппозиция «север – юг». Оказывается, что «жизнь на севере Норвегии совершается за счет юга», и «никакая самостоятельная культура на Крайнем Севере невозможна» [Там же, с. 343]. Этим объясняется вырождение северных людей: «... и потому так часто рядом с гагантами-поморами встречаются мелкие, худосочные людишки» [Там же, с. 343].

Прощаясь с Норвегией, рассказчик наблюдает чудесное явление – туман спадает с гор, открывая одну вершину за другой:

Казалось, что в глубину фиорда медленно удалялась гигантская фигура, закутанная в белый туман. И право же, я видел на снегу от вершины к вершине следы ног...

Кто-то ступал и закрывался, а за ним оставалось в небесах светлое утро творения мира [Там же, с. 345].

Образ гигантского человека, воплощающего все человечество, собравшего в себе его разум и волю и упрямо движущегося вперед, замыкает книгу странствий Пришвина по Северу.

Она оказывается эстетически завершена, художественный модус очевидно торжествует над документальностью письма.

Пролагая северные маршруты, писатель создает свою мифологию Севера, центральным образом-символом которой становится образ полнощного солнца. Вокруг солнца вращаются, от него зависят не только цивилизации юга, но и культуры северных народов, а в еще большей степени – сама их жизнь, историческая и природная судьба, этноантропологическая характеристика. Пришвин проблематизирует эти различия, заостряет их благодаря своей наблюдательности и в немалой степени личной ангажированности (ведь от славянской хитрецы и норвежской порядочности во многом зависит успешность его путешествия по северу). Его познавательный настрой и открытость взгляда, отсутствие предзаданности в маршруте (тип новоевропейского травелога) сочетаются с хронотопом сказочного пути по кругу – за колобком, ведущим в детство, пути, стилизованного под фольклорное творчество, которое собирает и записывает путешественник, стремясь одновременно и быть внутри северного мира, и видеть и оценивать его снаружи, с позиции исследователя-этнографа.

Иной и вместе с тем в чем-то схожий характер имеет путь автогероя Жакова в его книге «На Север, в поисках за Памом Бур-Мортом». Жаковский герой преследует конкретную цель – найти следы пребывания на севере Пама Бур-Морта, сына легендарного Пансотника, который когда-то был побежден Стефаном Пермским, а с ним вместе пала и старая вера зырян в своих богов⁷. Согласно легенде, Пам Бур-Морт отправился в южные края за новой верой, вернулся седым старцем и жил в дремучей парме, поучая людей. Для народа коми оба

⁷ Об исторической основе этого легендарного сюжета, а также о его отражениях в фольклоре и литературе (русской и коми) см.: [Лимеров, 2008].

эти имени чрезвычайно важны, они знаменуют кардинальные перемены в жизни людей, наступившие после поражения Пансотника: утрату народом не только исконной религии, но и политической, культурной независимости. В предисловии к книге автор-рассказчик говорит:

Желая хоть что-нибудь узнать об этом легендарном человеке, я кочевал по северу из села в село, из деревни в деревню, я поднимался вверх по рекам и вниз спускался к устью их, пересекая дремучие леса и слушая звонкие ручьи, текущие с песчаных холмов меж красных сосен в темные ложбины [Жаков, 1905, с. I].

Отчасти его путешествие движимо этнографическими задачами – как и у Пришвина: П.Ф. Лимеров указывает, что сам Жаков в 1899 году путешествовал на юг Коми края именно с этнографическими целями [Лимеров, 2013]. Но путешествие рассказчика и автогероя книги Жакова не ограничивается этим, а решает массу других, не менее значимых для автора задач. По сути, он движим идеей возвращения на родину, в страну своего детства, у которой есть и имя, есть и территория, и хотя в процессе этого путешествия-странствия страна детства оказывается совсем не той, которую он видел внутри себя, он заново открывает край своих предков и совершает главное движение – к самому себе. Этапами пути героя становятся деревни, с которыми были связаны его детство или юность, и названия деревень дают названия главам. Таким образом, маршрут странствий определяет композицию книги, но главная его цель и основной результат остаются неназванными, лишь угадываемыми читателем – как это было, скажем, в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Путь героя Жакова сродни средневековому паломничеству или хождению, об этом писала В.А. Лимерова, и, как доказала иссле-

довательница, север для героя-рассказчика Жакова выступает в качестве «не только географического, но и духовного отечества» [Лимерова, 2005, с. 16]. По ее замечанию, «локализуя действие на территории конкретных, реально существующих селений, он (герой-рассказчик книги. – Е. С.) ни разу не называет их коми или зырянскими» [Лимерова, 2005, с. 11], нерусскость земли, по которой он путешествует, обозначается лишь коми топонимами, страна же в целом выступает как «милый», «далекий» и «холодный» север. Замечание справедливое, свидетельствующее как о концептуальной важности именно северного пространства в семантике и семиотике путешествия жаковского автогероя, так и о естественности репрезентации «инородцем» своей родины в российской литературе. Русский путешественник акцентирует свое пребывание в ином этническом окружении, так делал Пришвин – для автора же коми это свои, родные места, поэтому подчеркивать их идентичность для него нет нужды.

Страна детства, найти которую так стремился жаковский рассказчик, как это всегда бывает, существует лишь в его сердце. Он спорадически переживает разочарования, поражается изменениям деревень и их обитателей (которые чаще всего происходят не к лучшему), но упорно движется дальше. Одна природа остается пока прежней, исполненной глубоких внутренних смыслов, и антитеза «человек – природа» проходит через все повествование Жакова.

Суровая действительность в виде грязной улицы и старых, плохих избушек, с надоедливой суетой кончающегося дня, – вот что глядело на меня жесткими глазами.

А невдалеке старый лес шумел и солнце величавое тихо спускалось по голубому небу. Птицы летели стаями куда-то к огненному закату. Тайное и прекрасное чувствовалось в при-

роде, а в жизни людской – горе, заботы, недоверие, бесконечное недоверие друг к другу [Жаков, 1905, с. 9].

Природа – это некая константа в мире Жакова, и как бы не изменилась его родина, но, окунувшись в природное естество, услышав зов «старых богов» под куполом леса, он проникается мыслью: «Действительность, сколь ни плоха, она мудрее наших мечтаний» [Там же, с. 17], а в следующей деревне, наконец-то услышав от слепого старика сказку, восклицает: «Природа и жизнь простая! Ты сказка, и ничего нет лучше этой сказки – мира!» [Там же, с. 18].

Так, по мере продвижения в глубь северной территории, меняется сознание героя Жакова: городское недовольство миром, разочарования в виденном уступают место его искреннему интересу к окружающему миру, к своим соотечественникам, и мир начинает открываться перед ним. Вслед за природой навстречу рассказчику поворачиваются и люди: ему начинают рассказывать сказки, предания, легенды, за которыми он ехал в эти края. Постепенно перед рассказчиком открываются мифы народа коми – о чуди, когда-то жившей в этих местах и вытесненной Стефаном, о великом колдуне Тюво, охотнике Йир-Капе, о хозяине леса – боге ветра Войпеле и др. Наконец, в одной деревне ему отдают тетрадь некоего «неизвестного поэта», жившего здесь когда-то, и его «песни» и рассказы в качестве текста в тексте (книги в книге) входят в состав книги путешествий Жакова. «Неизвестный поэт» становится другим «я» героя-рассказчика, а вместе с тем – лейтмотивным, сквозным героем всего его творчества, поскольку и внутренние, психологические мотивы его исповедальных рассказов и стихотворений, и перипетии его жизненных странствий встречаются во многих других произведениях писателя. Сам же герой-рассказчик наконец понимает, что для достижения

главной цели – получения знания о Паме Бур-Морте (сокровенного знания, которое никак не хотят поведать ему земляки) – нужно отправиться «к каменному поясу, уральским горам, и там искать преданий о Бур-Морте» [Там же, с. 89]. Он меняет направление и движется на восток, и на Печоре, в угрюмом северном крае, находит старика, который поет ему песню о Паме.

Таким образом, путешествие жаковского героя совершается в согласии с координатами сакральной географии: север совмещается с востоком и становится главным пунктом притяжения для человека, достигшего определенного возраста, а с ним и необходимого этапа духовной зрелости, который толкает его в путь на поиски истины. В пределах книги Жакова также создается своя сакральная, мифологическая география жизни, где все стороны света имеют не только географическое, но и ценностное значение. Она разворачивается в жизненных странствиях как автогероя книги, так и его двойника – «неизвестного поэта», а затем еще и самого Пама Бур-Морта, который также оказывается ипостасью автора-героя, точнее, ипостасью которого начинает ощущать себя автогерой книги.

Как уже говорилось, достигнув примерной середины жизни, жаковский автогерой движется в страну детства и своих предков – на север: индивидуально-личное значение концепта (он коми, т. е. уроженец севера) совпадает с традиционно мифологическим. По ходу его путешествия выясняется, что в юности он ушел из родных мест, соблазненный поиском ответа на вопрос, что есть бытие, ушел «на дальний юг». «... Солнце манило куда-то вдаль, вдаль, в теплый юг, на берега синих морей» [Там же, с. 72]. «Неизвестный поэт», тетрадь которого попадает в руки рассказчика, с севера также стремился на юг, мечтая обрести там понимание жизни:

Юг влечет меня давно уж,
Манит он меня волшебный.
Солнце юга там согреет,
Озарит мой ум лучами,
Я пойму значенье жизни,
Смысл творений поднебесных [Там же, с. 92].

Однако, покинув север, он жаждет вернуться на родину – и, поскольку тетрадь его была найдена в деревне Визябож, можно считать, что он смог возвратиться к дому, хотя душа его навеки «раздвоилась» между севером и югом.

Та же логика пути, но более зигзагообразная, присутствует в странствиях Пама Бур-Морта. Изверившись в старых богах, Бур-Морт стремится «на светлый юг, за лесом лежащий, на берега теплых морей» [Там же, с. 133]. «Вот и синее море пред ним предстало полукругом, далекой синей равниной» [Там же, с. 135]. Бур-Морт попадает на остров посреди моря и живет там у старика-ученого, именуемого Пама Гипербореум, но опять начинает тосковать и уплывает прочь, продолжая свое странствие «к востоку». Заметим, как меняется его направление – с юга он движется теперь к востоку. Прибыв к великим горам, он преодолевает их и оказывается в сказочной стране, в которой угадывается (а позже об этом говорится прямо) Индия. Там новый старик учит его своей мудрости, смысл которой примерно один и сходится с тем, что писал сам Жаков в других книгах, излагая свое учение:

Из обломков нашей земли и солнца будут новые земли, иные солнца, другие люди, и прежде было так. Этому нет конца и нет числа ничему. Всюду простор и досуг в светлом храме мире. Жизнь, что волны моря; волны переменны, море вечно. <...> ...существующее неуловимо, как душа, оно убегает от нас, как тень; но оно едино вечно, и страдает, и блаженствует,

выражаясь в разных планетах, в разных людях, под разными покровами. Сущность ее одна.

Одна душа – она и блаженствует, она и страдает, и ты не говори: “другие люди после меня будут жить”. Живет одно, не переставая, одно существует. <...> Все, что видишь ты – пересечение твоей души с тем, что существует [Там же, с. 138–140].

Вернувшись домой, Пам проповедует людям новое знание, усмиряя враждующие племена. Затем Бур-Морт отправляется к отцу, живущему на берегах Оби, и там утешает его, убеждая в закономерности и безоценочной справедливости хода жизни: как малые реки сливаются с великой, «так малые народы соединяются с большими, забывая свои имена, оставляя старые нравы и обычаи. <...> От несовершенного человек переходит к совершенному, по ступеням жизни стремится к небесам, туда, туда...» [Там же, с. 146]. И отец, и другие сибирские «туны» (шаманы) в конце концов соглашаются с Памом: «И душа волхвов слилась с душою Бур-Морта, и с душою Вселенной...» [Там же, с. 147]⁸.

И здесь мы обнаруживаем неожиданную параллель Пришвину, казалось бы, в своих книгах путешествий весьма далекому от Жакова. Символический образ гигантского человека, в который сливается все человечество, периодически возникающий перед внутренним взором Пришвина, имеет своим философско-мифологическим и поэтическим аналогом единую мировую душу, которую искали (и находили) в мире еще романтики, но которая у Жакова, как свидетельствует приведенное выше высказывание его героя Бур-Морта, имеет вполне конкретный, «материализуемый» облик: воплощением мировой души и всего человечества, рассыпанного по кос-

⁸ О философии Жакова, выразившейся в книге, см.: [Лимеров, 2013; Лимерова, Созина, 2014].

мосу, ощущает себя сам Пам Бур-Морт, и не даром он проповедует слияние всех религий в одно русло, выступая сторонником универсального симфонизма народов. Кстати, близкие идеи высказывал еще один гениальный сын народа коми В.В. Налимов, ссылаясь при этом на мысли своего отца, замечательного этнографа В.П. Налимова (который был реальным современником и Жакова, и Пришвина). Пришвин, также занимаясь этнографией, вроде бы не особенно способствующей развитию универсалистских идей, в путешествиях «За волшебным коlobком» писал:

Мое занятие – этнография, изучение жизни людей. Почему бы не понимать его как изучение души человека вообще. Все эти сказки и былины говорят о какой-то неведомой общечеловеческой душе. В создании их участвовал не один только русский народ. Нет, я имею перед собою не национальную душу, а всемирную, стихийную, такую, какую она вышла из рук Творца [Пришвин, 1984, с. 161].

Так в совершенно неожиданных формах обретают предметность идеи, запущенные в культуру столетия назад, обрастают новыми смыслами и продолжают свое странствие дальше, будучи воплощены и спровоцированы реальными путешествиями людей нового времени на родину мифа.

Литература

Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: Сб. статей / ред.-сост. В.-С. Киссель, Г. А. Тиме; пер. с нем. Г. А. Тиме. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Головнёв А.В. Феномен колонизации. Екатеринбург: УрО РАН, 2015.

Дворцова Н. П.М. Пришвин и его «вечные спутники» (Д. Мережковский, В. Розанов, А. Ремизов): Уч. пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1995.

Дворцова Н.П. Михаил Пришвин: «Жизнь как утверждение» // Михаил Пришвин и русская культура XX века: сб. ст. / под ред. Н. П. Дворцовой, Л. А. Рязановой. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 1998.

Жаков К.Ф. На Север, в поисках за Памом Бур-Мортом. СПб.: Тип. Уч-ща глухонемых, 1905.

Засодимский П.В. Лесное царство // В делях Севера: Русские писатели XVIII–XIX веков о земле Коми. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1983. С. 105–177.

Каганский В.Л. Путешественник. URL: http://identityworld.ru/Statyi/Kagansky_puteshestvennik.doc (дата обращения: 28.04.2016).

Киссель В.С. Путешествие на Солнце без возврата: к вопросу о модернизме в русских травелогах первой трети XX века // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 9–34.

Куликова Е.Ю. Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. Новосибирск: Изд-во «Свиный и сыновья», 2011.

Лимеров П.Ф. Образ св. Стефана Пермского в письменной традиции и в фольклоре народа коми. М.: Наука, 2008.

Лимеров П.Ф. Репрезентация религиозно-философских взглядов К. Ф. Жакова в книге «На север, в поисках за Памом Бур-Мортом» // Литература Урала: история и современность: сб. ст. Вып. 7: Литература и история – грани единого (к проблеме междисциплинарных связей): В 2 т. Т. 2 / Ин-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. С. 251–260.

Лимеров П.Ф., Созина Е. К. Художественный мир К. Ф. Жакова // Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской словесности: коллект. монография / науч. ред. Т.А. Снигирева, Е.К. Созина. Екатеринбург – Ижевск – Сыктывкар: Изд-во УМЦ УПИ, 2014. С. 349–398.

Лимерова В.А. Традиции средневековых жанров в творчестве К.Ф. Жакова. Научные доклады / Коми НЦ КрО РАН. Вып. 473. Сыктывкар, 2005.

Лихачев Д.С. Статьи разных лет. Тверь: Тверское обл. отделение Росс. фонда культуры, 1993.

Лотман М.Ю. О семиотике страха в русской культуре // Семиотика страха: Сб. статей / сост. Нора Букс и Франсис Конт. М.: Русский институт: Изд-во «Европа», 2005. С. 20–28.

Львов Е. «Русский странник». По Студеному морю. Поездка на Север. М.: Тов. тип. А. И. Мамонтова, 1895.

Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. М.: Изд-во РГГУ, 2002.

Пришвин М.М. За волшебным коlobком: Повести. М.: Изд-во «Московский рабочий», 1984.

Ремизов А.М. В царстве полуночного солнца // Ремизов А.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М.: Русская книга, 2000.

Рерих Н.К. Глаз добрый / вступ. ст. В. Сидорова. М.: Художественная литература, 1991.

Теребихин Н. М. Метафизика Севера. Архангельск: Поморский университет, 2004.

Холодова З.Я. Художественное мышление М.М. Пришвина: Содержание, структура, контекст. Иваново: Изд-во «Иваново», 2000.

Шадрина О. Сакральная география Севера: германо-скандинавский вектор // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 6. М.: Институт Наследия, 2010. С. 139–152.

Е.К. Sozina

*Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the RAS,
Yekaterinburg*

THE NORTH IN THE LITERATURE OF EARLY 20TH CENTURY

Abstract. The article is devoted to analyses of several books about travels to the North, written in the 1900s. The author shows that the poetics of travelogues of early 20th century distinctly changes in comparison with the 19 century. At the same time Russian culture forms mythopoesis and ethnic topics of the North, which often becomes a metonymic substitution of Russia, the progenitor

of Russian civilization. On this basis we study representative works of three authors - M.M. Prishvin, K.F. Zhakov and A.M. Remizov, whose descriptions of travels to the North of Russia were in a sense innovative. These works are the book of essays "In the Land of Unfrightened Birds" by Prishvin (1907) and "Following the Magic Kolobok» (1908), the travel book "In the North in Search Beyond Pam-Bur-Mort " (1905) by Zhakov. The article also touches the a cycle of poems "The Midnight sun" by Remizov (1903-1905), based on the material of the Komi mythology, created when the author was in exile in Ust-Sysolsk. Despite the apparent differences of writers and their works, they all discover the North as the secret homeland of mankind and their own, which causes mythologisation of the region, most obvious in Zhakov's and Remizov's works and less noticeable in Prishvin's. Prishvin explains his interest in the ethnography of the peoples of the North by the fact that it is embodied not only national but also universal human soul. The symbolization of northern ethnic topics has become an important feature of the literature of the Silver Age and all the studied writers, and the literature of the new century as well.

Keywords: travelogue, narration, concept, mythologem, literature and ethnography.

Information about the author. Sozina Elena Konstantinovna, Doctor of Philology, Professor, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the RAS (Kovalevskaya street, 16, Yekaterinburg, Russia, tel. (343) 374-53-40, 374-57-22; E-mail: iia-history@mail.ru).

РАЗДЕЛ II

ТРАВЕЛОГ И ПУТЕШЕСТВЕННИК: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

А.Н. Безруков

*Башкирский государственный университет,
Россия, БФ, г. Бирск*

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В «ЗИМНИХ ЗАМЕТКАХ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Аннотация. Исследование посвящено мемуарной форме травелога в публицистическом наследии Ф.М. Достоевского. «Зимние заметки о летних впечатлениях» были напечатаны в 1863 г. после посещения писателем Европы (Германия, Италия, Франция, Швейцария, Англия и т.д.). Структура путешествия Достоевского существенно различается с традиционной художественной конструкцией травелога. Основной авторской установкой становится реализация диалога с читателем. Контакт писателя и читателя достигается воплощением ступенчатой парадигмы. Структурно обозначается путь от внешней номинации к имманентной рецепции реалий мира. Достоевский отсылает читателя к фактам истории, к культурным кодам, к идеологическим оппозициям, к личной памяти. Ведущим принципом в тексте является реализация приема комического (гротеск, юмор, ирония), не столь характерного для Достоевского. Оппозиция Европа – Россия в статье трактуется номинально, основной задачей Достоевского видится выход к бытийным принципам устройства и трансформации жизни человека. Феноменологический подход дает возможность интерпретировать «Зимние заметки о летних впечатлениях» как онтологически цельную структуру, метафизический конструкт бытия-путешествия.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, «Зимние заметки о летних впечатлениях», путешествие, травелог, рецепция текста, диалог, повествователь, нарратор, читатель, автор.

Сведения об авторе. Безруков Андрей Николаевич, кандидат филол. наук, доцент кафедры филологии Бирского филиала Башкирского гос. университета (452455, Россия, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 120-В, кв. № 9. Тел. (34784) 3-42-59. E-mail: in_text@mail.ru).

Феномен путешествия в практике художественного письма не раз становился предметом особой заинтересованности у писателей XVIII–XIX веков. Русская и зарубежная литература обращалась к данной форме позиционно. Европейский стандарт все больше стремился каталогизировать наличную реальность, придать ей действенный, практический статус, российский – иначе. Для русских писателей характерно объемное, сферическое видение реалий, философское переосмысление действительности и увлеченность не столько констатацией, опредмечиванием объективного мира, сколько познанием его внутренней сути, принятием и выработкой онтологической коррекции реальности.

В современной литературоведческой науке достаточно много работ, посвященных изучению путешествия как формы, травелога как вида повествования [Константинова, 2013]. Есть монографические работы [Эткинд, 2001], специальные пособия, диссертационные исследования, проводятся тематические конференции, предметом изучения которых становится указанная структура. И все же интерес к феномену травелога как персонифицированного путешествия во времени и пространстве не исчезает. Вероятно, это связано с тем, что художественное (например, литературное или культурное, вариант – семиотическое) путешествие по своей экзистенциальной природе не может быть окончательным, целостно

завершенным. Буквально оно начинается топосно (есть некая отправная точка маршрута), далее оформляется письменно (создается корпус текста), затем длится как некая реакция на внешний фон жизни и остается, замирает (феноменологически консервируется) в культурно-эстетической памяти реципиента. В любой желаемый момент читатель/зритель может его продлить, дать второй, третий интенциональный толчок.

Наличный текст есть организованная структура, воплощающая волю автора, дающая возможность читателю выйти на условно-видимый горизонт смысловых ожиданий. Приращение новой семантики становится в указанных условиях первоочередной задачей. Практически у любого текста (литературный, публицистический, философский, мемуарный) можно выявить два полюса – художественный и эстетический (идеальный). К первому следует относить явления внутренней организации, включая все основные (обязательные) уровни: структурную модель, поэтические особенности, язык, композиционную проекцию, сюжетный ход. Ко второму – ощущение прикосновения к тайнам бытия, к вечным и неизменным ценностям, возможность познать откровение или сделать искомый вывод. Отсюда, литературное произведение – нечто большее, чем наличный текст, созданный и сформированный автором. Основная жизнь текста начинается только в процессе чтения, рецепции [Безруков, 2015]. Герменевтический подход к тексту подразумевает реакцию не только на его плоскостную форму, но, в равной степени, и на ответные действия текста относительно реципиента. Путь совмещения граней текста и сознания читателя переводит текст в эстетическую (литературную, публицистическую, философскую) модель условной реальности. Выход в пространство сюжетной игры-повествования ориентирует реципиента на линейный процесс понимания авторского

замысла. Используя «внутренние» (интенционные) перспективы, читатель заставляет текст раскрываться, возникает интердискурсивность относительно условных писательских границ. Именно в этом случае реакция на текст будет филологически верной.

Предметом изображения в путевых записках, очерках может быть практически все, что видит и осознает/воспринимает и, конечно, описывает путешественник: топографическая среда, красота природы, быт, социальные отношения, психология людей. Странствующая фигура, отрываясь от привычной, естественной для нее жизни, как бы преодолевает барьерность бытия, что заставляет проживать пограничные состояния, задавать крайние вопросы, искать ответы; может это и есть сверхзадача травелога. Попадая в иные, чужие условия путешественник вынужден срачиваться/свыкаться с ними, либо, что оппозиционно, конфликтно (порой не внешне), оценивать их, тем самым, трансформировать для себя, для других. Большинство примеров формы травелога подтверждают это – античная классика (мифы, гомеровские тексты, канонические драмы, комедии, римский эпос), литература Средних веков (рыцарские саги, легенды, предания) и Возрождения, тексты Нового времени. Иначе (в русле принципов изображения), хотя в том же эстетическом режиме преодоления, переживания внешних, трансцендентных и внутренних, имманентных противоречий, создаются произведения XVIII–XIX веков, активизирующие онтологические вопросы бытия: свободы, духовной памяти.

Зимой 1862–1863 года Ф.М. Достоевский начинает оформлять «Зимние заметки о летних впечатлениях» (далее ««Зимние заметки...») и избирает ведущей формой текста – форму художественного очерка. В критической литературе [Захаров, 2013] указывается, что мысль о путевых записях

была подсказана Достоевскому, находящемуся впервые за границей, его братом Михаилом: «Да написал бы ты в Париже, что-нибудь для “Времени”. Хоть бы письма из-за границы» [Достоевский, 1973, т. 5, с. 357]. Издание совместного журнала предполагало публикацию не только собственно художественных текстов, но и записей публицистического характера, отвечая тем самым ходу естественной жизни, ее стремительному, интенсивному развитию. История, как известно, есть не только схематическая фиксация фактов, событий и условий, но и возможность изучения нормированности целеполагания. Для Достоевского знакомство с Европой в 1862 году превращается в процесс спектрального анализа онтологии жизни, ее феноменологических загадок. Путешествие для него – не самоцель, а средство познание мира и трансформация последнего для читателя. Поэтому бытийный аспект более интересует писателя, нежели внешне-пейзажное или интерьерное описание того, что он видит.

К XIX веку в русской литературе принцип написания путешествий был уже достаточно четко оформлен. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, «Письма из-за границы» Д.И. Фонвизина, путевые очерки Ап. Григорьева, Е. Тур, П. Новицкого и ряда других авторов были, безусловно, известны Достоевскому. Их влияние ощущается, в первую очередь, в объективности повествования, в вероятностной возможности дистанцировать себя от буквальных реалий мира. В отличие от многих предшественников мастерство Достоевского проявляется не столько в системности изображения, сколько в последовательности *фиксаций* изменений *чувств* и *переживаний* от увиденного.

Избранная Достоевским каталогизация мест пребывания как первичная установка соответствует фактическому странствию:

Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это я объехал ровно в два с половиною месяца! [Там же, с. 46].

Но не это есть сверхзадача автора. Текст «Зимних заметок...» пишется целенаправленно, в нем нет коллекционирования чужестранных эпизодов и ситуаций, что очевидно противоречит жанру путешествия. Травелог Достоевского, вероятнее всего, есть фиксированный отчет путешественника, который спустя какое-то время воскрешает в памяти основные события/моменты и, как следствие, подвергает их критическому анализу, оценке. Дорога дает возможность погружения в общечеловеческие проблемы, в основы земного миропорядка. Достоевский практически сразу настроен на индивидуально-авторский вариант известной формы, некую модификацию уже классического жанра:

Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? [Там же, с. 46].

Из документальной версии, которую может быть и ждет от писателя брат Михаил, верифицируется то, что созвучно модели художественного видения, граничащей в оппозиционных крайностях: *свое – чужое, Запад – Россия, настоящее – будущее, милосердное – антигуманное*. В данной раскладке не играет особой роли собственно идеологическое настроение автора; на наш взгляд, даже почвеннический стандарт слышится в тексте «Зимних заметок...», но он не авторита-

рен, а плюралистичен. Практически в начале текста Достоевский апеллирует к страсти, но не к логике познания:

... рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке [Там же, с. 46].

Р.Г. Назиров отмечает: «В своем памфлете “Зимние заметки о летних впечатлениях” (1863), явившемся итогом знакомства писателя с победившей буржуазной цивилизацией Западной Европы, Достоевский разоблачил фальшь узурпированного буржуазией лозунга Великой революции: “Свобода, равенство и братство ”» [Назиров, 2014, с. 16]. Статус свободы у Достоевского гораздо выше наличного понимания этой категории, он дифференцированно сильнее. Этический аспект в «Зимних заметках...» становится кульминационным, оттенок нравственно-моральных устоев Запада, порой его искаженный вид, диктует автору вектор формирования всего текста: от номинации до сложно-параметрической рецепции. Природа комического разрушает в «Зимних заметках...» налет буквальной реальности. В изображении чужого для автора важно не подвергнуть осмеянию все, что он видит, не встать в оппозицию прозападной модели жизни, но глубинно коснуться противоречий устоев жизни:

Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно *более* осмотреть, но даже *все* осмотреть, непременно *все*, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, – думал я, – зато

я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама» (курсив мой. – А.Б.) [Там же, с. 46–47].

Сопоставительный ракурс – *Европа – Россия* – есть форма не столько путешествия в буквальном смысле слова, сколько предлог поразмышлять о своем и чужом. Страсть познать Европу, прикоснуться к ее музейно-ветхим деталям, вскрыть общий принцип организации жизни – вот тот набор установок, которым руководствуется писатель:

Вся «страна святых чудес» представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление» [Там же, с. 47];

... вот теперь и я въезжаю наконец в «страну святых чудес», в страну таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований [Там же, с. 51].

Архитектоника Европы, столь привлекательная для многих авторов, становится для Достоевского манящим рубежом, влияние коего на писательский мир ощущается не столько в догматике социальной доктрины жизнеустройства, вероятной попытке распознать онтологию исторических барьеров, сколько в обозначении, координации морально-нравственных ориентиров всечеловечества. Стандарт журнальной формы, публицистический вариант сложения текста требовал от Достоевского и нового подхода/принципа к изображаемому: «От раннего преклонения перед началами художественной законченности он переходит к новому верховному принципу повествовательного искусства – занимательности. Он считает теперь возможным жертвовать всеми канонами формы и классическими предписаниями академий во имя осуществления

главной задачи – поразить, заинтриговать или ошеломить читателя с первых же строк, чтобы затем до конца не выпускать его из-под власти своего рассказа» [Гроссман, 1925, с. 11–12]. Некий управленческий характер/статус со-организует и самого Достоевского, и читателя, и способ рецепции путешествия, является ли оно мнимым, либо построено на реальном видении исторических картинок. Автор манипулирует сознанием воспринимающего:

...я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать [Там же, с. 47].

«Мемуарная форма повествования – прекрасная форма взаимодействия автора и рассказчика: она сохраняет и обеспечивает свободу как героя, так и писателя, который, как бы “управляя временем”, всегда имеет возможность раскрыть свою точку зрения как высшую и окончательную и для которого, образно говоря, временные “мосты” никогда не бывают сожжены. Ретроспекция позволяет Достоевскому свободно сочетать настоящее с прошедшим, а также точки зрения героя сегодняшнего, “вспоминающего”, и героя прошедшего, “вспоминаемого”, что чаще всего принимает вид нравственного суда, дотошного самоопроса, во время которого герой сегодняшний судит и оценивает себя в прошлом, приводя в доказательство настоящее. Все это несет заряды высокой нравственной мощности», – пишет М.В. Гиголов [Гиголов, 1988, с. 8]. Центральная фигура «Зимних заметок...» – автор-повествователь – диалогически амбивалентен, ибо он одновременно и персонаж, и рассказчик, и двойник творца, и ав-

тор. Следовательно, в авторе объединяются и субъект (спектр чувств и переживаний), и объект (номинальная фигура) изображения. Иначе говоря, автор выполняет двойную функцию: рассказчика и действующего лица, участника событий, происходящих в условном мире. В данном случае, можно говорить о форме аукториальной повествовательной ситуации и аукториальном повествователе, который близок по своей функции абстрактному автору.

Достоевский «... не был большим мастером путешествовать <...>, его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общее впечатление уличной жизни», – отмечает Л.И. Сараскина [Сараскина, 2011, с. 365]. Писатель сюжетно обращается к так называемому феномену вещи/детали, связность вещей есть пространство социального порядка. Мир вещей для Достоевского – мир центристских увлечений, чаяний свободы. «Зимние заметки...» рисуют разнонаправленность мироустройства: европейского порядка и отечественной бытовой картины. Авторские идеи «Зимних заметок...» отражают социальность жизнеустройства: «Личность не вправе ссылаться на давление среды, она должна бороться против среды и законов необходимости; степень личного сопротивления среде и знаменует степень свободы личности» [Назиров, 2014, с. 16]. Даже и в мемуарно-публицистическом ключе встает характерный для всего творчества писателя вопрос бунта, протеста, несогласия героя-повествователя с существующим порядком. Метафизика бунта (вариант достижения свободы) у Достоевского глубоко личностна; свобода для автора внутренняя потребность: «Наличие абсолютной свободы является аподиктической данностью» [Слинин, 2004, с. 89].

Заметки об ином жизнеустройстве при соответствующей жанровой вольности сохраняют эффект цельности воспринятого мира как свободного абсолюта, но и не лишены поэтической экспансии:

Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения [Там же, с. 49].

Доверительная беседа с читателем отвлекает от бытовой многогранности и настраивает на бытийную проекцию, особое векторно-схематичное удвоение: гид – абсолютная вера – ироничная искренность.

В сопоставительной оценке творческой деятельности Достоевского и Гоголя Г.М. Фридендер отмечал, что «Гоголь, как правило, наделял каждого из персонажей “Ревизора” и “Мертвых душ” одной (или несколькими) доминирующей чертой, гротескно-гиперболически заостряя, укрупняя и преувеличивая эту основную (или основные) черту героя. Это придавало его персонажам особую цельность, выразительность и рельефность, но в то же время не давало автору возможности раскрыть для читателей динамику внутренней жизни героя, представить его внутренний мир в развитии и изменении» [Фридендер, 1987, с. 12]. В «Зимних заметках...» акцентно трансформируется автором-повествователем фактурное изображение типологии людей (видимый, условный,

иронически-комический эффект) в сферический конгломерат я-автора и я-человека (имманентный трагизм): «...примиряющий смех христианина Достоевского играет совершенно иную роль, чем смех осмеяния, являющийся оружием революционера» [Кунильский, 2007, с. 150]. Маска повествователя, а также избранная форма рассказа дает Достоевскому возможность внутренне достигнуть пределов социальных и нравственных исканий. Феноменологически это оправдывает ведущий принцип мировидения писателя – диалог с большим временем, принятие *для себя* и осмысление *самим собой* исторически-обусловленных закономерностей жизни.

Антропология Достоевского порой имеет ярко выраженный карикатурный вид:

... как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность – это только известная система податей, душа – *tabula rasa*, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула – стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали [Там же, с. 59].

Оценка геополитического положения России автором нарочито снижена, тем самым достигается эффект вероятного, возможного влияния на закон жизнеустройства. Не случайна фраза, сближающая разные типы миропозиций, которую автор произносит в конце III главы:

Париж-то, Париж-то, ведь я о нем хотел говорить, да и забыл! Уж очень про нашу русскую Европу раздумался; прости-

тельное дело, когда сам в европейскую Европу в гости едешь [Там же, с. 63–64].

Чтение «Зимних заметок...» воспринимается как ситуация маркированной игры (Германия, Италия, Англия, Франция). В повествовательной ткани текста заложена сложность, многоуровневость, ассоциативность [Тарасова, Жилевич, 2012] сознания автора. Это помогает выявить духовную сущность нарратора, позволяет увидеть не только каталогизированную реальную картину европейской и российской жизни, но и морально-нравственную рефлексию, апокалиптическую тревогу и философскую тоску автора. Опираясь культурными кодами, знаками истории, литературными фактами/образами, Достоевский активизирует воображение читателя, заставляет его думать, оценивать, выбирать: «... строит образ в своем повествовании так, что сквозь тонкую <...> оболочку героев и событий их жизни, сквозь *существующее, сиюминутное* читателю являются вечные лики и вечное бытие» [Касаткина, 2015, с. 102].

Динамический процесс познания наличествует как в авторском замысле «Зимних заметок...», так и в самом *тексте*. Эстетическое переживание читателя оформляется в определенный план действий/рецепций. Пространство травелога/путешествия Достоевский творит в ситуации диалога (история – художественная реальность), в той же ситуации оказывается реципиент (наличный текст – условный образ), формируя свой собственный смысл-восприятие. Феноменологическая игра в путешествие наиболее полно и правильно осуществляется в процессе чтения. Смыслы «перерастают слово и как бы освобождаются от него» [Энгельгардт, 2005, с. 39]. Интенции текста в виде расшифровок преподаются читателю в авторском варианте. Реализация программы замысла

есть достижение свободы со-творчества. Воспринимая текст «Зимних заметок...», читатель погружается в идеологический авторский диалог, обнаруживает возможность не только визуального контакта, но и свободного, сознательного выбора рецептивной тактики, то есть самоопределения в оценке воспринимаемого.

Таким образом, в «Зимних заметках...» Достоевского феноменология путешествия – явление особого рода. Отрываясь от наличной коллизии, автор позже идеологизирует в «Дневнике писателя»:

Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными [Там же, т. 27, с. 36].

Принципиальным для писателя становится тезис о возможном примирении «Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой» [Соловьев, 1990, с. 106]. На наш взгляд, Достоевский не столь обеспокоен неприятием конкретных идеологических взглядов *России и Европы, Востока и Запада*, его тревога общенародного, целномирового порядка. Проявление нравственных, высокоморальных человеческих качеств не должно замещаться формально-наличными сбивами ориентиров мирового уровня. Стремление покорить Других вербально, действенно, идеологически приводит в большинстве своем к самоуничтожению собственного Я (Как современен Достоевский!). Бытие человека в мире и мира в нем диалогически корректируется историей, что в художественном творчестве иллюстрируется вероятной формой условных странствий. «Зимние заметки...» по форме – классический травелог, но это и *повод-текст* соединить крайности символически Другого (*не-своего*) с Самим собой.

Ориентиры такой возможности, представленные в начале и в конце повествования: «... что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного» [Там же, т. 5, с. 46] и «Все идет как следует» [Там же, с. 98], сливаются в единый корпус метафизического, вечного бытия-путешествия.

Литература

Безруков А.Н. Рецепция художественного текста: функциональный подход.

Вроцлав: Изд-во Фонда «Российско-польский институт», 2015.

Брусовани М.И., Гальперина Р.Г. Заграничные путешествия Ф.М. Достоевского 1862 и 1863 гг. // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 8. Л.: Изд-во «Наука», 1988. С. 272–292.

Гиголов М.В. Типология рассказчиков раннего Достоевского (1845–1865 гг.) // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 8. Л.: Изд-во «Наука», 1988. С. 3–20.

Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М.: ГАХН, 1925.

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л.: Изд-во «Наука», 1972–1990.

Захаров В.Н. Поэтика хронотопа в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. № 11. Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 2013. С. 180–201.

Касаткина Т. «Мальчик у Христа на елке». Структура образа в произведениях Достоевского // Достоевский и христианство = Dostoevsky and Christianity / под ред. Жорди Морильяса. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. С. 102–112.

Константинова Н.В. Нарратор-путешественник в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского // Литература путешествий: культурно-семиотические и дискурсивные аспекты: сборник научных работ / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск: СИЦ НГПУ «Гаудеамус», 2013. С. 351–361.

Кунильский А.Е. Смех Достоевского: прав ли Бахтин? // Знание. Понимание. Умение. 2007. № 4. С. 148–154.

Назирова Р.Г. Творчество Ф.М. Достоевского. Проблематика и поэтика. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014.

Сараскина Л.И. Достоевский. М.: Изд-во «Молодая гвардия», 2011.

Слинин Я.А. Феноменология интерсубъективности. СПб.: Изд-во «Наука», 2004.

Соловьев В.С. Избранное. М.: Изд-во «Советская Россия», 1990.

Тарасова Н.А., Жилевич О.И. Проблема интертекстуальных связей в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского // Научный диалог. № 8. 2012. С. 113–127.

Фридендер Г.М. Достоевский и Гоголь // Достоевский. Материалы и исследования. Т.7. Л.: Изд-во «Наука», 1987. С. 3–21.

Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности. М.: НЛЮ, 2005.

Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: НЛЮ, 2001.

A.N. Bezrukov

Bashkir State University

PHENOMENOLOGY OF TRAVEL IN «WINTER NOTES ON SUMMER IMPRESSIONS» BY F.M. DOSTOEVSKY

Abstract. The research is devoted to the memoir form of travelogue in F.M. Dostoevsky's non-fiction. «Winter Notes on Summer Impressions» were published in 1863, after the writer's trip to Europe (Germany, Italy, France, Switzerland, Britain etc.).

The structure of Dostoevsky's text is significantly different from the traditional, artistic version of travelogue. The main author's intention is making a dialogue with the reader. The model changes stepwise from superficial, formal denomination of the actual to its immanent reception. Dostoevsky's text refers to the facts of history, cultural codes, ideological opposition and personal memory. The comic devices (grotesque, humor, irony) are used widely in the text. This feature is not so typical for Dostoevsky. The opposition "Europe

vs. Russia” is interpreted nominally in the article. Dostoevsky’s main task is revealing of existential principles of organizing and transformation of life. The phenomenological approach makes it possible to interpret «Winter Notes on Summer Impressions» as an ontologically integral structure, as a metaphysical presentation of existence as a journey.

Keywords: F.M. Dostoevsky, «Winter Notes on Summer Impressions», travelogue, reception of the text, dialogue, narrator, scriptor, reader, author.

Information about the author. Bezrukov Andrey Nikolaevich, Candidate of Philological sciences, Assistant professor of the Chair of Philology, Birsk branch of Bashkir State University (452455, Russia, Republic of Bashkortostan, Birsk, International str., 120-B, 9. Tel. (34784) 3-42-59. E-mail: in_text@mail.ru).

Э.Г. Шестакова

Донецк, Украина

**ПУТЕШЕСТВЕННИК И ГОРЫ:
ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ГЕРОЯ
В МАЛОЙ ПРОЗЕ И.А. БУНИНА**

Аннотация. На материале малой прозы И. Бунина рассматриваются особенности формирования самосознания героя. Внимание акцентируется на следующих концептуальных моментах. Во-первых, путешествие, путешественник и дорожное настроение являются одними из базисных, ценностных характеристик мира И. Бунина, формирующих специфику его психологической среды. Во-вторых, «текст гор» еще не был выделен в качестве самостоятельного единства в бунинской прозе, вследствие чего горы (не как пейзаж, а как ценностная составляющая путешествия) не исследовались. Однако, несмотря на то, что в прозе И. Бунина горы встречаются не так часто, как море, лес, степи, город, усадьба, однако они, рассмотренные в качестве смыслового, поэтико-эстетического единства, проявляют специфику самосознания героев. В-третьих, герои-путешественники начинают по-иному воспринимать себя, свои ощущения, поступки, нежели они это предполагали, отправляясь в странствования. Трансформации их поведения и мироощущения определяются встречей с горами. В-четвёртых, ответ на вопрос о том, почему горы, вне зависимости, будь то безымянная гора, через которую путешественник вынужден пройти, или Савойские горы, к которым совершается поездка, действуют одинаково на настроения и поступки героя, лежит в плоскости экзистенциального мироощущения. Точнее так, как его в малой прозе предвосхитил И. Бунин.

Ключевые слова: путешествие, дорожное настроение, путешественник, «текст гор», психологизм, самосознание героя, культурная память, литературная память, экзистенциализм.

Сведения об авторе. Шестакова Элеонора Георгиевна, доктор филологических наук (Украина, Донецк, 83062, Донецкий, ул. Куйбышева, д. 2, кв. 29. Тел. (8066) 269-34-78. E-mail: shestakova_eleonora@mail.ru).

Не надо быть особо внимательным читателем, чтобы заметить, что многие герои И. Бунина – путешественники, а его мир в целом наполнен описанием дорожных встреч, расставаний, происшествий, впечатлений.

У Бунина с ранних произведений действие часто начинается до обыденного просто: уже в пути, застигая героев в особом состоянии дорожного настроения, когда они полностью погружены в переживания процесса поездки, в нюансы настроения, обусловленного путешествием. Бунин с первых прозаических произведений постепенно и филигранно создаёт психологизм особого состояния – дорожного настроения. Его герои не просто погружены в переживания поездки, что вполне естественно, а автор-повествователь не только передаёт настроения и описывает чувства героев в пути, что еще в XIX столетии стало открытием психологизма русской классической литературы. Бунин, во-первых, изначально смещает акценты с чувств, мыслей, волнений героев на самостоятельное состояние – дорожное настроение, которое образует особенное пространство жизнечувствования человека, во многом предопределяет его поступки и трансформирует мировоззрение. Во-вторых, по точному наблюдению Ю. Мальцева, Бунин открывает психологизм совершенно иного рода: «Он слишком ясно чувствовал, что собственно мышление в человеке занимает очень мало места, что в нём очень сложно переплетаются мысли и чувства, непосредственное восприятие и память, и прапамять, знание и незнание <...>, сознательное и бессознательное, лейтмотивы и фон, а также

синхронные мысли-образы и т.д.» [Мальцев, 1994, с.119]. Всё это относится и к последовательно формируемому в бунинском мире состоянию дорожного настроения. Изображая внутренний мир героев, показывая через сложно организованную гамму их чувств, желаний, размышлений то, что ощущает человек, отправляющийся в путь, Бунин открывает и постепенно создаёт самоценное состояние дорожного настроения. Он выписывает характер, свойства, этические особенности, истоки, процесс и специфику зарождения, протекания во времени и в различных обстоятельствах этого настроения. Дорожное настроение постепенно обретает самостоятельную психологическую, этическую и эстетическую многогранность. Это настроение, как одна из базисных ценностных ипостасей внутреннего мира бунинской прозы, участвует в создании его уникальной «психологической среды» [Лихачев, 1968, с.76].

Психологизм этого настроения с ранних произведений формируется через фокусировку внимания на оттенках и игре состояний, мыслей, чувств путешественников, а также близких и случайных для них людей. Психологизм дорожного настроения, созданный из сознательных желаний, спонтанно-эмоциональных, морально-нравственных, экзистенциальных переживаний героев, зарождается, разворачивается и существует в сложном диапазоне. Этот диапазон начинается с описания ощущения внутренней неловкости, этического напряжения из-за промежуточного положения путешественника, находящегося в самом начале процесса отъезда, предчувствии, ожидании дороги:

Провожающие пожимают плечами. Наступают те неприятные минуты разлуки, когда сказать уже нечего, улыбки делаются фальшивыми, а время начинает идти страшно медленно [Бунин, 1987, т. 2, с. 196] («Новая дорога», 1901).

и доходит до погружения в глубины интимных, сокровенных чувств путешественника. В этих глубинах обнаруживается экзистенциальная заброшенность и ирония по отношению ко всему, непреодолимое одиночество человека, живущего дорогой. В одном из поздних рассказов герой, в ожидании любовного приключения с давно желанной женщиной, предвкушает и чувственно переживает не его, а состояние путешествия и его эмоционально-телесные соблазны, возможности, оттенки ощущений:

«И правда, зачем я еду?» Он смотрел на себя в зеркале... <...> ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути, – кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга... [Бунин, 1987, т. 5, с. 359–360] («Генрих», 1940).

Дорожное настроение – это возможность свободного и честного прикосновения к подлинным глубинам своего я, уже живущего по законам всегда сюрпризного по своей природе пути. Это ощущение открытости не заданного, а всегда поливероятностного, желаемого мира. Психологизм дорожного настроения – это, прежде всего, психологизм экзистенциального мироощущения, когда, по мысли Ж.-П. Сартра, «человек находится постоянно вне самого себя. Именно проектируя себя, теряя себя вовне, он существует как человек», когда «человек есть не что иное, как ряд его поступков, что он есть сумма, организация, совокупность отношений, из которых составляются эти поступки» [Сумерки богов, 1990, с. 343, 334].

Путешествие наиболее сильно и ощутимо помогает героям Бунина не только рефлексировать, но и «находиться постоянно вне себя» (Ж.-П. Сартр), улавливать мир в состоянии переходов, особой незащищенности и открытости непосредственным чувственным, эмоционально-интуитивным прикосновениям. При этом путешественник зачастую ощущает себя своеобразным наблюдателем происходящего и в нём, и вокруг него, фиксируя малейшие эмоциональные, этические, эстетические сдвиги в своём настроении и окружающем мире. Действие часто начинается с описания вокзала как прелюдии или же окончания путешествия, когда главное – сам процесс путешествия и ускользающее ощущение странствования, промежуточности, граничности положения и человека и мира:

На вокзале не было обычной суматохи: наступала святая ночь [Бунин, 1987, т. 2, с. 28] («На чужой стороне», 1893);

Еду на вокзал, чтобы отправиться – ну, скажем, в Анарадхапуру [Бунин, 1987, т. 4, с. 189] («Третий класс», 1921);

Только что пришел петроградский поезд: в гору, по наезженному снегу, от железнодорожной станции, тянулись извозчики, с седоками и без седоков [Бунин, 1987, т. 4, с. 197] («Безумный художник», 1921).

Путешественник ощущает эту постоянную неоконченность пути, его существование вне человека с его устоявшимися, повседневными желаниями, представлениями, чувствами. Это особенно проявляется на вокзалах, пристанях, постоялых дворах, в портах, – пространствах, аккумулирующих дорожное настроение. В дороге герой всегда остаётся один на один с собою, даже если и окружен толпой таких же путешественников, как и он.

Действие может начинаться и в тележке, и в двуколке, и в поезде, и на корабле, по принципу *вдруг*, внезапно засти-

гая бунинских героев в путешествии, почти ничего не объясняя о его цели и причинах, делая акцент на важности самого пребывания в пути:

Однажды, ранней весной, шли мы в Батум из Порт-Саида [Бунин, 1987, т. 3, с. 164] («Крик», 1911);

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда [Бунин, 1987, т. 4, с. 44] («Грамматика любви», 1915);

Первая ночь на «Юнани». Капитан сказал, что пойдём не спеша, на Цейлоне будем не раньше, чем через полмесяца, и я чувствую в этой большой и покойной каюте уже как дома, хозяином [Бунин, 1987, т. 4, с. 449] («Воды многие», 1911–1926);

Ясный и холодный день поздней осени, еду ровной рысцой по большой дороге [Бунин, т. 5, с. 555] («Журавли», 1930).

Роковое или сокровенное событие в жизни бунинских героев может *как бы* нечаянно совершиться в дороге, как *странное дорожное приключение* («Солнечный удар», 1925; «Визитные карточки», 1940; «Ида», 1925; «Начало», 1943). Банальное дорожное происшествие оборачивается кардинальным изменением всех жизненных ценностей, представлений и ощущений, когда пошлость оказывается единственно возможным и действительно пройденным путём в иной, сокровенный мир подлинных чувств:

Он поцеловал её холодную руку с той любовью, что остаётся где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходням в грубую толпу на пристани [Бунин, 1987, т. 5, с. 315].

Эта особенность мира Бунина хотя и недостаточно системно, последовательно, однако в общих чертах рассмотрена в литературоведении. Касаясь проблем путешествий, иссле-

дователи в первую очередь отмечают жанровое разнообразие бунинских произведений, которые развивают традиции путевых очерков, зарисовок, писем, дневников, паломнической литературы [Громова-Колли, 1995; Владимиров, 2015; Захарова, 2013; Капинос, 2014; Латухина, 2004]. Путешествия в прозе И. Бунина анализируются и в традиционном контексте поэтики пейзажа [Вазина, 2000; Галямова, 2012; Зеленцова, 2013; Зеленцова (а), 2013; Исаев, 2010; Михеичева, 2012; Руднева, 2007; Семенова, 2014]. При этом акцент делается не столько на самом путешествии как самоценном явлении (например, тема, мотив, интертекст, хронотоп, топос, сюжет) бунинского мира, сколько на его актуализации общепринятой дифференциацией пейзажей. Отдельные элементы путешествия, прежде всего топос дороги, рассматриваются в контексте таких пейзажей, как городской, сельский, усадебный, лесной, морской, горный, пустынный, экзотический, свой/чужой, романтический, идиллический, реальный и вымышленный пейзаж; пейзаж-созерцание, настроение, воспоминание; современный пейзаж, пейзаж культурного прошлого; изображение времен года. Путешествие при таком подходе – это, преимущественно, проявление хрестоматийного литературного приёма открытой дороги, позволяющего сосредоточиться на многообразии событий, людей, вещей, явлений, но не на самом процессе, состоянии пути. При этом путешественник оказывается либо в относительно пассивной позиции наблюдателя смены мест, видов, встреч, впечатлений, событий, происходящих в дороге, либо в позиции странника, углублённого в главную цель своего путешествия и собирающего, выбирающего значимые и знаковые с этой точки зрения вещи, сведения, события, факты, явления, воспоминания. Проходимый им путь и то, какими и почему смыслами, настроениями он наполнен, рассматриваются не столько в качестве самостоятельно зна-

чимого явления, сколько в функционально-дополнительном смысле. Он воспринимается как репрезентация череды пейзажных открытий, впечатлений, даже откровений, безусловно влияющих на героя, зачастую определяющих его самосознание, но при этом и удаляющих на периферию момент, точнее, проблему странствия.

Процессуальность – столь важная составляющая любого путешествия, играющая ключевую роль в создании дорожного настроения, определяющая поступки и чувства при встречах и расставаниях путешественника и его близких, знакомых и незнакомых ему людей, случайных попутчиков, явлений, пейзажей, – оказывается необходимой, но не достаточной и, тем более, не самодостаточной частью путешествия. Процессуальность как основа мировосприятия путешественника, как возможность для осуществления дорожного настроения смещается в маргинальную область. Она нивелируется пейзажной составляющей путешествия, а иногда и отождествляется с простой сменой мест, видов, что естественно предполагает путешествие. Это неизбежно приводит к упрощению и обеднению понимания природы, роли, статуса и функций путешествия и путешественника в мире Бунина. Это в равной мере касается и «больших» путешествий, совершаемых героем на дальние расстояния и по различным культурам, временам, странам и городам мира; и «малых», почти незаметных, обыденных поездок, когда герой, кажется, и не выходит за пределы близкого, знакомого и давно обжитого мира. Путешествие – это переживание движения, состояния промежуточности положения и всего того, что помогает, затрудняет, усложняет их; что делает возможным или невозможным процесс приближения/удаления от цели странствования; того, что изначально задаёт, формирует цель поездки и даже кардинально её трансформирует. В этом смысле горы, равно как

и другие традиционные репрезентанты ландшафта, – не только часть пейзажа, но и ценностная составляющая проходимого и переживаемого пути. Они не могут не быть включены в столь значимое для бунинского героя состояние дорожного настроения. Это первая основная причина, побудившая рассмотреть проблему взаимоотношений путешественника и гор в мире Бунина.

Вторая причина заключается в том, что горы (не как пейзаж, а как ценностная составляющая путешествия) в бунинской прозе не исследовались. Горный пейзаж в самых общих чертах, наравне с другими проявлениями ландшафта, анализировался либо с позиции описания местности, впечатлений от неё героя, либо как составляющая странничества, паломничества по сакральным местам мировой культуры. Путешествие как процесс движения, встречи героя и гор, переживания дорожного настроения, обусловленного и общими свойствами этого настроения и вызванного собственно горами, фактически, не анализировался. Горный пейзаж рассматривался как данный, как почти неизменно существующий во времени и пространстве, принадлежащий определенной культуре, стране и открываемый в таком своём состоянии героем-путешественником, увиденный им сквозь призму исторической, религиозно-культурной памяти. Однако при этом и путешествие, и путешественник, и горы утрачивают самостоятельность. Герой оказывается всего лишь созерцателем горных пейзажей, ничем по сути не отличающихся от морских, степных, лесных, городских. Горы в мире Бунина лишаются еще и полноты, цельности того значения и той силы, которую они, вне зависимости от своей культурной, исторической известности или же безымянности, имеют над героем-путешественником.

Третья причина определена тем, что «текст гор» в прозе Бунина, во-первых, не был выделен и проанализирован;

во-вторых, изначально нивелировался как целостность в том смысле, что «разрывался» между различными, на первый взгляд действительно разнородными, разномасштабными пейзажами. Например, в рассказе «Перевал» (1892–1898) и цикле «Тень птицы» (1907–1911), на первый взгляд, описываемые горы действительно несопоставимы по своей культурной репрезентативности. Это и подталкивает исследователей рассматривать их в отдельных проблемно-тематических блоках. «Текст гор» при таком подходе утрачивает не только свою смысловую полноту, целостность, «закрывает» особенности своей эволюции внутри мира Бунина, но и не позволяет понять, что общего и что особенного в горах как ценностной составляющей феномена путешествий, дорожного настроения. Несмотря на то, что в прозе Бунина горы встречаются не так часто, как море, лес, степи, город, усадьба, однако они, рассмотренные в качестве смыслового, поэтико-эстетического единства, обнаруживают специфику формирования и развития самосознания героев. Герои-путешественники, сталкивающиеся с горами, начинают по-иному воспринимать себя, свои ощущения, поступки. Вопрос в том, почему горы, вне зависимости, будь то безымянная гора, через которую путешественник вынужден пройти, или Святые горы, к которым совершается паломничество, действуют одинаково на настроения и зачастую поступки героя?

Четвёртая причина обусловлена тем, что горы, как и море [Шестакова, 2011], для бунинского героя-путешественника играют особую роль в открытии и приобщении к тайне *Всебытия* и подлинности мира. Однако если восприятие и осознание моря – одной из превалирующих стихий у Бунина – изначально и естественно усложнено прапамятью мира и культуры, море есть один из признанных в мифологии и мировых религиях первоисточником всего сущего, храни-

телем тайн бытия, то горы находятся несколько в иной позиции. Несмотря на то, что «мифологические функции горы многообразны»⁹, всё же горы не обладают такой «полной совокупностью возможного» [Элиаде, 1999, с. 183], как водная стихия. Однако для Бунина горы не менее, чем море, значимы в становлении и формировании самосознания героя, прежде всего, героя-путешественника, приходящего, случайно или специально, на встречу к горам, хранящего память о них как «...невещественную, духовную, психическую и одновременно вещественную, биологическую связь со столь же таинственными духовно-вещественными основами бытия» [Мальцев, 1994, с.10].

Уже один из ранних рассказов Бунина «Перевал» (1892–1898), посвященный, казалось бы, незначительному событию – переходу человека через горный перевал, – сфокусировал внимание современной ему критики на особенностях формирования новой стилистики, психологизма, самосознания героя. В. Титова в «Комментариях» к Собранию сочинений Бунина отмечает: «...критика усмотрела в нём («Перевале». – Э.Ш.) определённый рубеж в творчестве писателя... <...> И. Джонсон писал: <...> “Теперь у писателя на первом плане только его настроение, теперь для него другие люди – только повод высказать свои чувства, мысли, ощущения” <...> А. Басаргин писал, что рассказы передают “жизнь настроения” и лишены “жизни людей”. Критик усматривал в этом своеобразный импрессионизм: ”...в “рассказах” г. Бунина перед нами какая-то отрывочная, неустановившаяся жизнь... Не человек строит свою судьбу, но судьба... через случайные

⁹ «Гора выступает в качестве наиболее распространённого варианта трансформации древа мирового. Гора часто воспринимается как образ мира, модель вселенной, в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства» [Мифы народов мира, 1998, т. 1, с. 311].

впечатления, которым она подвергает человека, бросает его то в одну, то в другую сторону, заставляя посменно переживать самые разнообразные настроения...» (курсив автора. – Э.Ш.) [Бунин, 1987, т. 2, с. 475–476]. Примечательно то, что эти, отмеченные критиками, принципиальные изменения в стиле Бунина впервые так сильно проявятся именно в рассказе о горах, точнее даже так: встречи одинокого путника и гор. Эта встреча одновременно разворачивается в двух взаимодополняющих направлениях: переход через горный перевал и погружение героем *внутри* своего настроения, мироощущения, прикосновение основам и правде самосознания.

Начинается этот рассказ в манере, которая впоследствии будет характерна для прозы Бунина и которую Ю. Мальцев определил как «...устранение всякой экспозиции вообще. <...> Этот модернистский принцип *in medias res*, эта безэкспозиционная и ничего не объясняющая заранее манера, активизирующая воображение читателя <...> получили в современной критике название – “эффект тумана”» [Мальцев, 1994, с. 109]. Первое предложение «Перевала» – это как бы естественное продолжение повествования, рассказ об известном читателю герое и ожидаемом событии:

Ночь давно, а я всё ещё бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идёт за мной в поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стремянами [Бунин, 1987, т. 2, с. 7].

Однако ни кто этот человек, ни то, почему ему понадобилось ночью совершать переход через перевал, ни куда, откуда и с какой целью он идёт, сообщено не будет. Как не будет и в ожидаемой реалистической манере изображён и процесс перехода.

Дорожное настроение героя изначально таково, что подталкивает его к необдуманному решению, воплощенному в нерациональном поступке: идти ночью через горы. Далекое не случайно, что второе предложение рассказа начинается новым абзацем и акцентирует внимание на осознаваемых героем опасностях и соблазнах горного путешествия:

В сумерках, отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начинается этот голый, пустынный подъём, я смотрел в необъятную глубину подо мною с тем особым чувством гордости и силы, с которыми всегда смотришь с большой высоты [Там же].

Несмотря на сумерки и ощущение серьёзности, тяжести перехода, герой выбирает продолжение пути. При этом явная неразумность поведения не объясняется ни героем, от лица которого ведётся повествование, ни возможностями авторской расстановки смысловых акцентов, проявления нюансов. Эта странность поведения, которую невозможно не заметить, так тонко и целенаправленно нивелируется переплетением оттенков душевных, эмоциональных состояний героя, его предельно чувственным восприятием первозданной красоты пейзажа и возможностью пережить почти первобытную борьбу с ним, что даже не возникает вопроса о целесообразности или же правомерности такого поступка путешественника. Однако эта странность концептуальна и предопределяет мироощущение героя. Изначальная странность ситуации – это фокусировка на самом путешествии, попытка приближения и уловления процессуальности, попытка разобраться в том, какими и почему смыслами, настроениями, возможностями наполнена она. Путешествие оборачивается не столько путём из одного места в другое, сколько процессом приближения героя к самому себе, вероятностью встречи со своими желаниями,

мечтами, утратами и ценностными ориентациями. Человек в странной ситуации, причём созданной им самим, – это и попытка Бунина проследить, как меняется личность в пограничных обстоятельствах, что является для неё ценностью, и как он к ней приходит.

Однако, несмотря на то, что Бунин концентрирует внимание на, казалось бы, трудностях ночного путешествия в горах одинокого человека, чувствах уставшего странника, это рассказ об ином, о том, что Ю. Мальцев обозначил как «...не традиционный психологизм, а знакомые каждому душевные состояния. <...> Это само присутствие жизни в чистом виде...» [Мальцев, 1994, с. 123, 132]. Уловить и передать такие душевные состояния, вернее даже *присутствие жизни в чистом виде*, возможно в движении, путешествии, когда герой погружается в проходимый путь и когда не он идёт, встречая события, вещи, предметы, явления, элементы окружающего мира, а они проявляются или нет на его дороге. Уже в самом начале перехода герой отмечает:

Темнело быстро, я шел, приближаясь к лесам – и горы вырастали всё мрачнее и величавее... [Там же].

Но приближение гор еще не означало их желания встретиться с путешественником:

Наступила ночь, и я долго шел под тёмными, гудящими в тумане сводами горного бора, склонив голову от ветра. «Скоро перевал, – говорил я себе. – Скоро я буду в затишье, за горами, в светлом, людном доме...» . Но проходит полчаса, час... Каждую минуту мне кажется, что перевал в двух шагах от меня, а голый и каменистый подъём всё не кончается [Там же].

Горы ускользают от героя. Они на протяжении всего перехода открывают для путника, актуализируют в нём те образы, мысли, идеи, которые хотят они. Но при этом горы не воспринимаются героем как живые, персонифицированные. Двумя живыми, чувствующими существами в горах оказываются только герой и его лошадь:

Единственное живое существо, оставшееся со мною!
[Там же, с. 8].

Однако горы – неперенное и необходимое проявление присутствия жизни в чистом виде, как это определил Ю. Мальцев.

Горы одновременно даются через набор, на первый взгляд, традиционных пейзажных явлений (лес у подножия, расщелины, провалы, пропасти, каменистые, голые тропы, туман, ветер, снег) и через вполне тривиальное настроение героя (беспокойство, страх заблудиться, напряжение, усталость, ужас, отчаяние, желание без происшествий совершить переход, попасть в привычный мир людей, огня и тепла). Однако и пейзажи, и эмоциональные состояния героя предельно актуализируются движением, процессом преодоления перевала, они насыщены ощущением вот здесь и сейчас проходимого пути. Для этого Бунин на протяжении всего рассказа использует нагнетание, во-первых, соответствующих глаголов (бреду, шёл, иду, прохожу, приближаюсь, пробираюсь, шагаю, спотыкаюсь, спускаюсь); во-вторых, – состояний, передающих темпоральные ощущения (наступает ночь; темнеет быстро; ближе к вершине повеяло зимней свежестью; понесло снегом и ветром; кажется всё вымерло на земле и уже никогда не настанет утро), и, в-третьих, – смену настроений, вызванных прохождением пути (я смотрел; мне кажется; я начинаю

уставать и дрогнуть; мне вспоминается несколько могил среди сосен недалеко от перевала; я чувствую, на какой дикой и безлюдной высоте нахожусь; я уже и теперь теряю представление о времени и месте; я дрожу от напряжения и усталости; я пытаюсь разглядеть; я вслушиваюсь, я различаю; мне уже всё равно; но я не тороплюсь; спотыкаясь, бреду как во сне). Герой оказывается в состоянии, которое будет характерно для экзистенциализма, – переживании критической, кризисной ситуации, вызванной той, предельной и как бы вдруг открывшейся возможностью ощутить и пережить сознание собственной смертности, конечности своего существования. Нарастание волнений героя, переданных одновременно и упорным повторением однозначных глаголов действия, и сменой оттенков эмоций, и описанием ночного горного тумана, – это масштабирование и своеобразное препарирование процесса двойного путешествия: через горы и к себе, подлинному, уловленному в поистине пограничной ситуации предельных жизненных обстоятельств.

При этом сами горы оказываются абсолютно отстраненными, безучастными по отношению к состоянию и героя, и мира в целом. Они первозданны и неизменны в своей самостоятельной и самоценной жизни. Герою, потерявшемуся в привычном ему времени и пространстве, испытывающему ужас от происходящего с ним («Боже мой! Неужели я заблудился» [Там же]), кажется, что «...будут только возрастать туманы, окутывая величавые в своей полночной страже горы...» [Там же]). Путешественник и горы оказываются один на один. Со стороны героя есть только он сам, наблюдающий эволюцию собственной безысходности, и уставшая, мокрая, озябшая лошадь, покорно идущая за ним. А со стороны гор есть стихии: туманы, ветер, снег, лес, глубокие долины, бездонные пропасти, дикие высоты, одинокие камни-памятники

и молчание самих гор. Эта абсолютная самостоятельность гор усиливается и тем, что они безлюдны. Безлюдность гор подчёркивается не только этим несколько раз повторенным словом, настроением одиночества и оторванности от людей, людского жилья, но и изменением временной системы координат у путника.

Дважды герой ощущает, что утратил пространственно-временные представления. Первый раз это ощущение возникает вскоре после начала подъёма, когда он видел «несколько могил среди сосен недалеко от перевала, где похоронены какие-то дровосеки, сброшенные с гор зимней бурей» [Там же], и его мучила необходимость пройти возле «одиноких камней-памятников» [Там же]. Второй раз, когда «ночь становится всё таинственнее» и «погас последний огонёк в глубоких долинах» [Там же]. Между этими повторяющимися острыми ощущениями, почти осознаниями потерянности в привычном времени-пространстве и проявляется культурная память героя как возможность прикоснуться и почувствовать присутствие жизни в чистом виде или, как впоследствии будут это определять экзистенциалисты, обнаружить и уловить бытие. В тот момент, когда чувство обреченности стало почти всепоглощающим, герой открывает в себе возможность увидеть проходимый им путь с другой точки зрения:

Не крикнуть ли? Но теперь даже чабаны забились в свои гомеровские хижины вместе с козами и овцами, – кто услышит меня? И я с ужасом озираюсь... [Там же].

В момент отчаяния, безысходности, максимального напряжения душевных сил и эмоций мир был увиден с позиции не только обыденных, по-человечески растерянных, смятенных мыслей, которые сделали пронзительно острым стремление выжить, подталкивали идти вперёд через перевал, но

с позиции качественно иного масштаба. *Гомеровские хижины*, потрясающие античной пластичностью, простотой, чеканностью, красотой и точностью эпического образа, мог увидеть только человек, ощутивший через прикосновение к отчаянию, возможности собственной смерти, непрерывное и неизменное существование жизни. *Гомеровские хижины* – это не только память культуры, не только память *литературной мифологии* [Фуко, 1997, с. 445], но и вероятность прикоснуться к прапамяти, её ценностным и константным смыслам, образам, идеям, обретающим для человека осязаемость в катастрофических ситуациях. *Гомеровские хижины* – это то, что выводит героя за пределы его обыденных человеческих эмоций, переживаний, страхов и позволяет ощутить своё существование в том смысле, что «... человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется» [Сартр, 1990, с. 323]. Возможность в кризисной ситуации увидеть и определить мир в античных координатах – это совершенный путешественником прорыв к себе, к своему подлинному определению. Странствие в собственные глубины обнаружило не только гамму незамутнённых, предельно индивидуальных эмоций, желаний, но и значимость прапамяти, которая для бунинского героя спасительна по своей сути. Показательно то, что потерянность героя исчезает, и он *как бы вдруг*, неожиданно для себя переживает ужас как чувство предельного и неотторжимого личностного ощущения себя и своего места в жизни. Происходит это в тот миг, когда он действительно увидел, ощутил *гомеровские хижины* на склонах встреченных им гор.

Предвосхищая открытия экзистенциализма, Бунин показывает, что человек в предельной кризисной ситуации, прикоснувшийся к тайнам существования и прапамяти, через ощущение ужаса смог вернуть себе понимание ценности жизни:

Но странно – моё отчаяние начинает укреплять меня! Я начинаю шагать смелее, и злобный укор кому-то за все, что я выношу, радует меня. Он уже переходит в ту мрачную и стойкую покорность всему, что надо вынести, при которой сладостна безнадежность... [Бунин, 1987, т. 2, с. 8–9].

Эта новая ценность проявляется и существует через оксюморонные, аномальные по своей природе, ощущения. Пограничная ситуация, созданная монументальным величием гор и беззащитностью, несовершенством человека, решившегося на одинокий ночной переход, оказалась для героя возможностью трансцендентального прорыва. Такого рода состояние жизни предполагает одновременно и абсолютное, трагическое одиночество человека и его стоически мудрое отношение и к себе, и к миру. Переход через горы для героя становится символом и ценностным способом видения, переживания жизни:

Сколько уже было в моей жизни этих трудных и одиноких перевалов! Как ночь, надвигались на меня горести, страдания, болезни, измены любимых и горькие обиды дружбы – и наступал час разлуки со всем, чем сроднился. И, скрепивши сердце, опять брал я в руки свой страннический посох. А подъёмы к новому счастью были высоки и трудны, ночь, туман и буря встречали меня на высоте, жуткое одиночество охватывало на перевалах... [Там же, с. 9].

Однако такого рода размышление героя не только продолжение традиций классической литературы и искусства, в основе которых хорошо разработанная система аллегорий (жизнь – трудный путь), но и предвосхищение установок неклассической культуры.

Путешествие – встреча с горами – дало возможность герою, фактически, собственно экзистенциальным образом встретиться с собою подлинным и обнаружить живую жизнь (бытие) через прямой, личностный, насыщенно эмоциональный доступ. Переживание ужаса, безысходности и прорыва к ценности жизни через оксюморонность обнаружило возможность вернуться к радости простоты человеческого существования:

...только на заре удастся, может быть, уснуть где-нибудь мертвым сном, – сжаться и чувствовать только одно – сладость тепла после холода [Там же].

Но это переживание одновременно заставило понять, что индивидуальное существование и путь больше не могут мыслиться тривиально, и вынудило героя поставить экзистенциальный вопрос себе:

Где-то упаду я и уже навсегда среди ночи на голых и от века пустынных горах? [Там же].

Такая традиция восприятия гор, точнее, путешествия к ним, будет характерна для бунинского мира в целом. Горы постоянно предстают и как путь, который к ним или же через них необходимо пройти; и как место паломничества; и как взятый на себя героем обет странничества по трудным или же особенным для культурной памяти местам; и как возможность остаться наедине с собою, одинокого скитания по глубинам своего я; и как стремление к дистанцированию от привычного уклада жизни, созерцательности через любование, прикосновение к пейзажам. При этом горы всегда безлюдны. Они наполнены естественными стихиями ветра, воды, снега, тумана, присутствием животных, но не людей. Люди могут быть у подножия гор, но не в горах. Одинокий герой-созер-

цатель – это почти всегда единственный человек в бунинских рассказах о горах, точнее непосредственной встречи с ними. Если для рассказов о путешествии к сакральным, знаковым местам культуры («Святые горы», 1895; цикл «Тень птицы», 1907–1911), такое восприятие гор не вызывает особых вопросов и в общем было отмечено литературоведами, то для произведений о безымянных горах или же о странных горных походах, наоборот. Возникает ряд проблем, обусловленных тем, что горы в мире Бунина постоянно сопряжены с идеей поступка, жизненного выбора. Они совершаются в самом банальном путешествии, но в проявившейся странной ситуации, когда обыденное и бытийное встречаются на территории чувства, мысли героя, а затем, как правило, осуществляются в каком-то его необычном поступке. Путешествие к горам – это всегда путешествие за пределы привычного мира, прорыв к смыслам, которые существуют в состоянии безлюдности.

Небольшой ранний рассказ «Тишина» (1901) начинается, как и большинство произведений Бунина, с констатации и детализации события путешествия:

Мы приехали в Женеву под дождем, ночью, но к рассвету от дождя осталась только свежесть в воздухе [Там же, с. 209].

Как и в рассказе «Перевал», и большинстве рассказов о путешествиях, герои не названы. Их два: тот, от лица которого ведётся повествование, и его спутник, который определяется через единственное именование – «товарищ». Как и в «Перевале», нет объяснений причин или цели поездки, а есть только отрывочное, брошенное в утреннем разговоре путешественников вскользь замечание:

Ты заметил, что в первый день после нашего приезда куда-нибудь – непременно погожий? [Там же].

Можно лишь догадаться, что герои, как и большинство людей их круга, совершают длительное заграничное путешествие от скуки и для знакомства со взрослой, самостоятельной жизнью. Хотя снова-таки, как и в «Перевале», перед нами не только описание путешествия в Женеву, на озёра и к Савойским горам, но рассказ и о пути молодых людей к своим подлинным желанием, ценностным установкам, а также о странничестве во времени, по глубинам и осколкам памяти о своей юности. Он заканчивается обращением, которое изначально не рассчитано на ответ:

Товарищу, с которым я пережил так много в пути, одному из немногих, которых я люблю, посвящаю эти немногие строки. Посылаю мой привет всем друзьям нашим по скитаниям, мечтам и чувствам [Там же, с. 212].

Как и «Перевал», рассказ назван «Тишина» из-за гор:

– Вот мы и в горах, – сказал мне товарищ, когда пароход стал, сокращаясь, удаляться. – Жизнь осталась где-то там, за этими горами, а мы вступаем в благословенную страну этой тишины, которой нет имени на нашем языке [Там же, с. 211].

И мысленный ответ героя на эту реплику:

Где-то в горах, – думал я, – приютилась маленькая колокольня и одна славит своим звонким голосом мир и тишину утра, призывая идти к ней по горным тропинкам, над голубым озером... [Там же].

Горы снова оказываются самоценными в своем существовании, безлюдными и не знающими, не принимающими обычную жизнь людей.

Эта самостоятельность жизни гор двойственна. Она презентуется для героев сложной игрой с ними гор. Савойские горы изначально чужие для путешественников. Они знакомы только и желанны для путешественников по детским воспоминаниям, созданным книжной культурой:

А вон Савойя – родина тех самых мальчиков-савояров с обезьянами, о которых читал в детстве такие трогательные истории! [Там же, с. 210].

Вследствие этого Савойские горы, на первый взгляд, оказываются недоступными для подлинных индивидуальных чувственных ощущений. Они – всего лишь воплощенная и, казалось бы, вполне достигнутая детская мечта: увидеть то, о чём узнал из книг. Дорожное настроение, ожидания и радости сбывшегося желания, с которыми герои приехали к Савойским горам, как бы оправдались:

Помнишь колокол Кёльнского собора? <...> Помнишь орган в соборе и всю средневековую красоту его? Рейн, старые картины, Париж... Но это не то, это лучше... [Там же, с. 211].

Но горы закрываются в восприятии героев литературной культурой, точнее, даже *литературной мифологией* (М. Фуко): глядя на горный пейзаж, путешественники вспоминают Манфреда, Деву Гор, Майю, Шелли, Байрона, Мопассана, Ибсена, бывших на этом озере и в этих горах. Припомненные героями поэты, писатели, созданные ими персонажи, относятся к романтической линии художественной литературы. Эти художники – тонкие психологи, стремящиеся уловить в слове

оттенки эмоций, переживаний ищущих, страдающих, мятежных личностей. Они известны в том числе и тем, что создали образы и индивидуально-авторские миры, основанные на интерпретации образов и символов мировой мифологии и религий. Вполне естественным может показаться, что через такое припоминание (впечатлений от прочитанных в детстве книг и знакомых по культурной и литературной традициям образов, художников) и происходит прикосновение к прапамяти, приобщение к тайне *Всеединства*. Однако это не так. Савойские горы, как и безымянные горы в «Перевале», не персонафицированы и даже более того, они «не откликаются» на попытки героев увидеть, приблизить их сквозь призму созданной романтиками и принятой просвещенными читателями мифологии:

Манфред в Бернских Альпах, у водопада. Полдень. Он произносит заклинания, берет пригоршни воды и бросает ее в воздух. В радуге водопада появляется Дева Гор... Как это прекрасно! Вот сейчас я подумал, что влаге можно поклоняться, как поклонялись огню... До чего же это понятно – обожествление природы! [Там же].

Дорожное настроение, несмотря на полную и, казалось бы, его идеальную реализацию для путешественников в сбывшемся ожидании встречи детских, юношеских желаний и реальности, оборачивается иронией. Обожествление природы, её мифологизация великими художниками – действительно уже слишком понятны тонким, чутким, культурным, умным путешественникам, но что стоит за таким пониманием? Что оно значит и что может и не может дать человеку, который хочет сам и, главное, непосредственно ощущать мир во всём его природном, культурном многообразии?

Именно это понимание, которое является для образованных молодых людей неотъемлемой и обязательной частью путешествия по миру и которое базируется на заданных, чужих образах, идеях, чувствах, – это конец пути. Точнее даже так, – это невозможность иного, более важного для личности пути, выявляющего и определяющего её сущность. В таком пути главное – предельно личностные эмоции, состояния и личностно же ответственное, честное признание того, что «...насколько чуждым в своей независимости от нас является камень, с какой интенсивностью нас отрицает природа, самый обыкновенный пейзаж. <...> Стоит понять это, и окрестные холмы, мирное небо, кроны деревьев тут же теряют иллюзорный смысл, который мы им придаём. Они отныне будут удаляться, превращаясь в некое подобие потерянного рая. Сквозь тысячелетия восходит к нам первобытная враждебность мира. Он становится непостижимым, поскольку на протяжении веков мы понимали в нём лишь те фигуры и образы, которые сами же в него и вкладывали... Становясь самим собой, мир ускользает от нас» [Сумерки богов, 1990, с. 230–231]. Ускользание мира – это путь к постижению его подлинности и самоценности вне узких рамок человеческих представлений. Понимание и ощущение при таком взгляде на себя и на мир – это принципиально различные пути: к рациональному, в дальнейшем, возможно, даже обывательскому мировоззрению и предельно личностному, чувственному мировосприятию, когда главное ощутить, прикоснуться к тайне *Всебытия* и подлинности мира. При этом выбор пути, как выбор своей сущности, свой проекции, в понятиях экзистенциализма, своего дальнейшего существования, всегда остаётся за человеком, за его умением, желанием и возможностью быть чутким. Герои Бунина испытывают и переживают этот выбор в горах, когда, с одной стороны, Савойские горы наполнены,

хотя и сильными, но всё равно готовыми литературными образами, чужими переживаниями известных и безымянных людей, побывавших на них, горы как бы «говорят» языком других людей. С другой стороны, герои оказались способны слышать, уважать и принимать тишину гор. Тишина гор – это истинный язык гор, которым ускользающий мир говорит с человеком. Тишина гор – это указатель чуткому страннику пути к себе, к счастью подлинности. Герои Бунина, несмотря на молодость, на только что пережитое, пришедшее понимание красоты природы, воспринимаемой сквозь призму литературной культуры, способны идти дальше и формулировать с предельной однозначностью онтологические вопросы:

Какое это великое счастье – жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в не-правильности нашей жизни? [Там же, с. 211–212].

Эти вопросы, предвосхищающие основные проблемы экзистенциализма, который «...решительно ставил в центр внимания *индивидуальные смысложизненные вопросы* (вины и ответственности, решения и выбора, отношения человека к своему призванию и смерти)...» (курсив автора. – Э.Ш.) [Соловьев, 1991, с. 286], значимы и для героев, и для бунинского мира в целом. Они возникают в тот момент, когда герои сталкиваются с тишиной гор и слишком понятным языком культурной и литературной памяти. С этих вопросов, обнажающих ценность личностного незнания и непонимания, казалось бы, простых вещей и явлений, начинается путь человека к своему существованию. Эти вопросы – показатель возможности или невозможности для человека мыслить, когда, по убеждению А. Камю, «мыслить – значит научиться заново ви-

деть, стать внимательным; это значит управлять собственным сознанием, придавать привилегированное положение каждой идее и каждому образу. Парадоксальным образом все привилегированно» [Сумерки богов, 1991, с. 240]. Ответы на эти вопросы герои рассказа нашли в отклике тишины, самооценности и безлюдных гор:

Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия которой мы стоим, и что счастье только в ней [Там же, с. 212].

Но возможность счастья у И. Бунина – это всегда только обещание счастья и абсолютное одиночество человека, совершающего выбор себя. Особенно отчётливо это осознаётся героями в горах, путешествуя через которые, они должны уединенным образом пережить самые сокровенные события своей жизни. Наряду с поисками основ, принципов и ориентиров для онтологических проблем собственного существования, к ним относятся в бунинском мире любовь, печаль расставания и «безотчётные радости молодости» [Там же, с. 439]. Пережив на горном перевале подлинную и высокую грусть, страдание разлуки, герой рассказа «С высоты» (<1904>), подобно героям «Перевала» и «Тишины», встретился с безлюдностью гор, но услышал еще один вариант безмолвствия гор:

Но мёртвое молчание гор окружало меня. Как всегда в лучшие мгновения моей жизни, я был один. И если бы я заплакал горячими слезами страстной скорби, никто бы не увидал моих слёз. И если бы я крикнул – дико и весело, как молодой орёл – от страстной радости жизни, никто не ответил бы мне на этот крик, кроме звонкого и жуткого голоса природы – горного эха [Там же, с. 440].

Путешественник и горы, как всегда в мире Бунина, остаются один на один, предоставляя друг другу предельно честную возможность быть сами собой.

Впоследствии в бунинском мире герои всегда будут обращаться, – то специально встречаясь, то *как бы* нечаянно сталкиваясь, – с самостоятельностью, самооценностью и тишиной, молчанием безлюдных гор, когда окажутся в кризисных жизненных ситуациях («В Альпах», <1902>; «Маленький роман», 1905–1926; «Остров Сирен», <1932>; «Кавказ», 1937; «Генрих», 1940). И каждый раз будут получать жизненно важные ответы на те вопросы, которые *как бы* непосредственно здесь и сейчас перед ними будет ставить жизнь. Но в глубине этих вопросов и ответов – онтологический страх не найти своё подлинное существование, не почувствовать путь, ведущий к нему. Бунинские герои-путешественники – это во многом предчувствие экзистенциальных героев, когда человек, «именно проектируя себя и теряя себя вовне, он существует как человек», «преодолевая самого себя, он находится в сердцевине, в центре этого выхода за собственные пределы» [Сумерки богов, 1990, с. 343]. Горы, которые встречаются на пути героев, – это одно из значимых проявлений жизни в её чистом виде. Оно осуществляется через чувственные ощущения и интеллектуально-интуитивное прозрение героя, открывшего, обретшего в себе возможность достойно пережить кризисную ситуацию и слышать подлинный язык ускользающего мира.

Литература

Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Художественная литература, 1988.

Вазина М.Ф. Природа в прозе И.А. Бунина. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2000.

Владимиров Н.О. Роль сонета «В Альпах» в самоопределении Бунина-поэта // Сибирский филологический журнал. 2015. № 1. С. 36–42.

Галямова Т.А., Эртнер Е.Н. Образ русского поля в романе И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» // Вестник Тюменского гос. ун-та. 2012. № 2. С. 120–125.

Громова-Колли А.В. «Путевые поэмы И.А. Бунина (проблематика, жанр, поэтика) // И.А. Бунин и русская литература XX века: По материалам Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения И.А. Бунина. М.: Наследие, 1995. С. 37–40.

Захарова В.Т. Проза Ив. Бунина: аспекты поэтики. Нижний Новгород: Изд-во НГПУ, 2013.

Зеленцова С.В. Сюжетно-композиционная функция пейзажа в рассказах И. Бунина (на материалах произведений до 1917 года) // Учен. зап. Орловского гос. ун-та. Сер.: Социальные и гуманитарные науки. 2013. № 2 (52). С. 166–172.

Зеленцова С.В. (а) Функции пейзажа в малой прозе И.А. Бунина (на материале произведений 1892–1916). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2013.

Исаев Г.Г. Репрезентация природы Ближнего Востока в художественно-документальном дискурсе И. Бунина (цикл «Тень птицы») // Гуманитарные исследования. 2010. Вып. 1 (33). С. 163–172.

Капинос Е.В. Поэзия Приморских Альп. Рассказы И.А. Бунина 1920-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2014.

Латухина А.Л. Цикл «путевых поэм» И.А. Бунина «Тень птицы»: проблема жанра. Автореф. дис. ... канд. филол. наук, Нижний Новгород, 2004.

Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74–87.

Мальцев Ю. Иван Бунин. Франкфурт-на-Майне – Москва: Посев, 1994.

Мифы народов мира. Энциклопедия / гл. ред. С.А. Токарев: В 2 т. М.: Большая Российская Энциклопедия, Олимп, 1998.

Михеичева Е.А., Зеленцова С.В. Пейзаж как форма психологизма в ранних рассказах И.А. Бунина // Учен. зап. Орловского гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2012. Вып. № 2. С.155–159.

Руднева О.В. Концептуализация пейзажа в малой прозе И.А. Бунина (лингвостилистический аспект). Автореф. дис. ... канд. филол. наук, Сургут, 2007.

Семенова Р.Э., Чанкаева Т.А. Природа Кавказа как концепт художественного и нравственного мировосприятия русских писателей // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2014. № 1 (134). С. 162–166.

Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории и философии культуры). М.: Политиздат, 1991.

Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990.

Шестакова Э.Г. Диалог души и моря в мире И.А.Бунина. // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Вип. XXIV. Ч. 2. Бердянськ: БДПУ, 2011. С.94–108.

Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / пер. с англ. М.: Ладомир, 1999.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997.

E.G. Shestakova

Donetsk, Ukraine

**TRAVELER AND THE MOUNTAINS:
FEATURES OF SELF-CONSCIOUSNESS OF HERO
IN SHORT PROSE BY I.A. BUNIN**

Abstract. The article describes the forming of self-consciousness of I. Bunin's hero in his short prose. The attention is focused on the following conceptual points.

First, the travel, the traveler and the traveling mood are one of the basic value characteristics of Bunin's world, forming the specifics of his psychological environment.

Second, “the text of the mountains” has not been described as such in Bunin’s prose, and the mountains (not as a landscape, but as a value component of travel) have not been studied yet.

However, despite the fact that the mountains are not as common as the sea, forest, steppe, town, homestead in Bunin’s prose, they can be considered as a meaningful, poetic and aesthetic unity and display the peculiarity of characters’ self-consciousness.

Third, the traveling characters start to perceive themselves, their feelings and actions differently than before journey.

The changes of behavior and attitude are determined by the meeting with the mountains.

Fourth, the mountains, be it a nameless mountain the character passes, or the mountains of Savoy, his point of destination, affect equally on his mood and behavior. This fact can be explained by the existential perception of the world.

Just as in his short prose I. Bunin anticipated.

Keywords: travel, traveling mood, traveler, “the text of the mountains”, psychology, self-consciousness of the hero, cultural memory, literary memory, existentialism

Information about the author. Shestakova Eleonora Gheorghievna, Doctor of Philology (Ukraine, 83062, Donetsk, str. Kuibysheva, 2, apart. 29. Tel. (8066) 2693478. E-mail: shestakova_eleonora@mail.ru).

РАЗДЕЛ III ТРАВЕЛОГ И ЖАНР: НАРРАТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ ТРАВЕЛОГА

Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов

*Тверской государственный университет
Московский государственный университет дизайна и технологии*

ТРАВЕЛОГ КАК ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР¹

Статья первая

Аннотация. В статье исследуется проблема документализма травелога как документального жанра. Вопрос о документализме (установке на документальность) в современной науке ставится вне исторического контекста, почему заведомо оказывается нерешаемым. В настоящем исследовании предложена историческая трактовка этого явления, с учетом эволюции представлений о документализме в процессе развития словесности на этапах дорефлекторного и рефлекторного традиционализма и художественного антитрадиционализма. Инструментом решения проблемы служит понятие культурной дистанции. В травелогах дорефлекторного традиционализма культурную дистанцию определяют возможности коммуникации путешественника и автохтона, обусловленные национальными и языковыми факторами; при всей установке автора на непосредственное восприятие действительности отражение ее в травелоге всегда характеризуется этнолингвистической относительностью (ограниченностью). В травелогах рефлекторно-

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Тверской области научного проекта «Верхневолжские водные пути в русской культуре», проект № 14-14-69002.

го традиционализма функционируют субъективные, ситуационные ограничения документальности, вызванные пространственными, временными и социальными факторами. Одним из предельных случаев ограниченности документализма является неизбежная в дипломатических травелогах ангажированность. В травелогах эпохи рефлекторного традиционализма активно используются приемы искажения пространства и времени: стяжение пространства, смещение временных вех, деформация пространственных отношений между объектами, замещение реального описания вымышленным или изложением фольклорных записей, беллетризация повествования, редуцирующая жанр к уровню масс-культуры. Возникновение на рубеже XIX–XX веков «полевых» травелогов, отражающих личное освоение автором того или иного культурного пространства России, свидетельствует о переходе жанра на позиции художественного антитрадиционализма. Вследствие совмещения авторами разных подходов, по мере насыщения книжного рынка травелогами и путеводителями, в общественном сознании формируется определенный образ пространства, культурные признаки которого могут быть довольно далеки от реальной действительности. Анализ фактической достоверности травелога как документального жанра заставляет иначе взглянуть не только на самый этот жанр, но и на проблему документализма в искусстве вообще.

Ключевые слова: путешествие, травелог, принцип документализма (установка на документальность), культурная дистанция, этнолингвистическая относительность, субъективные/ситуационные ограничения документальности, адекватность описания и предмета описания, «полевой»/книжный травелог.

Сведения об авторах. Милюгина Елена Георгиевна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет» (Тверь, ул. Желябова, д. 33; 8(4822)426380. E-mail: elena.milyugina@

rambler.ru); Строганов Михаил Викторович, доктор филологических наук, профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и технологии», Института славянской культуры, директор научно-исследовательского Центра краеведения и этнографии (Москва, Хибинский проезд, д. 6; 8(4822)358204. E-mail: mistro@rambler.ru).

В своем освоении проблемы травелога авторы этой работы несколько раз переключали свое исследовательское внимание с одних аспектов на другие. Первоначально мы пытались создать типологию травелогов в зависимости от целевой установки путешественника, что делали и предшественники, и наша типология может быть оценена лишь как систематизация предшествующего опыта. Эта типология, «от субъекта»: какую цель преследую, так и строю свое повествование [Милюгина, Строганов, 2013а] – наиболее очевидна. Затем мы поставили характер травелога в зависимость от природной обусловленности путешествия, то есть в зависимость от стихии пространства и от способа его преодоления, от способа путешествия. Эта типология, «от объекта»: какая стихия предстоит мне в процессе путешествия, таким будет и травелог [Милюгина, Строганов, 2015а, 2015b] – менее очевидна. В самое последнее время нас стали интересовать не субъектно-объектные отношения в построении травелога, а природа самого травелога, предумышленная его жанром. Если и возможна какая-либо типология с этой точки зрения (ответ на этот вопрос станет очевидным, когда наши читатели примут или опровергнут излагаемую здесь позицию), то она должна быть сформулирована следующим образом: степень документализма травелога как документального жанра. Отдельные, очень робкие шаги в этом направлении мы сделали в некото-

рых предыдущих публикациях [Милюгина, Строганов, 2013b, 2016], а в настоящей работе мы намерены несколько систематизировать свои мысли.

Совершенно очевидно, что травелог является документальным жанром и что поэтому ему свойствен принцип документализма. При подготовке свода путешествий по Тверской земле [Тверь в записках путешественников, 2012, 2013, 2014] мы руководствовались именно этим принципом травелога. Однако в процессе комментирования нас ожидали некоторые непредвиденные проблемы. В первых двух томах нашего свода, где были помещены старинные путешествия, объем комментария был очень большим и подчас превосходил объем комментируемого текста. Это можно было бы объяснить тем, что в данных томах отразились наши первые шаги в процессе комментирования и мы только искали адекватное решение задачи. Но настоящая, истинная причина состояла в большой культурной дистанции между комментируемым текстом и нами: авторами комментария и читателями травелога. Многие реалии, которые описывал автор травелога, мы вынуждены были объяснять потому, что к настоящему времени они исчезли, и комментаторы должны были реконструировать их. Именно так в комментариях к путешествиям допетровского и петровского времени мы реконструировали топографическую и политическую структуры древних Твери, Торжка и Ржева, оборонительные сооружения Тверского кремля (XII век, уничтожен пожаром 1763 года) и древнего Торжка (XIII–XIV века, не сохранились), деньги великого княжества Тверского (XIV век), утраченные ныне селенья (например, с. Воскресенское-Шоша XVII века) и упраздненные монастыри (например, Ильинский Отроковичский монастырь XVI века), царские путевые дворцы, дохристианские могилы и другое.

Однако пространный комментарий был необходим в немалой степени и потому, что автор травелога описывал свои объекты так, что современный человек с трудом находил их в окружающем его пространстве, даже если они существуют и в настоящее время. Таковы авторские описания рек, которые изменили свои исконные русла в связи с созданием искусственных водных путей и водохранилищ (Цна, Тверца, Шлина, отдельные участки Волги), погостов и ямов, которые ныне стали селами и городами (Хотилово, Вышний Волочек, Выдропужск, Медное, Завидово). Таковы упоминания мигрирующих этносов (тверские карелы), христианских и народных праздников, обычаев (Крещение, Большое и Малое Водосвятие, Ярила, семик, мясоед). В результате мы выявили основные факторы, определяющие культурную дистанцию: пространственный, временной, этносоциальный.

Уже при подготовке третьего тома мы ощущали избыточность обстоятельного комментария. А в процессе подготовки четвертого тома нашего свода, который включает в себя травелоги конца XIX – начала XX века (он, к сожалению, еще не издан), мы обнаружили, что уровень исторического знания автора травелога подчас практически не отличается от современного. Если и существуют различия между нами и авторами травелога, то основа их не в разнице культурных кодов. Различие их похоже на разницу точек зрения историков на одни и те же исторические данные. Важные для профессиональных историков, эти различия для широкого читателя, каковым и является читатель травелога, оказываются совершенно нерелевантными и ничего не добавляющими к пониманию текста. Для широкого читателя гораздо важнее та узнаваемая номенклатура репрезентативных объектов, преданий, явлений, которая сложилась в культуре и которая позволяет провести процедуру идентификации при ознакомлении с текстом. Так,

например, современный читатель и без нашего комментария знает, что такое пожарские котлеты... Но тут мы должны сделать некоторое отступление собственно о пожарских котлетах, которое, впрочем, объяснит проблему документализма и комментария как таковую.

Что знает современный человек о пожарских котлетах и много ли добавит к этому знанию любой обстоятельный комментарий? Известно, что пожарские котлеты были очень вкусны и готовились по какому-то особому рецепту, не зафиксированному в печатных источниках. Поэтому совершенно очевидно, что ни авторы настоящего комментария, ни кто-то другой не может определенным образом решить вопрос о рецептуре этих котлет: сколько старинных рецептов ни собирай, ни один из них не поможет однозначно и определенно сказать, какого из этих рецептов придерживалась Дарья Пожарская.

Более того, можно очень подробно комментировать стихи Пушкина:

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке [Пушкин, 1948, с. 34].

То есть можно сто раз повторить, что Пушкин никогда не останавливался в той гостинице, которая сейчас известна под именем Пожарских, так как ее в пушкинские времена еще не было. Можно сто раз повторить, что рецептура котлет не сохранилась. И всё равно современный человек будет считать, что Пушкин останавливался в этой гостинице и ел именно те котлеты, которые сейчас подают под именем пожарских. Мифологическая картина мира всё равно оказывается более адекватной и более реальной, чем сугубо научная.

Принимая во внимание данные соображения, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о документализме, который и требует разрешения. Вопрос о документализме в современной науке ставится вне исторического контекста, почему заведомо оказывается нерешаемым. Именно поэтому мы вынуждены сейчас предложить историческую трактовку этого явления, хорошо понимая, что оно требует отдельного самостоятельного исследования.

Представление о документализме (фактически мы говорим об установке на документальность) в процессе исторического развития словесности пережило весьма существенную эволюцию. Словесность дорефлекторного традиционализма² не знает деления на fiction (вымысел) и non-fiction (документальность). Гомер в «Илиаде» и Эсхил в «Орестее» описывали историю древних (до них живших) греков такой, какой она была (по их представлениям) на самом деле. Любая выдумка в этой ситуации противоречила бы принципу подражания жизни, который лежал в основе дорефлекторного традиционализма. Фольклор рассказывает только о том, что было и есть, это для более позднего, авторского сознания «сказка ложь». Даже Шекспир еще не сочиняет свои сюжеты, а берет их в древних хрониках: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Достоверность (документальная, историческая точность) – вот единственное, что интересует человека дорефлекторного традиционализма.

В эпоху рефлекторного традиционализма мы видим иную тенденцию. Вымысел начинает активную экспансию на территории, которые прежде безраздельно принадлежали документальной точности. Для своего утверждения вымысел начинает доказывать, что он точнее дотошной достоверности.

² Здесь и далее мы используем термины исторической поэтики, предложенные С.С. Аверинцевым, но в своей трактовке; см.: [Строганов, 2007].

Когда античные авторы стали «вымышлять» (выдумывать сюжеты и сюжетные положения), они убеждали себя и других, что всё, что они описывают, имело место быть на самом деле. Так, Вергилий в «Энеиде» досочиняет некоторые стыки между эпизодами, которые были известны и до него, чтобы соединить древнегреческую историю с римской современностью, но выдает эти вымышленные эпизоды за правду-истину. Впоследствии этот принцип будут неоднократно повторять все дворянские и княжеские роды, возводя себя к самым истокам истории. Этой наивной ложью люди убеждали не только других, но в первую очередь и себя в том, что они на самом деле принадлежали к древним дворянским родам. В дальнейшем агрессия вымысла пошла и в другом направлении. Когда Байрон рисует вымышленных Каинов и Манфредов, он утверждает, что показывает самую правду о человеке своего времени. Пушкин иронизирует, утверждая одновременно, и что дружил с Евгением Онегиным, и что сочинил его, и что сочинил Татьяну Ларину, и что хранит ее письмо. Гоголь глумится над читателем, не сообщая, в каком департаменте служил Акакий Акакиевич, и подчеркивая таким образом, что его выдумка, его гротесковый стеб адекватнее по отношению к действительности, чем унылая документальность.

Но уже Достоевский («фантастический реализм») и Салтыков-Щедрин на разные лады повторяют и демонстрируют, что жизнь гораздо более фантастична, чем литература, из чего следовало, что литература является non-fiction по отношению к жизни (fiction жизни). В литературе антитрадиционалистских тенденций буржуазной эпохи non-fiction начнет возвращать свои потерянные территории. Во-первых, установка на документализм завоевывает себе читателя, который, оказывается, любит достоверные истории гораздо больше выдуманных романов и стихов. История отношений Анны Керн и Пушкина

известна и тем, кто не читал и не помнит стихов «Я помню чудное мгновенье...». При этом не важно, что именно в этой истории отношений Керн и Пушкина соответствует правде, а что выдуманно. Писатель начинает спекулировать на этой любви читателя к документу. Сначала появляются пастиши (Омер де Гелль), а потом — романы в форме пастишей («Записки Д'Аршиака»), жанровые формы документальности становятся всё более и более разнообразными. «Автобиографические» повествования от «Bound for Glory» («На пути к славе») Вуди Гатри до «Похороните меня за плинтусом» П. Санаева заменили собою роман. И даже роман становится гораздо более привлекательным, если читатель знает о прототипической основе его героев, или сюжета, или, на худой конец, каких-то эпизодов. Книга убеждает не тем, как написана, а тем, что всё в ней — правда. Читатель с удовольствием покупает и плохие, и хорошие книги о Пушкине, Сталине, Ленине, Алле Пугачевой, о любой более или менее известной личности. Сам проект выставок литературы non-fiction, конкурсы литературы non-fiction свидетельствуют о том, что культура достаточно быстро устала от fiction и хочет только одной голой правды.

И вот на этом историческом фоне мы должны осмыслить документальную природу травелога.

По большому счету, документализм травелога предполагает установку на наивное, непосредственное восприятие действительности, когда рассказчик (автор травелога) оказывается «чужаком» из анекдота: что видит, то и говорит. Эта тенденция берет свое начало в травелогах дорефлекторного традиционализма. Мы не располагаем большим количеством соответствующих текстов; на русском материале сюда можно было бы отнести только хождение апостола Андрея. Летописное повествование о миссионерском путешествии апостола в Новгородские земли включает в себя и рассказ самого Андрея:

Диво видел я в Славянской земле <...>. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются мытелью, и возьмут веники, и начнут хлестаться, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят не мытье себе, а <...> мученье [Повесть временных лет, 1997, с. 67].

Неравнодушный к чужим культурам, апостол Андрей описывает русскую баню довольно подробно и точно, если иметь в виду внешнюю точку зрения. Не вполне понимая увиденное, он домысливает его суть и в результате убеждает себя и своих слушателей в том, что мытье славян – нечто вроде экстатического самоистязания.

В этой установке «как чукча» заключена огромная сила документального жанра, который представляет своему читателю (зрителю) всё общеизвестное так, что заставляет читателя (зрителя) воспринимать это общеизвестное как увиденное впервые, «с любопытством иностранки». Именно поэтому мы в самом начале нашего изучения травелога разграничили позицию автора травелога (путешественника), глядящего на описываемые предметы со стороны, и позицию автохтона, который всё, что описывает путешественник, видит многократно и потому уже не замечает. Так возникает проблема культурной дистанции, определяющая жанровую природу травелога.

Культурная дистанция, как свидетельствует о том и хождение апостола Андрея, существовала и существует всегда, но отмечается лишь путешественниками, равнодушными к чужой культуре. Впрочем, если в истории и встречались абсолютно равнодушные к культурному пространству посещаемой страны путешественники, то травелогов они не писали, поэтому речь не о них. Речь о том, в какой мере и степени автор травелога проявляет равнодушие к культурному про-

странству, какими причинами (историческими, этническими, социальными, личностными) оно обусловлено и при помощи каких знаков оно выражено.

Путешественникам допетровского времени (это были иностранные послы), судя по травелогам, важно составить ментальную карту путешествия и дополнить ею имеющиеся хождение бумажные карты. Поэтому в своих травелогах они в первую очередь отмечают географические объекты, расстояния между ними и способ перемещения из одного пункта в другой. В путевых записках австрийского посла С. Герберштейна (1517) читаем:

...мы прибыли, проехав семь миль, в Хотилово (Chotilowa), ниже которого переправились через две реки – Шлину (Schlingwa) и Цну (Snai) в том месте, где они сливаются и впадают в реку Мсту, и достигли Волочка (Wolochak); там в день Пасхи мы отдохнули. Затем, сделав семь миль и пересекши реку Тверцу, <мы прибыли> в городок Выдропужск (Wedrapusta), расположенный на берегу, и, спустившись оттуда вниз по реке на 7 миль, <достигли> города Торжка (Dwerschak, Dworsackh), в двух милях ниже которого переправились на рыбацкой лодке через реку Шаногу (Schegima) и отдыхали один день в городке Осуге (Ossoga). На следующий день, проплыв семь миль по реке Тверце, мы пристали к Медному (Medina, A Medna). Отобедав здесь, мы опять сели на наше суденышко и через семь миль достигли славнейшей реки Волги, а также княжества Тверь. <...> мы добрались до городка Городни (Gorodin), расположенного на Волге, в трех милях (от монастыря). Откуда прямо в Шошу (Schossa), три мили, Шорново (Dschorna), почтовую станцию, три мили, городок Клин (Clin), расположенный на реке Януге (Januga) [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 24–25].

Эта же тенденция актуальна и для путешественников петровского времени: датского дипломата Ю. Юля (1709), ганноверского резидента при русском дворе Ф.Х. Вебера (1716) [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 43–46, 51]. И лишь после того, как все топонимы и расстояния учтены, иностранный путешественник XVI–XVII веков обращает внимание на культуру посещаемого места. Именно такой порядок знакомства с культурным пространством маршрута отмечает датский дипломат Я. Ульфельдт (1578), повторно проезжая через Тверь после поездки в Москву:

Так как расстояние между <различными> местами было достаточно <точно> указано выше, по этой причине здесь я буду его опускать, чтобы не показалось, что я занимаюсь этим больше, чем нужно, но обращаю свое перо на описание городов и селений, так же как и того, что в <этом> путешествии оказалось достойным упоминания [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 30].

Подобные авторские признания свидетельствуют о переходе авторов травелогов на позиции рефлекторного традиционализма, об осознании ими существования субъективных, ситуационных ограничений документальности. Автор травелога описывает не всё, что видит и хочет описать, а то, что может описать на данном этапе путешествия, с той точки зрения, которая на данный момент доступна. Понятно, что данные ограничения существуют для всех авторов и всегда, но они осознаются далеко не всеми авторами как ограничение документальности. Более того, в связи с заданием, которое послы европейских держав выполняли в России, документальность написанного оказывалась, как правило, в сильной зависимости от политических установок монарха-отправителя. Этим провоцировалась ангажированная ограниченность докумен-

тальности, в результате которой дискурс путешественника обретал документальность другого порядка – не травелогического, а идеологического.

Иногда в контексте общей политической и идеологической зависимости путешественника от монарха-отправителя возникают условия ситуационной свободы, которые обнуляют ангажированную ограниченность документальности и актуализируют независимый травелогический дискурс. Об этом можно судить по путевому дневнику голландского географа Н. Витсена (1665). Голландское посольство, в котором состоял Витсен, в связи с запретом царя Алексея Михайловича появляться в Москве ранее назначенного времени делает вынужденную остановку в Торжке. И тут приписанный к посольству географ неожиданно обретает свободу передвижений и наблюдений в ограниченном пространстве города и зарисовывает городские и монастырские строения (Борисоглебский монастырь, церковь Вознесения), записывает новоторжские святки, фиксирует социальные нормы поведения, особенности местного традиционного костюма и кухни:

Одета она <купчиха> была богато: шапка вышита золотом и жемчугом. <...> У девушек в ушах и через плечи висят серебряные цепочки, на голове позолоченная бахрама;

Первым блюдом были засахаренные сливы и огурцы, на второе подали курицу в бачке, на третье – кусок свинины с уксусным соусом, который они ели ложками. Четвертое – какая-то странная жидкость <кисель>, которую тоже едят ложками. Пятое – паштет из мяса, с луком, чесноком и т. д. [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 33–41].

Приведенные наблюдения, сделанные в свободном режиме, вполне соответствуют принципам дорефлекторного традиционализма, поскольку передают наивное, непосредствен-

ное восприятие путешественником действительности: что вижу, то и пишу.

В связи с тем, что неизбежные в ангажированном тексте субъективные, ситуационные ограничения наносят ущерб его документальности, встает вопрос: насколько точны неангажированные наблюдения? Вернемся к травелогу Герберштейна. Расстояния он измеряет в привычных ему единицах, названия транслитерирует, пытаясь средствами родного языка передать нехарактерные для того звуковые сочетания. В результате, при всей установке автора на документальную точность, налицо заметные пространственные и топонимические погрешности и потери (*Schlingwa*, *Wedrapusta* и др.), причины которых носят этнолингвистический характер. Впрочем, двойность некоторых транслитераций (*Dwerschak* / *Dworsackh*, *Medina* / *A Medina*) может быть отражением и вариативного звучания топонимов в речи современных автору автохтонов, но это также относится к этнолингвистике.

Понятно, что этнолингвистические ошибки неизбежны в текстах иностранцев. Однако каковы причины их появления в текстах русских путешественников? Большинство русских авторов травелогов воспроизводят топонимы в общепринятом звучании и написании, но вот в тексте топографа И.Ф. Белова (1848) мы встретили целый ряд отступлений от принятой нормы: Гори / Моркины Горы, Бервенец / Бор-Венец, Адринополь / Андреаполь, Вержи / Верхит (Малый и Большой), Городня / Городомля и др. [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 288–323]. Для таких ошибок можно назвать множество причин. Во-первых, это могут быть субъективные причины: либо недостаточно профессиональное ухо автора (хотя в непрофессионализме Белова-топографа трудно заподозрить), либо не вполне русское происхождение его (об этом свидетельствуют некоторые «не вполне русские»

обороты речи). Во-вторых, это могут быть внешние, «объективные» причины: либо вариативность названий в речи автохтонов (диалектное иканье: Делидино / Деледино; агглютинация: Овселуг / Вселуки, Абдынь / Бдынь; стяжение гласных: Арханское / Архангельское), либо, наконец, их артикуляционная небрежность (Семутино / Семытино, Коренная / Корино или Корнево).

Все указанные выше принципы изложения материала: что вижу, то и говорю, как слышу, так и пишу – относятся к середине XIX века. Однако они также сродни дорефлекторному традиционализму и могут быть квалифицированы как этнолингвистическая относительность (ограниченность) документальности травелога.

Определенные ограничения накладывает на документальность травелога и позиция путешественника в пространстве и времени. Представляя собой динамический текст, травелог собственно и состоит из описаний, которые сделаны с разных пространственных и временных точек зрения и сопровождаются, как правило, мотивированной сменой ракурсов изображения и сопоставлением увиденного. Интересен в этом смысле фрагмент путевого дневника Екатерины II (1767). Отправившись от Твери в путешествие по Большой Волге, императрица была очарована речными пейзажами и записала: «Час от часу берега Волги становятся лучше. Вчера мы Кимру проехали, которая издали не уступает Петергофу; а вблизи уже всё не то» (цит. по [Бильбасов, 1901, с. 233]). Впервые издали разглядывая Кимры, венценосная путешественница выражает свое впечатление в привычной системе координат – как автохтон Петергофа, измеряя увиденное на Волге представлениями, сформированными в царственном рекреационном пространстве северной столицы. Приближение к Кимрам позволяет императрице разглядеть село более

детально, но в этой приближенности объект оказывается ей категорически не интересен («не то»), потому что она продолжает пребывать в петергофской системе измерений (и в этом смысле не вполне путешественник). Обнуленное описание Кимр – яркий пример провинциального текста. В отличие от случаев наивного восприятия действительности, данное описание при всей своей видимой пустоте и простоте насыщено культурным осмыслением пространственной дистанции, а это уже черта утвердившегося в жанре травелога рефлекторного традиционализма.

Травелоги эпохи рефлекторного традиционализма хотя отчасти и сохраняют непосредственность и точность описаний, но наряду с этим активно используют приемы искажения пространства и времени. На точность и узнаваемость ориентированы в первую очередь описания объектов, знаковых для маршрута путешествия. Для тверских травелогов это лежащие на Петербургско-Московском тракте города Вышний Волочек, Торжок, Тверь, а также стоящие на Волге Ржев, Зубцов, Старица, Корчева, Калязин. Однако и в их описаниях авторы травелогов нередко используют прием деформации пространства, его стяжения, «складки» (Ж. Делёз). Повествователи искажают пропорции, расстояния, изымают из пространства одни объекты, чтобы сблизить другие, наиболее значимые для них. Так, представляя читателю Тверь, И.Ф. Глушков (1801) рисует такую картину:

Там из-за синих сосен проглядывает *Малицкий* монастырь, здесь в тумане блещет златоглавый *Желтиков*, недалеко на тихой Тьмаке безмолвствует убежище Христовых невест, близко, под густыми ветвями лип и кленов, окруженный шумящими каскадами, красуется *Архиерейский дом*, еще ближе на крутом берегу Волги виден воксал; вокруг же всего разбросаны деревеньки, мелькают загородные дома – и всё это в один миг

и на одной плоскости представляется взорам. Посредине сей долины возвышается самый город, не гордостью пышных домов и огромных башен, но привлекательною скромностью, прелестною посредственностью и как бы милою нежностью украшенный [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 160–161].

Прекрасно понимая фактическую несостоятельность своего описания панорамы Твери, Глушков нарушает принцип правдоподобия и создает совокупный образ города, очень яркий и выразительный, но не имеющий отношения к действительности. Следует кстати заметить, что Глушков в своей панораме не упоминает мужской Отрочь Успенский монастырь, который стоял в излучине, образованной впадением в Волгу Тверцы и который на самом деле был виден с набережной правого берега Волги. То, что бросалось в глаза на левобережье Волги: Отрочь монастырь, красивый комплекс вокруг церкви Воскресения Христова (Трех исповедников) за современным памятником Афанасию Никитину, Екатерининская церковь в Затверечье – не вошло в это описание. То, что невозможно увидеть не только в совокупности, но даже и по отдельности из центра города, включено в него.

Еще большей деформации подвергаются описания селений и ямов. Сравним описания ямов, приводимые Глушковым:

Хотилово – многолюдный, хорошо выстроенный ям, в котором находится посредине главной улицы на квадратной площади каменная, изрядной архитектуры церковь с колокольнею и в особом месте деревянный императорский дворец; *Выдропуск*, весьма большой, хорошо выстроенный, имеющий славных лошадей ям, стоит по обеим сторонам реки Тверцы, через которую переезжают по плавучему мосту. На правой стороне сего яма в особом месте находится каменная, хорошей архитектуры церковь, а при выезде на высокой горе – император-

ской двухэтажной каменной дворец, из которого во все стороны прекрасные видны картины; *Медное*, небогатое село, стоящее по обеим сторонам реки Тверцы, имеет изрядную церковь и против ее каменной императорской дворец; отсюда до Твери 30 верст [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 146, 151, 158].

Все эти описания однотипны: церковь, путевой дворец, благоденствующие крестьяне и ямщики – и вследствие этого практически неразличимы. При этом в своих описаниях ямов автор далеко не всегда точен: так, старый деревянный путевой дворец в Хотилове ко времени издания книги был снесен, а на его месте построена церковь Михаила Архангела (1764–1767, арх. С.И. Чевакинский); каменный же путевой дворец (1760-е) не описан. Складывается впечатление, что Глушков намеренно игнорирует оригинальные детали, чтобы создать типовой образ. Замещение точного описания типовым, обобщенным по сути обнуляет объект, единственным оригинальным признаком которого в тексте остается его собственное имя.

Актуален для авторов и прием замещения реального описания вымышленным. В одних случаях он используется, чтобы компенсировать недостаток информации в описании объектов, как, например, то же Хотилово у того же Глушкова:

Нет ничего интереснее для городского жителя, как в праздничной день, проезжая мимо какого-нибудь селения, видеть деревенские веселости. Все тогда на улице: ребятишки в белых рубахах толпами прыгают и резвятся – прелестные девушки в красных сарафанах то рядами прогуливаются по селу и поют дышащие чистою любовью песни, то веселятся на качелях, то, составя кружок, под звон скорой русской песни резво пляшут; с ними разделяют веселье шеголливые крестьяне, умильно взглядывают на своих любезных и, будучи награждены благосклонною улыбкою, со всею живостью продолжают игры – а несчастные в любви, удаляясь под тень кудрявой липы, томно

выражают в чувствительных песнях тоску огорченного сердца своего – недалеко оттуда пожилые крестьянки любят на легкую резвость дочерей своих, между тем как румяные молодушки нежно переглядываются с мужьями, которые под навесом клетки богатого старосты разговаривают с почтенными сединою старичками, – словом, все тогда веселятся, радуются от чистого сердца и многоразличными, но невинными шутками разгоняют свои годовые заботы и печали [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 146].

В других случаях функция этого приема – усиление переживания пространства читателем. Упомянув количественные параметры того или иного отрезка пути, Глушков нередко замещает описание этого пространства внешне непространственным наблюдением:

Завидово – ям, дающий лошадей на 26 верст до Клина. Любитель музыки, который слышал лучших итальянских певцов и виртуозов, поверит ли, что иногда русские ямщики одно колено песни поют 30 верст, от одной станции до другой. Это случается тогда, как судьба определит ехать с удрученным горестью, бедностью и летами ямщиком, который, вспоминая молодечество и желая угодишь ездоку, начинает с трясущейся бодростью: «Э-эх! – да – хорошо-о-ао-ао – любить – да – дружка – ми-и-и-ла-а-ава харашо – разумнава» – и вдруг, прервав песню, погоняет лошадей: «Эй! ну ты слышишь ли!» – потом опять продолжаешь петь: «Эх – да – хорошо любить... Эй вы родимые! – ну! ну! пашел!» Вот с какими вариациями продолжается во всю дорогу песня [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 170].

Подобный прием замещения позволяет понять пространственную сущность внешне непространственной характеристики, однако в ущерб информационной полноте травелога

и степени его документальности. Прием замещения реального описания вымышленным по функции аналогичен обнулению.

На степень документальной точности травелога влияет и активное внедрение авторами в свое повествование местных легенд, преданий и других фольклорных записей. Наиболее часто в тверских травелогах приводится легенда о князем отроке и основании Отроча монастыря, которую в разных вариантах пересказывают И.Ф. Глушков, Ф.Н. Глинка (1811), И.А. Дмитриев (1839), Н.П. и А.П. Боголюбовы (1861), И.Ф. Тюменев (1893) и др. [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 168–170, 221–227; Тверь в записках путешественников, 2013, с. 151–154; Тверь в записках путешественников, 2014, с. 127, 384–385]. Немногим уступает ей в популярности легенда о царевиче Алексее Петровиче – узнике Желтикова монастыря, упомянутая в текстах А.О. Ишимовой (1844), М.И. Семевского (1860, 1861, 1888), Н.П. и А.П. Боголюбовых (1861), И.Ф. Тюменева (1893), С.В. Максимова (1899) и др. [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 279; Тверь в записках путешественников, 2014, с. 39–43, 51, 100, 128, 184, 383]. На третьем месте по частотности стоят легенды о реках, озерах, водных источниках и проч. Начиная с 1830-х годов, времени первых публикаций фольклористических работ И.П. Сахарова и В.И. Даля, в травелоги активно входит диалектный материал и прозвищный фольклор (И.А. Дмитриев, 1839; А.Н. Островский, 1856; М.И. Семевский, 1864; И.Ф. Тюменев, 1892, 1893, 1899; А.П. Субботин, 1894; Г.П. Демьянов, 1898; С.В. Максимов, 1899). Включенные в травелоги, эти городские легенды и мифологические предания были призваны активизировать знакомство читателя с локальными культурными традициями. Однако в большинстве случаев приводимые записи не вполне адекватно представляют локальную культуру. Они имеют, скорее, книжное проис-

хождение и бытуют также в книгах, переходя из текста в текст и становясь общим местом. В результате активное внедрение авторами в свое повествование «фольклорных» записей ведет к утрате травелогом документальной точности.

Еще большим наступлением на документальность травелога является его беллетризация. Так, А.О. Ишимова в построении своего травелога (1844) руководствуется не пространственными параметрами описываемого места и не логикой реального маршрута, а литературным сюжетом, развитие которого определяют поступки и переживания героев. Завершив со своими героями прогулку по Твери знакомством с садом в Трехсвятском, писательница заключает:

Нагулявшись в нем и налюбовавшись прелестными видами его окрестностей, мы жалели, что усталость Ольги Дмитриевны помешала нам дойти до Желтикова монастыря, которого золотые главы уже видны были из-за сосновой рощи. Там есть, кроме мощей св. Арсения, две любопытные комнаты: в них жил царевич Алексей Петрович... [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 279].

Ишимова ошибается, ибо от Трехсвятского (точнее от архиерейского дома) можно видеть главы Христорождественского монастыря, но никак не Желтикова, который находится на берегах той же Тьмаки, но, как она сама верно пишет, за 4 версты (около 5 км) от Христорождественского монастыря. На таком расстоянии вообще ничего увидеть нельзя. Как представляется, Ишимова сознательно совмещает изображаемые объекты, поскольку такое насыщение городского пространства различными объектами оказывается одним из существеннейших принципов демонстрации красоты города; то же самое мы видели и в путешествии Глушкова. Многочисленность объектов символизирует степень освоенности

пространства, степень его окультуренности, однако такая беллетризованная репрезентация пространства так же противоречит принципу документальности, как и описанные выше намеренное стяжение его, обнуление и замещение реального вымыслом.

Востребованность беллетризованных травелогов не могла не привести к унификации представленного в них материала – вплоть до структурных, содержательных и даже непосредственно текстовых совпадений. В ответ на подобную редукцию жанра к уровню масс-культуры возникает иной его вариант – травелог, повествующий о личном освоении автором того или иного культурного пространства России. Этот перелом в практике построения описания путешествия свидетельствует о переходе авторов на позиции художественного антитрадиционализма.

Стремление кардинально переосмыслить документальную релевантность травелога можно было реализовать только в режиме «полевой» работы, и сложившиеся к 1860-м годам познавательные и технические возможности путешествий это вполне позволяли. Поэтому во второй половине XIX века возникают оригинальные жанровые модификации, выявляющие новые ракурсы видения и осмысления пространства путешествия в русской культуре.

Историк М.И. Семевский регулярно начинал свои путешествия по Большой Волге в Твери (1860, 1861, 1888) и наблюдал развитие города на протяжении почти трех десятилетий [Тверь в записках путешественников, 2014, с. 35–105]. Сопоставляя свои наблюдения, он по сути разрабатывает временной ресурс документальности травелога, до него фактически невостробованный (если не считать отдельных замечаний Я. Ульфельдта, Ф.-В. фон Берхгольца, М. Вильмонт и мемуарной составляющей травелога А.М. Петропавловского [Тверь в записках путешественников, 2012, 2013]).

Этнологу С.В. Максимова интересна прежде всего повседневная культура волжских жителей. Воссоздавая в своих травелогах (1874, 1899) динамическую картину жизни городов Верхневолжья, он подвергает ревизии фольклорный ресурс документальности травелога [Тверь в записках путешественников, 2014, с. 150–192].

Фотограф Е.П. Вишняков и художник И.И. Шишкин в своем живописном путешествии (1890) исследуют эстетический потенциал реальных пейзажей Волговерховья [Тверь в записках путешественников, 2014, с. 193–217].

Универсальным в жанровом отношении представляется травелог И.Ф. Тюменева. Он совершил путешествие по Верхней Волге в 1892, 1893 и 1899 годах вместе с художниками А.П. Рябушкиным, В.В. Беляевым и В.П. Павловым и за три летних сезона проехал от Волговерховья до границы Тверской и Ярославской губерний. Тюменев создал самый обширный из выявленных на сегодня текст о путешествии по Верхней Волге [Тверь в записках путешественников, 2014, с. 218–433]. Он сопоставлял исторические, археологические, фольклорные и литературные свидетельства, которые предварительно собирал накануне поездки, с наличной реальностью и поверял меру и степень правдоподобия, документальности предыдущих описаний.

Тем не менее на рубеже XIX–XX веков приоритетным по количеству изданий и популярности у читателей оставался жанр путеводителя по Волге, восходящий к книге Н.П. и А.П. Боголюбовых «Волга от Твери до Астрахани» (1861) [Тверь в записках путешественников, 2014, с. 109–149]. Путеводители, развивающие эту традицию (Г.П. Демьянов, 1894; Г.Г. Москвич, 1902; А.Я. Бесчинский, 1903; В.А. Гиляровский, 1908 и др.), посвящены, как правило, путешествию по Большой Волге до Астрахани. При этом

подобные путеводители непременно включают и описание путешествия вниз по Волге от Твери, поскольку выше Твери Волга была несудоходна для больших пассажирских пароходов. Однако отсутствие описания реального путешествия по Верхней Волге нередко замещается очерком Тверского Верхневолжья, в котором большое внимание уделяется описанию истока Волги и первых ее шагов, а дальнейший путь реки описан менее системно. Подобные особенности построения текстов оборачиваются нарушением существенно важных для травелогов пространственно-временных связей. Впрочем, утрата ими документальности искупается в глазах читателей тем, что они представляют номенклатуру репрезентативных объектов, преданий, явлений, которая сложилась в культуре и которая позволяет провести процедуру идентификации при ознакомлении с текстом.

Таким образом, будучи документальным жанром, всегда ориентированным на представление фактов и ситуаций, травелог далеко не всегда адекватно отражает реальное пространство путешествия. На построение травелога большое влияние оказывают предшествующие путешествия по тем же самым местам. В тверском материале таким культовым для путешественников первой половины XIX века был травелог И.Ф. Глушкова (1801). Для середины XIX века аналогичную роль играл травелог И.А. Дмитриева (1839), а для конца XIX – начала XX века – книга В.И. Рагозина (1880). В результате все последующие травелоги оказываются пересказом и литературной обработкой предшествующих, они наследуют ту систему авторской разметки природного и первично окультуренного пространства, которую предприняли в своих травелогах авторитетные путешественники. Вследствие этого, по мере насыщения книжного рынка травелогами и путеводителями, в общественном сознании формируется определенный

образ пространства, культурные признаки которого могут быть довольно далеки от реальной действительности. Путешественник-новичок, руководствуясь тем или иным путеводителем, рискует обнаружить на месте совсем иные объекты природного и культурного пространства, нежели описаны в книге. Однако вычитанная в книге мифологическая картина мира всё равно окажется для него более адекватной, чем реальная.

Следствием этого расхождения между реальной картиной и ее изображением в документальном жанре складывается следующая ситуация. В словесном описании, на картине или (еще лучше) на фотографии изображен провинциальный Торжок, но читатель (зритель) воспринимает это описание (изображение) либо как собственно город Торжок, либо как обобщенный образ провинциального города. А если подпись под фотографией или название раздела утеряны, то второе прочтение оказывается даже единственным. Автор хотел представить милую тишину и благополучную размеренность – то есть красоту города Торжка, а реципиент увидел мертвую неподвижность и неблагоприятный застой – то есть безобразие провинциального города.

Однако обратной стороной документализма травелога является сублимация материала. Хочет или не хочет автор травелога, он так или иначе обобщает описываемое. Дело в том, что в любом словесном и живописном описании неизбежно содержится элемент обобщения, поскольку, когда автор произносит слова гора, река или изображает их, он имеет в виду некую конкретную гору или реку, однако сами по себе эти слова и изображения влекут за собой обобщение. Здесь не помогут даже артикль и указательное местоимение (эта гора, эта река), потому что они укажут на эту гору и реку, но сами гора и река для читателя и зрителя всё равно будут обобщениями.

Когда люди, которые никогда не бывали в Северной Америке, смотрят на картину Рокуэлла Кента «Осень в Адирондакских горах», они видят не некий конкретный пейзаж, а обобщение: осень в горах. Конкретизация, вынесенная художником в название картины, зрителю абсолютно ничего не говорит.

У того же Рокуэлла Кента есть картина «Вечный покой. Северная Гренландия» (1932), и Кенту зачем-то нужно было указать, что это Северная Гренландия. Причем первая часть английского названия этой картины «Dead Calm» (буквально это можно понять как «мертвая тишина», «~ый штиль», «омут») не только не требует топографической конкретизации, но даже противостоит ей. Возникает впечатление, будто художник решил показать зрителю, где находится искомый «вечный покой». Аналогичный характер имеет локализация философских образов в других работах Кента: «Весенняя лихорадка. Беркширские холмы, Массачусетс» (1908), «Покой и свобода. Мэнское побережье» (1909), «Христианские могилы. Южная Гренландия» (1929), «Шквал. Гренландия» (1933/1937) и т. п. Возможно и то, что первая часть названия «Вечный покой. Северная Гренландия» появилась позднее второй, однако возникший в результате обобщения философский образ не вытеснил из сознания Кента предметной и топографической конкретики.

Совершенно противоположную тенденцию мы видим у Исаака Левитана, у которого есть картина со сходным названием: «Над вечным покоем» (1893), однако он не считал нужным указывать, что изображает на картине озеро Удомлю. Более того, сопоставляя названия картины и этюдов, положенных в ее основу («Деревянная церковь в Плесе при последних лучах солнца», 1888; «Перед грозой», 1893), можно сделать вывод, что Левитан сознательно отказывался, освобождался от временной и пространственной конкретики и в живопис-

ном, и в словесном дискурсе. При этом следует заметить, что более ранние работы Левитана имеют, как правило, четко локализованные названия: «Осенний день. Сокольники» (1879), «Вечер на Волге» (1888), «Вечер. Золотой Плѣс» (1889), «После дождя. Плѣс» (1889) и другие.

Во всех случаях, когда живописные полотна имеют локализованные названия, возникает естественный вопрос: зачем художнику нужна эта конкретизация и на что рассчитывает художник, когда конкретизирует название картины?

То же самое мы видим и в наших травелогах. Человек, который не был и никогда не побывает в Вышнем Волочке, Торжке и Твери, должен поверить автору на слово, что женщины в каждом из этих городов носят чем-то отличающиеся от других наряды, жители имеют специфические говоры, нравы, занятия, промыслы. В расчете на такое читательское доверие авторы первых травелогов нового времени (например, И.Ф. Глушков) увлеченно рассказывают читателю о том, что видят и слышат в пути. Достаточно часто случается, что автор травелога неточен, а то и специально преувеличивает, что бывает нередко, однако и в этом случае читатель должен верить ему, потому что не знаком с комментариями, которые сочинят через сотни лет позднейшие исследователи.

Анализ фактической достоверности травелога как документального жанра заставляет нас иначе взглянуть не только на самый этот жанр, но и на проблему документализма в искусстве вообще.

Литература

Бильбасов В.А. Исторические монографии: В 5 т. СПб.: тип. И.Н. Скороходова. 1901. Т. 3. [4].

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Документальность травелога и способы обобщения (по материалам Тверского Верхневолжья) //

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2016. Т. 158. Кн. 1. С. 66–79.

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Путешествие и его природная обусловленность // Русский травелог XVIII–XX веков: коллективная монография / под ред. Т. И. Печерской; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. С. 128–141.

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Путешествия по российским рекам: травелог Нового времени // *Quaestio Rossica*. 2015. № 2. С. 106–116.

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Русская культура в зеркале путешествий: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. 176 с.

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Частное путешествие как документальный жанр: тверской материал // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Филология. 2013. № 6. С. 39–45.

Повесть временных лет / подготовка текста, перевод и комментарии О.В. Творогова. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI–XII века. С. 62–315.

Пушкин А.С. <Из письма к Соболевскому>: («У Гальяни иль Кольони...») // Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 3. Кн. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 34–35.

Строганов М.В. Историческая поэтика: учебное пособие. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007.

Тверь в записках путешественников XVI–XIX веков / составление, вступительная статья, биографические справки, подготовка текста и комментарии Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. Тверь: Книжный клуб, 2012.

Тверь в записках путешественников. Вып. 2: записки XVIII–XIX веков / составление, вступительная статья, биографические справки, подготовка текста и комментарии Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. Тверь: Книжный клуб, 2013.

Тверь в записках путешественников. Вып. 3: Водные пути Верхней Волги. Вторая половина XIX – начало XX века / составление, вступительная статья, биографические справки, подготовка текста и комментарии Е.Г. Милюгиной, М.В. Строганова. Тверь: Книжный клуб, 2014.

E.G. Milyugina, M.V. Stroganov

*Tver State University Moscow State University of Design and
Technologies*

**TRAVELOGUE AS A NON-FICTION GENRE.
ARTICLE ONE**

Abstract. The article is devoted to the problem of documentary character of travelogue as a non-fiction genre. Since documentary base of travelogue has been handled beyond its historical context it poses difficulties for modern science to define its (nature) status. This research presents a historical approach to the problem, considering the evolution of conception of non-fiction in literature in its stages of pre-reflective and reflective traditionalism and artistic antitraditionalism. The tool of solving the problem is the idea of cultural distance. The cultural distance determines the potential of communication between a traveler and a native, caused by national and language factors in the travel literature of pre-reflective traditionalism. In spite of the author's intention the direct perception of reality is always limited by ethnolinguistic relativity in travelogues. The documental character is limited by subjective, situational limitations, caused by space, time and social factors in the travel literature of reflective traditionalism. Excessive reduction of documentary base is caused by the predetermined commitment of diplomatic travelogue. The travelogues of reflective traditionalism actively use different ways of deformation of space and time, such as contraction of space, shifting of time milestones, deformation of space between the objects, substitution of real description by a fictional one or retelling of folklore, fictionalization, reducing the genre to the level of mass culture. The appearance of «field» travelogues of the 19th - early 20th century, representing personal discovery and study of some parts of Russian cultural space by authors. This proves the transformation of the genre into antitraditionalism. As the result of combination of different approaches, as the book market is saturated by travel literature and guide books, в public conscience the definite

image of space is formed, and it sometimes may be far from reality. The analysis of travelogue factual knowledge is likely to give us the other frame of reference (to change the frame of reference) not only on the genre itself, but also on the problem of non-fiction in the art in general.

Keywords: travel, travelogue, documental character, cultural distance, ethnolinguistic relativity, subjective or occasional limitations of documental reliability, adequacy of description, “field” or literary travelogue.

Information about the authors. Milyugina Elena Georgievna, Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian language с методикой начального обучения, Tver State University; (Zhelyabova str. 33, Tver, Russia, Tel. 8(4822)426380. E-mail: elena.milyugina@rambler.ru). Stroganov Mikhail Viktorovich, Doctor of Philology, Professor of Moscow University of Design and Technologies, Institute of Slavic Cultures, Director of Tver Centre for regional studies and ethnography (Moscow, Khibinsky proyezd, 6; 8(4822)358204. E-mail: mistro@rambler.ru).

О.А. Фарафонова

Новосибирский государственный педагогический университет

МАРШРУТЫ РУССКИХ ТРАВЕЛОГОВ XVIII ВЕКА¹

Аннотация. Объектом исследования в настоящей статье являются произведения русской литературы путешествий XVIII века, предметом рассмотрения – маршруты русских путешественников восемнадцатого столетия. Травелоги могут быть дифференцированы по разным показателям: целеполагание путешествия (с официальной миссией или же частное); способ совершения путешествия (по суше или по воде); форма травелога (эпистолярный, мемуарно-автобиографический и дневниковый) и направление пути (собственно, маршрут). Изучение маршрутов определенного периода может помочь выстроить своего рода ментальную карту эпохи, понять не только пространственные ориентиры и предпочтения времени, но и философию пространства. Все русские травелоги XVIII в. четко разделяются на две значительные и не уступающие друг другу по количеству текстов группы в зависимости от того, будет ли маршрут путешественника направлен вовне или внутрь границ Российской империи. Русская культура петровской и постпетровской эпохи активно пропагандирует и использует путешествие как способ формирования представления о мире и человеке, человек путешествующий становится образцом человека мыслящего, способного к развитию и жаждущего новых знаний. Путешествие овеществляет пространство, делая его осязаемым, зримым и познаваемым. Получение нового знания, новой информации о мире – вот актуальнейшая для XVIII века цель путешествия.

Ключевые слова: травелог, маршрут, литература путешествий, путешествие, образ пространства.

¹ Статья выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII-XX веков»).

Сведения об авторе. Фарафонова Оксана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Виллюйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-01-41. E-mail: oxana.faroks@yandex.ru).

Литература путешествий чрезвычайно разнородна, тексты объединяются этим названием более по тематическому, нежели по структурно-жанровому принципу. В последнее время для обозначения этого феномена все увереннее в научный обиход входит термин «травелог». Травелоги могут быть дифференцированы по разным показателям: целеполагание путешествия (с официальной миссией или же частное); способ совершения путешествия (по суше или по воде); форма травелога (эпистолярный, мемуарно-автобиографический или дневниковый) и направление пути (собственно, маршрут). Маршрут – не только структурный стержень отдельно взятого травелога. Изучение маршрутов определенного периода поможет выстроить своего рода ментальную карту эпохи, понять не только пространственные ориентиры и предпочтения времени, но и философию пространства. Литература путешествий приводит нас в конечном счете к понимаю культурной практики его осмысления. В русских травелогах XVIII века отразился процесс конструирования пространства России, Европы и шире – всего мира, что было обусловлено историческими и ментальными переменами интересующей нас эпохи.

Можно с полным основанием утверждать, что в XVIII веке русскими путешественниками осваиваются все направления, все стороны света. Маршруты путешествий пролагаются как внутри страны, так и за ее пределами. Герметичные до некоторых пор границы Московского царства открывают-

ся, Российская империя создает новый образ просвещенного человека, неотъемлемой частью которого становится путешествие. Являясь социально значимым видом деятельности, путешествие получает организационную и финансовую поддержку государства.

Все русские травелоги XVIII века четко разделяются на две значительные и не уступающие друг другу по количеству текстов группы в зависимости от того, будет ли маршрут путешественника направлен вовне или внутрь границ Российской империи.

«Внутрироссийские» травелоги представлены самыми разнообразными текстами, но все они, в конечном итоге, объединены общей идеей: пространство нового государства (а именно это ощущение новизны всячески декларируется в петровскую эпоху) нуждается в узнавании и освоении. Необъятная территория должна быть конкретизирована, должна обрести осязаемые черты, что должно, в свою очередь, стать основанием для государственной и национальной идентичности. Путешествующие внутри страны фиксируют, описывают, называют, наносят на карту, зарисовывают. Главной конструирующей особенностью травелога, как отмечает Е.Г. Власова, является «его способность связывать пространство» [Власова, 2015, с. 58]. Именно травелоги, отражающие перемещения/путешествия внутри и вдоль границ империи способствуют тому, что пространство, которое было своим только номинально, оказавшись выстроенным географически, зафиксированным в дневниках экспедиций и на картах, «связывается», обживается, наконец, и ментально, становится своим фактически. Свидетельства этого постоянно обнаруживаются в записках путешественников XVIII века:

Учеными от Санкт-Петербургской Академии Наук в разные времена по России отправлениями ученых людей для фи-

зических наблюдений уже немного осталось мест сего пространного государства, которые были б не описаны. Камчатскими экспедициями известна стала восточная страна Сибири; воспоследовавшими в 1768 году путешествиями осмотрены, как западная оныя часть, так и внутренняя Россия. Благополучное царствование Екатерины Великой открыло новые земли, открыло и предмет нового путешествия. На востоке обретенны дальние Алеутские острова; на западе Черное море стало границею России [Зуев, 1787, с. 1].

Внутри этого «русского» травелога в XVIII веке выделяется организующая пространство оппозиция «столица-провинция». Причем конструированию и осознанию подлежит именно провинция. По сути, все внутривосские травелоги описывают именно разнообразные виды, рельефы и ландшафты нестоличного пространства различной степени обжитости. Здесь следует отметить тексты, которые велись в экспедициях с разными целями к северным землям Российской империи, например, «Журнал Анадырской команды сержанта Андреева, веденый во время путешествия по островам Ледовитого моря» [Андреев, 1823] и «Походный журнал» якутской экспедиции С. Попова [Попов, 1916]; «Путешествие по северу России» П.И. Челищева [Челищев, 1886]; «Путешествие по Сибири» И.Г. Гмелина [Гмелин, 2009]; «Путешественные записки Василия Зуева от Санкт-Петербурга до Херсонеса в 1781–1782 гг.» [Зуев, 1787]; «Дневник путешествия из Тобольска через Тару, Томск и дальше в Сибирском государстве» Д.Г. Мессершмидта [Мессершмидт, 2003]; «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» Н. Озерецковского [Озерецковский, 1989]; «Путевые записки преосвященного митрополита Платона (Лёвшина)» [Платон, 1841]; «Журнал, или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770

году» [Рычков, 1770]; «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии» П.И. Сумарокова [Сумароков, 1800] и его же «Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году» [Сумароков, 1839]; «Дневная записка пешеходца, саратовского церковника, из Саратова до Киева по разным городам и селам» Г.А. Скопина [Скопин, 1881] и, конечно, ученые путешествия И.И. Лепёхина [Лепёхин, 1771, 1772, 1780, 1805], П.С. Палласа [Паллас, 1773–1788, 1999] и И.-П. Фалька [Фальк, 1824].

Русская культура петровской и постпетровской эпохи активно пропагандирует и использует путешествие как способ формирования представления о мире и человеке, человек путешествующий становится образцом человека мыслящего, способного к развитию и жаждущего новых знаний. Путешествие овеществляет пространство, делая его осязаемым, зримым и познаваемым. В качестве примера стоит привести «Путешественные записки» В. Зуева, в которых буквально выписаны, тщательно «срисованы» мельчайшие детали ландшафта между Петербургом и Москвой:

Для удобнейшего понятия мест по большой дороге лежащих разделю я расстояние сие между Санкт-Петербургом и Москвою на три части: на низменную, гористую и ровную. Низменная начинается от Санкт-Петербурга и продолжается даже за Новгород. Окружая преславную сию резиденцию и наполняя тундрами Игерманландию и Карелию на полдень простирается она не так далеко с своими болотами и озерами, как к северу. За тридцать верст от Санкт-Петербурга, то есть перед Ижорою, где поднимаются на взлобок довольно приметной, и которой есть тот же, что и за семь верст перед Сарским селом находится; уже видно, что они становятся выше, нежели каковы до сих мест были. Отсель хотя таковыми ж болотистыми по обе стороны местами дорога пойдет почти до Новагорода

ежечасно подымаясь подобными взлобками, однако при всяком подъеме открывается назади площадь на великое во се стороны пространство. Приятно смотреть на сии возвышения, представляющие будто пороги, лежащие через дорогу и содержащиеся один к другому параллельно [Зуев, 1787, с. 2–3].

Внимательный взгляд ученого-путешественника фиксирует все изменения, изгибы и причудливости окружающего рельефа, создавая объемную картину российского пространства. Получение нового знания, новой информации о мире – вот актуальнейшая для XVIII века цель путешествия. Наблюдения путешественников, подкрепленные научными знаниями, позволяют им делать выводы не только о современном состоянии окружающего их пространства, но и о его истории²:

Они [возвышения. – О.Ф.] все, сколько можно приметить, лежат от запада к востоку и кажется соответственно берегам Финского залива и Ладожского озера, так что думать можно, не в сих ли рубежах в последнее время Ладожское озеро с Финским заливом соединялось. Сие подает причину думать только первый подъем перед Ижорою и Сарским селом находящийся, но если взять также последующие за сим к Новугороду в рассуждение, то высота оных покажет, что соединение такое простиралось даже и с другими озерами до самого Северного океана [Там же, с. 3].

Воздействие «конструирующей воли жанра» [Власова, 2015, с. 58] травелога как способа фиксации (что характерно, прежде всего, для путевой прозы начала XVIII века) и осозна-

² Это представляется нам особо актуальным в контексте исторической эпохи XVIII века, стремящейся осознать свои истоки. В данном случае, в том числе, и с точки зрения динамики и геоморфологии окружающего путешественника пространства.

ния, осмысления мира очень ощутимо в контексте петровской и постпетровской культуры, поскольку процесс строительства нового мира, нового государства, начатый Петром I, идет параллельно с процессом познания окружающего это новое государство пространства. По этой причине становится важно осознание не только границ и наполненности своего пространства, но в равной степени и освоение «запредельных» территорий, которое, судя по текстам, оставленным путешественниками восемнадцатого столетия, происходит сразу во всех направлениях.

Безусловно доминирующим в контексте запущенных в петровскую эпоху процессов направлением русских путешествий в XVIII веке становится Европа. Европейские травелоги составляют значительную часть всей русской путевой прозы XVIII века. Дороги русских путешественников в Европе традиционно проходили одними и теми же маршрутами, которые обязательно включали посещение Франции, Германии, Англии, Италии, Голландии или Дании. Внутри этих больших маршрутов выделяются частные, локальные направления. Например, путешествующий по Италии непременно должен был посетить Рим, Неаполь, Флоренцию, Венецию, иногда – Падую, Пизу или Сицилию. Как отмечают современные исследователи, «текст путешествия можно представить в качестве цепочки локальных текстов, но гораздо важнее, что путешествие фиксирует системно-синтаксические связи между этими локальными текстами» [Милюгина, Строганов, 2013, с. 31]. Таким образом, итальянский, например, травелог будет состоять из более локальных римского, флорентийского, венецианского текстов и других текстов, связанных друг с другом по принципу часть-целое, но не подразумевающих, что часть может заменить целое. Напротив, довольно часто пу-

тешественниками отмечаются существенные различия между областями внутри одной страны.

Изначально чужое/чуждое пространство в процессе путешествия осваивается и присваивается путешественником, поскольку становится частью его личного опыта, его переживанием и воспоминанием (отсюда большое количество текстов мемуарно-автобиографического характера, включающих повествования о путешествиях). Перемещение путешественника в незнакомом пространстве становится одновременно и способом узнавания/освоения/изучения этого пространства, и способом конструирования его как уже своего. Конструировать, организовать и осознать окружающее пространство путешественнику помогает заданный маршрут. Е.Г. Власова полагает, что «главной осью, собирающей пространство путешествия, совершенно закономерно становится маршрут поездки. Маршрут, выстроенный в соответствии с целью путешествия, представляет собой направленное движение, основными пространственными составляющими которого являются точки остановок и пути между ними. Образ пространства, созданного в травелоге, самым непосредственным образом зависит от направления движения и фокусных точек маршрута» [Власова, 2015, с. 58–59]. В свою очередь добавим, что эти «фокусные точки» зависят зачастую от целеполагания путешественника, от того, волен ли он сам прокладывать маршрут или у него есть определенное на то предписание. Европейский травелог в русской путевой литературе XVIII века представлен самыми разнообразными текстами. Анонимные «Журнал путешествия во Франции и пребывания в Париже Петра Великого в 1716 году» [Журнал путешествия, 1822] или «Второе путешествие Павла Петровича за границу. Записки участника» [Второе путешествие, 1902]; сочетающее романый и путевой нарратив «Похождение прапорщика

Климова» [Похождение, 2011], мемуарные записки Г.-Ф. Басевича [Басевич, 1865], Е.Ф. Комаровского [Комаровский, 1914], Е.Р. Дашковой [Дашкова, 1987]; путевые дневники А.Г. Бобринского [Бобринский, 2003], братьев Демидовых [Путешествие, 2006], Б.И. Куракина [Куракин, 1890], Н.А. Львова [Львов, 1998], И.Л. Нарышкина [Нарышкин, 1975]; эпистолярный В.Н. Зиновьева [Зиновьев, 1878] и Д.И. Фонвизина [Фонвизин, 1959] – вот далеко неполный список текстов, в которых нашли отражения разнообразные маршруты европейских путешествий российского дворянства в XVIII веке. Анализ этих путешествий дает богатый материал для понимания роли путешествия как такового и европейского путешествия в особенности в становлении того феномена, который принято называть русской дворянской культурой XVIII века.

Еще одним направлением, осваиваемым в XVIII веке не столь активно, как европейское, но постепенно становящимся все более актуальным и значимым, становится Азия и Восток. Здесь следует отметить такие тексты как журналы путешествий в Среднюю Азию Д. Рукавкина [Рукавкин, 1840], Ш. Арасланова [Арасланов, 1881] и Т.С. Бурнашева [Бурнашев, 1818]; «Странствование Филиппа Ефремова, российского унтер-офицера, который ныне прапорщиком, девятилетнее странствование и приключения в Бухарии, Хиве, Персии и Индии и возвращение оттуда, чрез Англию в Россию, писанное им самим в Санкт-Петербурге 1784 года» [Ефремов, 1786, 1952]; ориентальные травелоги П.А. Левашова «Цареградские письма...» и «Плен и страдание россиян у турков, или Обстоятельное описание бедственных приключений, претерпенных ими в Царь-граде по объявлении войны и при войске, за которым владели их в своих походах; с приобщением дневных записок о воинских их действиях в прошедшую войну и многих

странных, редких и любопытных происшествий» [Левашов, 1995], «Журнал путешествия в Константинополь» П.А. Палена [Пален, 1823]; путешествие в Лоренца (Лаврентия) Ланга в Пекин 1715–1716 гг. [Ланг, 1961], «Нещастные приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 г.» [Баранщиков, 1965] и другие. Рассматривая специфику ориентальных русских травелогов XVIII века, О.В. Мамуркина определяет характерные черты путевой литературы как таковой, отмечая при этом, что «реальное пространство документального текста, организованное перемещением автора, трансформируется в условное социальное пространство, в котором географические названия являются определенными логическими доминантами и работают на раскрытие этнографической специфики» [Мамуркина, 2011, с. 19]. Например, в «Нещастных приключениях» В. Баранщикова читаем:

В Санкто-Томасе растут еще плоды, называемые кокосовые орехи, кои известны в Санкт-Петербурге, да и всем почти россиянам: на каждый день производили всем солдатам по одному ореху, они весьма вкусны, дерево их высоко и очень крепко, высотой как наша большая сосна и растет на полях; жители сего острова собирают с него орехи. Там водятся обезьяны, кои научены и воды в дома носить; с маленьким сосудцем кокосовых орехов посылают на колодцы их, и они исправляют весьма верно свою должность... [Баранщиков, 1995, с. 111].

Все указанные выше тексты внутрироссийских, европейских или ориентальных травелогов можно объединить по способу совершения путешествия: все это – травелоги сухопутные, описывающие путешествия, хотя и к дальним неведомым землям, но преимущественно по суше. Однако в список текстов с общим названием «Русский травелог XVIII века»,

безусловно, следует включить дневники и путевые журналы подданных Российской империи, совершавших индивидуально или же в составе больших экспедиций морские путешествия с разными целями. Здесь нужно указать «Журнал путешествия мичмана Никифора Полубояринова в Индию в 1763-1764 гг.» [Полубояринов, 1959]; «Собственноручный журнал капитан-командора С.К. Грейга» [Грейг, 1994]; журналы экспедиций В. Беринга 1725–1730 годов и 1733–1740 годов [Журналы, 2012]; «Первое путешествие россиян около света» Н.П. Резанова [Резанов, 1822–1825]; «Странствование российского купца Григория Шелехова в 1783 г. из Охотска по Восточному океану к Американским берегам» [Шелихов, 1971]; «Записки о тепле плавания адмирала А.С. Шишкова» [Шишков, 1834] и другие. Обратим внимание на то, что большинство известных на данный момент записок о путешествиях по морю в XVIII веке оставлены военными моряками. Что, как нам кажется, вполне закономерно, учитывая, что морям и морским путям после создания Петром I российского флота придавалось, прежде всего, стратегическое значение.

Как отмечают в одной из своих работ, посвящённых проблемам дискурса травелога, Е.Г. Милюгина и М.В. Строганов, «человеку изначально предоставлены два места жизни и два типа пути: жизнь на суше и жизнь на воде; путешествие по суше и путешествие по воде» [Милюгина, Строганов, 2015, с. 149]. Вода и суша в морских русских травелогах XVIII века особым образом, в сравнении с травелогами «сухопутными», организуют описываемое путешественниками пространство. На протяжении всего повествования, например, «Записок» адмирала А.С. Шишкова закономерно прослеживается оппозиция вода-суша. Это фиксируется в частности тем, что способ передвижения человека в первом случае называется Шишковым «теплеплавание», а во втором – «путешествие».

Путеплавание не является для человека естественным и сопровождается всевозможными опасностями. Жизнь на воде – вынужденная, по мере необходимости выполнения «своих должностей», – явно тяготит Шишкова. Долговременное пребывание на корабле в открытом море ассоциируется у него с заточением в клетке: «... мы более двух месяцев, как запертые птицы, из клетки своей никуда не вылетали» [Шишков, 1834, с. 5], «... можно представить себе нашу скуку» [Там же, с. 71]. С одной стороны, явное восхищение безграничностью «пространного Океана», а с другой – ощущение неволи, ограниченности своего собственного существования в этой беспредельности. Именно огромность морского пространства, его переменчивость и нестабильность противопоставляются земле, высадка на берег (даже чужой страны) приравнивается к освобождению:

Мы перестали бороться с ветрами и волнами; беспрестанное колыхание фрегата, столько нам надоевшее, утихло; вместо покрытой седыми скачущими буграми беспредельной равнины, взоры наши увеселились одетыми лесом и зеленью холмами и долинами; вместо единообразия синеющий воды представились очам различные зрелища: высокие здания, дома, сады, горы, луга <...> словом страх наш переменился в безопасность, заточение в свободу, уединение в сообщество, скука в веселие, сухоядение в лакомство. Таков переход из морской жизни в наземную! [Шишков, 1834, с. 6].

Суша – пространство не только «стабильной жизни человека на одном месте» [Строганов, Милюгина, 2015, с. 133], но более или менее понятный, твердый путь. Более естественным поэтому для человека является путешествие по суше. Морское путешествие сопряжено с гораздо большими опасностями, чем сухопутное, в силу, прежде всего, непредска-

зуюемости стихии, ее нестабильности и отсутствия твердого основания под ногами путешественника. Журналы и записки морских путешественников XVIII века постоянно фиксируют своевольность водной стихии и непредсказуемость передвижения по ней. Путь по морю – всегда борьба со стихией и преодоление ее губительной силы. На море воля человека всегда оказывается в конфликте с волей природных сил:

Мы почти при самом входе в пристанище принуждены были попятиться назад и плясать перед ним еще двое суток, покуда ветер умиловився, позволил нам войти в оное [Шишков, 1834, с. 5]; особливо в одну ночь все мы очень измучились: ветер беспрестанно переменялся не сохранял ниже 10 минут одинакового направления и силы; вдруг из самого тихаго делался самым крепким, и между тем как с одной стороны стихал, с другой с новою лютостию начинал свистать, так что при малейшей неосторожности при уборке парусов мог сломать мачты [Там же, с. 38].

Достичь конечной точки пути на море возможно только через постоянное преодоление стихии, что требует колоссального напряжения не только физических, но и, как мы можем судить по тексту «Записок», моральных сил.

В «Журнале путешествия мичмана Никифора Полубояринова в Индию в 1763–1764 гг.» также неоднократно отмечается, что капитанам кораблей приходится вносить коррективы в маршрут следования по причине «противного ветра»:

2го дня ветер был самый крепкий от веста, но мы в то время были не в дальности от норвежских берегов против местечка, именуемого Мардо, и хотя капитан наш старался, чтоб держаться в море, однако как за противным крепким ветром, так и примечено было, что в нашем ходу ни малого успеха не было и прижимает к берегам ближе, и для того капитан наш принуж-

ден был идти на якорное место на Арендальский рейд, и стали держать к оному [Полубояринов, 1959, с. 285].

Мотив бури на море в литературе часто выступает как метафора бессилия человека перед лицом судьбы. Однако в русских морских травелогах XVIII века можно увидеть иное решение этого мотива: исполнение должного, несмотря на обстоятельства. Именно в таком варианте – преодоления стихии, которая во много раз сильнее человека, исполнение того, что должно – предстает в дневниках и журналах мореплавателей XVIII века один из центральных мотивов морского травелога.

Согласимся с замечанием Е.Г. Милюгиной и М.В. Строганова, что «пространство суши, разумеется, привычнее и естественнее, но пространство воды заманчивее и таинственнее» [Милюгина, Строганов, 2015, с. 131]. Но отметим также, что, увеличивая опасность, морской путь увеличивает и возможности путешественника. Морские маршруты, существенно расширяя географию путешествий, расширяют и восприятие; через физический опыт нового пространства, открывают новые возможности познания мира, конструирования его как пространства ментального.

Сухопутные и морские путешествия соотносятся, таким образом, друг с другом не только по способу передвижения, но и еще по принципу «близкое-далекое», поскольку самые удаленные уголки земли не могут быть достигнуты по суше. То, что находится «за морем», заведомо мыслится как более неведомое и чуждое, нежели то, что, хотя и далеко расположено, но может быть достигнуто сухопутным путем. Бразилия, Япония, Северная Америка, Индия пешком (сухопутным путем) недостижимы, поэтому видятся как максимально далекие и чужие пространства. Тем более значимо, что эти территории входят в маршруты русских экспедиций в XVIII веке.

Особую актуальность при этом получает наличие карты, как предварительного рисунка того пространства, которое предстоит освоить путешественнику. Путешествующий по суше может ориентироваться и без карты, зная примерное направление пути, ориентируясь по следам/дорогам, проложенным до него. Указателями же для путешествующего по морю служат нанесенные на карты градусы и минуты широты/долготы, промеры глубин, направления течений и т. п. Карты должны давать четкие ориентиры в морском пространстве, но журналы и записки русских мореплавателей XVIII века постоянно фиксируют существенные неточности, невыверенность этих ориентиров, несоответствие пространства, нанесенного на карту, пространству реальному. Мичман Полубояринов, как позже и адмирал Шишков в своих «Записках», отмечают «неточности счисления» современной им картографии. Ориентиры морских карт XVIII века нуждались в существенных уточнениях (проверке глубин, выверке градусов, соотнесения карты и физического пространства). Столкнувшись с неточностями картографии, русские мореплаватели должны были собственным опытом проверять верность карт и вносить в них коррективы. Н. Полубояринов, цель экспедиции которого на английском корабле «Спикер» состояла именно в уточнении имеющихся карт и нанесении на них новых данных, постоянно в своем «Журнале» фиксирует обнаруживаемые картографические неточности:

19 дня июля пополудни в 5-м часу увидели мы Бразильский берег, о котором мы думали быть мысу Фрио, но токмо подойдя поближе к берегам, рассмотря, и уведомились от взятого с того места лоцмана, что оное место называется Сант-Антоновский пролив по северную сторону, не в дальности от мыса Фрио, и явилось в нашем счислении неверности в длине от Лизарда до мыса Фрио $2^{\circ}16'$ меньше, нежели как быть долж-

но, понеже мыс Фрио лежит в ширине южной $22^{\circ}34'$, в длине от Лизарда в $38^{\circ}16'$, а по нашему счислению [карте. – *О.Ф.*], длины были от Лизарда $36^{\circ}00'$ <...> В полдень 1-го дня ноября ширины усмотрено было $4^{\circ}53'$ юной, а по карте в такой ширине должна быть банка, именуемая Пасечь ди-Шалос остовой оконечности, которая в ширину распространяется на 4 градуса, и явилось в нашем исчислении неверности: 12 градусов больше, нежели как быть должно, понеже по нашему исчислению мы были в длине от Лизарда к осту на 88 градусов, а оной банки то место по описанию в длине от Лизарда находится на 76 градусов [Там же, с. 293].

Стремясь максимально точно зафиксировать пространственные ориентиры, Полубояринов, по сути, выверяет уже проложенный маршрут и заново создает карту, конструируя то пространство, которое казалось уже вполне освоенным. Полубояринов нанес на карту морской путь от Англии до бразильских берегов, оттуда до Индии и дальше – от Бомбея, вокруг Африки, до Британских островов. Этими морскими трассами широко пользовались русские мореплаватели первой половины XIX века.

Зачастую опасность таится именно в том, что должно, напротив, обеспечить некоторую уверенность мореплавателей и служить им руководством. Неточности картографии могли привести к фатальным последствиям. Так, например, А.С. Шишков описывает случай по пути к Сицилии:

Это случилось под вечер, мы <...> смерив по карте Сицилию в таком еще расстоянии от нас, что располагая по ходу судна, не прежде можем увидеть ее как завтра поутру, прибавили парусов и пустились на всю ночь плыть со всевозможною скоростью. Настала темная ночь. Фрегат наш летел! Я стоял на вахте. <...> Вдруг часу во втором или в третьем ночи увидел я перед самым носом судна превеликий пламень, который

в одно мгновение вспыхнул и потом исчез. <...> Тогда туже минуту велел я <...> положить руль на борт, разбудил людей и приведя фрегат к ветру лег в дрейф. <...> По рассвете открылись нам Сицилийские берега и мы недалеко от нас увидели, малый в окружности, но со всех сторон утесистый и довольно высокий каменный остров, называемый Стромбул. Он огнедышащий и весьма редко бросает из себя пламень [Шишков, 1834, с. 23–24].

В картографическом вычислении «была великая погрешность», мореплаватели «по карте считали себя гораздо далее от Сицилии нежели в самом деле были». Если бы не вулканический выброс, фрегат в темноте налетел бы на остров и все закончилось бы весьма печально.

Неточности картографического указания, которые отмечают Полубояринов и Шишков, могут быть обусловлены еще и тем, что на обширном пространстве водной глади нет стабильных ориентиров для мореплавателей даже на тех маршрутах, которые уже проходились и не раз другими. Но море не сохраняет никаких следов предшественников. Примечателен в этой связи еще один из описываемых Шишковым эпизодов путешествия:

Мы ходили взад и вперед по такому месту, где на голландской карте, по которой мы плыли поставлен был крестик, означавший, что тут находится подводный камень. <...> Однажды, мы сидели за ужином и разговаривали об этом. Иные утверждали, что это пустое воображение того, кто сочинял карту. Кто мог, говорили они, вподробну узнать, есть ли тут камень или нет? Тот, кто на него наткнулся, не мог известить о нем других, и без сомнения тайну сию унес с собою на дно моря». Один из офицеров экспедиции предложил весьма остроумный способ преодоления сомнений: «Да хотя бы и точно тут был камень, я знаю верное средство его миновать. Какое же? - спросили мы.

Стараться на него попасть, отвечал он. Счисление не может быть без погрешности; и так держа прямо на него непременно пройдем мимо. Мы засмеялись, и нашли способ его надежнее всех других предосторожностей [Там же, с. 4].

Для нас в данном случае важна констатация как неоспоримого факта принципиальной невозможности «верного счисления», карта морских путей, по твердому убеждению самих моряков, не может быть абсолютно точной. Путешествие даже с новейшей картой—это каждый раз игра с судьбой.

Пространство суши воспринимается как более стабильное и понятное в сравнении с морским еще и потому, что на земле и в земле сохраняется, в противоположность морю, множество вещественных доказательств вечности жизни человека:

Мы часто съезжали на берег, на сию толико в греческих бытописания прославленную землю, называемую Аттикою, ходили по пустым едва обитаемым местам, ничего не попадалось нам на ней <...> кроме, что находили инде, почти уже сравнявшиеся с землею, подножия огромных мраморных столпов [Там же, с. 29].

Помощью и ориентиром становится для Шишкова на, казалось бы чужом ему берегу, общекультурный код, сохраняемый на уровне генетической памяти благодаря мифологическим и легендарным сказаниям:

Я спешил съехать на берег, дабы побывать в том месте, откуда некогда Агамемнон, Ахилл, Улисс, Менелай и другие Греческие Цари, готовились со флотом идти на противулежащий <...> берег, на котором стояла древняя Троя [Там же, с. 31].

Ориентиры эти сохранились в текстах древних стихотворцев, которые, в противоположность морским картам, являются для Шишкова безусловно точными и четкими указаниями, сохраняющими следы и память давно утраченного минувшего. Земля, как место обитания человека, запечатлевает следы его пребывания в мире даже в том случае, если вещественный, осязаемый след давно и безвозвратно утрачен:

Мы, соединясь с фрегатом Северным орлом <...> пробыли еще около двух с половиной месяцев, переходя взад и вперед и останавливаясь на якорь, то подле Тенедоса, то подле Анатольского берега. Сей последний, заворачиваясь от первых Дарданелл, составляет тот кряж земли, где стояла некогда знаменитая Троя, которой следы так исчезли, что ничего приметного не осталось. <...> Не родись Гомер и Virgilий: сколько имен и дел, сквозь множество веков гремящих потонули бы давно в реке забвения! [Там же, с. 68–69].

Греческий берег, благодаря такой общекультурной памяти, не является для Шишкова чем-то безусловно чужим, а воспринимается, скорее, как неизвестное свое. Функцию воспоминаний вполне выполняет воображение, подпитываемое знанием поэтических произведений Гомера, Virgilия, Петрарки и Тасса:

Однакож воображение работало и душа поражалась при взгляде на те места, где за несколько пред сим веков Гектор сражался с Ахиллесом, где погиб Приам, где Елена с Парисом воздыхала, где плакала Андромаха, и откуда Эней, исхитив из пламени отца своего Анхиза, уехал за тем, чтобы воспалить любовию несчастную Дидону и построить на море чудный город Венецию [Там же, с. 68–69].

Стихотворные тексты, которые Шишков знает в совершенстве, выполняют для него роль своеобразной, но довольно точной карты местности не столько в географическом, сколько в духовном и культурном смысле. Историко-мифологические маркеры становятся его путеводителем во время путешествия по Италии. Претендуя на точность, фактографичность воспроизведения пространства, маршрут, предлагаемый картой оказывается более функциональным текстом, нежели, тот, который отражают литературные памятники. Ментальное освоение пространства, через общекультурные, литературные коды, происходит зачастую раньше, чем освоение опытным путем. Парадокс заключается в том, что научное знание, картография, требует постоянной проверки, а культурное знание уточнений не требует. Пространство культуры, в отличие от пространства географического, дает путешественнику XVIII века ориентиры более четкие, проверенные временем и зафиксированные в литературных текстах.

Литература

Андреев С. Журнал Анадырской команды сержанта Андреева, веденный во время путешествия по островам Ледовитого моря // Сибирский вестник. 1823. Ч. 4. Кн. 2–3.

Арасланов Ш. [Сказка Вятского купца о путешествии в Ташкент в 1741–1742 гг.] / Излож. Н. Оглоблина // Русский архив, 1888. Кн. 2. Вып. 8. С. 402–416. Под загл.: Путешествие русских купцов в Ташкент. 1741–1742.

Баранщиков В. Несчастные приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 г. // Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. М.: Восточная литература РАН; Школа-Пресс, 1995.

Бассевич Г.-Ф. Записки графа Бассевича, служащие к пояснению некоторых событий из времени царствования Петра Великого. (1713–1725) // Русский архив. 1865.

Бобринский А. Г. Дневник. 1779–1786 // С.А. Козлов. Русский путешественник эпохи Просвещения. СПб.: Историческая иллюстрация, 2003. Т. 1. С. 356–447.

Бурнашев Т.С. Путешествие от Сибирской линии до города Бухары в 1794 и обратно в 1795 году // Сибирский вестник. СПб., 1818. Ч. II. С. 247–284; Ч. III. С. 95–130.

Власова Е.Г. Маршруты путешествий и особенности формирования образа пространства в уральском травелоге конца XVIII – начала XX в. // Лабиринт. 2015. № 1. С. 34–49.

Второе путешествие Павла Петровича за границу. Записки участника // Русский архив. 1902. Кн. 3. Вып. 2. С. 433–460.

Гмелин И. Г. Путешествие по Сибири: 1733–1743: В 4 т. Репринтное издание 1751–1752 гг. СПб.: Альфарет, 2009.

Грейг С.К. Собственноручный журнал капитан-командора (впоследствии адмирала) С.К. Грейга в Чесменский поход // Морские сражения русского флота: Воспоминания, дневники, письма. М., 1994.

Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. И К. Вильмонт из России. М., 1987.

Ефремов Ф. Девятилетнее странствование унтер-офицера Ф. Ефремова по Средней Азии. М.: Географгиз, 1952.

Ефремов Ф. Странствования Российского унтер-офицера Ф. Ефремова. СПб., 1786.

Журнал путешествия во Францию и пребывания в Париже Петра Великого в 1716 году // Отечественные записки. 1822. Т. 12. № 21. С. 145–166; № 32. С. 312–326.

Журналы Первой Камчатской экспедиции о путешествии от Санкт-Петербурга до Камчатки и открытия Берингова пролива 1725–1730. СПб., 2012.

Зиновьев В.Н. Журнал путешествия В.Н. Зиновьева по Италии, Франции и Англии. 1785–1786 // Русская старина. 1878. Т. 23. № 10. С. 339–440.

Зуев В.Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. СПб., 1787.

Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского. СПб., 1914.

Куракин Б.И. Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина. 1705–1707 // Архив кн. Ф.А. Куракина. Кн. 1. СПб., 1890. С. 101–240.

Ланг Л. Путешествие Лоренца Ланга в 1715–1716 гг. в Пекин и его дневник // Страны и народы Востока. Вып. II. М.: Изд-во восточной литературы, 1961.

Левашов П.А. Цареградские письма // Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. М., 1995.

Лепёхин И.И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. Ч. 1. СПб., 1771.

Лепёхин И.И. Продолжение Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1770 году. Ч. 2. СПб., 1772.

Лепёхин И.И. Продолжение Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1771 году. Ч. 3. СПб., 1780.

Лепёхин И.И. Продолжение Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства. Ч. 4. СПб., 1805.

Львов Н.А. Итальянский дневник. Кёльн; Веймар; Вена: Бёлау-Ферлаг. СПб.: Пушкинский Дом, 1998.

Мамуркина О.В. Жанровые особенности ориентальной путевой прозы второй половины XVIII века // Пушкинские чтения–2011: материалы XVI междунар. науч. конф. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011. С. 15–23.

Мессершмидт Д.Г. Путешествие по указу Петра I. Из дневника Д. Г. Мессершмидта – исследователя народов Сибири. 1721–1725 гг. // Исторический архив. № 2. 2003.

Милогина Е.Г., Строганов М.В. Русская культура в зеркале путешествий. Тверь, 2013.

Милогина Е.Г., Строганов М.В. Путешествие и его природная обусловленность // Русский травелог XVIII–XX веков: коллективная монография / под ред. Т. И. Печерской; Мин-во образования

и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. С. 128–141.

Нарышкин И.Л. [Дневник русского путешественника: Отрывки] / Публ. и предисл. Е.Н. Ошаниной // Советские архивы. 1975. № 1. С. 105–108.

Озерецковский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. Петрозаводск, 1989.

Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб., 1773–1788.

Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства / пер. с нем.; отв. ред. Б. В. Левшин; Сост. Н. К. Ткачёва. М.: Изд-во «Наука», 1999.

Пален фон-дер. Журнал путешествия в Константинополь // Отечественные записки. 1823. Ч. 14. № 38. С. 372–384; Ч. 15. № 40. С. 236–247.

Платон (Лёвшин). Путевые записки преосвященного митрополита Платона Московского и Калужского, в Ярославль, Кострому и Владимир // Русский вестник. 1841. Т. 3. С. 502–522.

Полубояринов Н. Журнал путешествия мичмана Никифора Полубояринова в Индию в 1763–1764 гг. (Публикация В.И. Дивина) // Труды Института истории естествознания и техники. Том 27. 1959. С. 283–304.

Попов С. Походный журнал с описанием, учиненным Якутской воинской команды сержантом Степаном Поповым 1794 года, апреля с 20 дня // Стрелов Е.Д. Акты архивов Якутской области. Якутск, 1916. Т. 1.

Похождение прапорщика Климова: (Мемуары XVIII века). СПб., 2011.

Путешествие братьев Демидовых по Европе. Письма и подневные Журналы. 1750–1761 гг. М., 2006.

Резанов Н.П. Первое путешествие россиян вокруг света, описанное Н. Резановым (от Кронштадта до Бразилии) / Н.П. Резанов // Отечественные Записки. 1822–1825.

Рукавкин Д. Описание пути от Оренбурга к Хиве и Бухарам, бывшего при отправленном в 1753 году из Оренбурга в те места

купеческом караване Самарского купца данилы Рукавкина // Руссов С.В. Путешествие самарского купца Рукавкина в 1753 году. С приобщением разных известий о Хиве с отдаленных времен доныне. СПб., 1840. С. 25–34.

Рычков Н.П. Журнал или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 году. СПб., 1770.

Скопин Г.А. Дневная записка пешеходца – саратовского церковника из Саратова до Киева по разным городам и селам. Бытие в Киеве и обратно из Киева до Саратова / публ. и предисл. В.П. Соколова // Саратовский исторический сборник. 1881. Т. 1.

Сумароков П.И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году: С историческим и топографическим описанием всех тех мест. М.: Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1800.

Сумароков П.И. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году. СПб.: Тип. А. Сычева, 1839.

Челищев П.И. Путешествие по Северу России в 1791 году: дневник П.И. Челищева. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1886.

Шелихов Г.И. Российского купца Григория Шелихова странствования из Охотска по Восточному океану к американским берегам. Хабаровск, 1971. Шишков А.С. Записки адмирала А.С. Шишкова, веденные им во время его путешествия из Кронштада в Константинополь. СПб., 1834.

Фальк И.П. Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академией Наук, по предложению ее президента. Т. 6: Записки Путешествия Академика Фалька. СПб., 1824.

Фонвизин Д.И. Письма и дневники // Фонвизин Д.И. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.; Л., 1959. С. 317–582.

O.A. Farafonova

Novosibirsk State Pedagogical University

THE ITINERARIES OF RUSSIAN TRAVELOGUES OF THE 18TH CENTURY

Abstract. The subject matter of this paper are the works of Russian travel literature of 18th century, the scope of the study are the itineraries of Russian travelers in 18th century.

Travelogues can be classified according to the following characteristics: the purpose (an official mission or private business); the mode of transport (by land or by water); the form (epistolary, memoirs, autobiography or diary) and the direction (the itinerary). Study of itineraries of a certain period may be useful for creating a kind of mental map of an age, clarifying not only spatial key points and preferences, but also the philosophy of space. All the Russian travelogues of 18th century can be clearly divided into two sizeable and highly competitive classes, which are inland voyages and travels outside the Russian Empire. Russian culture in the Age of Peter the Great and the following period actively popularizes travelling and uses it for creating the picture of the world and humankind. A traveler is a model intellectual person, capable of development and seeking for new knowledge. Travelling materializes the space, making it tangible, visible and cognizable. Finding new knowledge, new information about the world is the most important purpose of travelling in 18th century.

Keywords: travelogue, itinerary, travel literature, travel, image of space.

Information about the author. Farafonova Oksana Anatolievna, Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Vilyuyskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: oxana.faroks@yandex.ru).

Н.В. Константинова

Новосибирский государственный педагогический университет

**НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ АВТОРОВ-
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В ТРАВЕЛОГАХ
О КАМПАНИИ Д.Н. СЕНЯВИНА НАЧАЛА XIX ВЕКА¹**

Аннотация. Исследование посвящено основным вопросам изучения эволюции жанра травелога в России в начале XIX в., в период, который ученые традиционно называют «эпохой путешествий». Материалом исследования в данном случае послужили травелоги о кампании Д.Н. Сенявина, так как именно эта экспедиция по сравнению с другими военно-морскими предприятиями эпохи довольно хорошо оказалась «обеспечена» мемуарными свидетельствами. Особый интерес вызывает способ описания, казалось бы, одинаковых событий, в которых авторы травелогов были непосредственными участниками либо очевидцами. С одной стороны, в своих записках о путешествии авторы выражают очевидные установки на достоверность, подлинность, документальность, на максимально подробное описание событий, с другой стороны, в их текстах акцентируется внимание и на субъективности, стремлении выразить свои собственные переживания, мысли и чувства, угодить читателям и «выразить себя». Таким образом, предметом исследования становятся индивидуальные нарративные стратегии авторов-путешественников, которые создают свои произведения под влиянием мощной литературной традиции. В процессе анализа текстового материала (путевых записок) выделяются принципы и формы соединения двух основных нарративных стратегий: автора-документалиста, этнографа, историка и автора-писателя, литератора, художника.

Ключевые слова: травелог, нарративные стратегии, автор-путешественник, документалист, литератор.

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII-XX веков»).

Сведения об авторе. Константинова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Виллюйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-03-30. E-mail: scribe2@yandex.ru).

В исследовательских работах о формировании и эволюции жанра травелога в России особое внимание уделяется периоду конца XVIII – начала XIX века, который даже принято называть «эпохой путешествий» [Ивашина, 1979; Гуминский, 1987; Куприянов, 2004]. При этом отмечается тот факт, что заметный рост числа реальных путешествий в начале XIX века сопровождался столь же существенным подъемом соответствующего литературного жанра.

На этом фоне, безусловно, выделяется одно важное историческое событие – кампания Дмитрия Николаевича Сенявина начала XIX века. Двести лет тому назад, в конце августа 1805 года, пять линейных кораблей и один фрегат Балтийского флота снялись с кронштадтского рейда и взяли курс на Средиземное море. Командиром эскадры был назначен вице-адмирал Д.Н. Сенявин. Перед экспедицией была поставлена задача укрепления базы российского флота на Ионических островах. В январе 1806 года корабли достигли места назначения, где присоединились к отрядам Черноморского флота, находившимся на Корфу, а через год, в декабре 1806 года, сюда прибыла эскадра капитана-командора И.А. Игнатьева. Таким образом, к этому времени под командованием Д.Н. Сенявина сосредоточилось полтора десятка линейных кораблей, значительное число мелких судов и десантный корпус (около 30 тыс. чел.). В сложной и неустойчивой международной обстановке присутствие мощной военно-морской группировки

в стратегически важном Средиземноморье должно было послужить укреплению позиций России.

Исследователи уже давно обратили внимание на то, что именно экспедиция Д.Н. Сенявина по сравнению с другими военно-морскими предприятиями этой эпохи довольно хорошо «обеспечена» мемуарными свидетельствами: [Броневский, 1818–1819], [Свиньин, 1818–1819], [Панафидин, 1916], [Клемент, 1823], [Мельников, 1872] [Коростовец, 1905] и др.

Не менее интересные сведения об этом событии содержат и фрагменты дневника В. Софонова, которые были помещены в третьей части «Воспоминаний на флоте» П.П. Свиньина. В.Б. Броневским были изданы также записки Н.А. Коробки.

Однако, как отмечают исследователи (в основном историки), содержание этих материалов не исчерпывается описанием только военных событий, значительное место в них занимают другие сюжеты. Рассказы о маневрах кораблей, борьбе со стихией, взятии «призовых» неприятельских судов и кровопролитных сражениях постоянно перемежаются более или менее детальным описанием нравов и обычаев, языка и характера, одежды и жилища различных народов. Кроме того, интерес вызывает и способ описания, казалось бы, одинаковых событий, в которых авторы травелогов были непосредственными участниками либо очевидцами. Именно нарративные стратегии авторов-путешественников исследованы в меньшей степени, хотя авторские установки уже в прижизненных публикациях вызвали различного рода комментарии и даже публичные споры и взаимные обвинения.

Так, в частности, П. Куприянов (историк по образованию) в своей исследовательской работе подробно описывает литературную распрю между двумя авторами травелогов о кампании Д.Н. Сенявина: «В декабре 1818 г. на страницах петербургского еженедельника “Сын Отечества” разразился

литературный скандал. Не являясь сколь-нибудь значимым событием в истории русской литературы, он, тем не менее, должен был привлечь внимание читателей хотя бы накалом страстей. Оппоненты открыто обвиняли друг друга в неблагодарности, плагиате ("присвоении чужой собственности"), обмане публики и клевете. Участниками этой острой полемики были В.Б. Броневский и П.П. Свиньин, а непосредственным поводом – вышедшая накануне книга последнего "Воспоминания на флоте". Началось все с того, что в 49-м номере журнала (за 7 декабря) появилось "Уведомление" В.Б. Броневского, в котором автор <...> заявлял, что некоторые фрагменты его рукописи, лишь слегка измененные, были вставлены П.П. Свиньиным в свою книгу. В доказательство В.Б. Броневский привел несколько параллельных мест из "Воспоминаний на флоте" и из своих записок, фрагменты которых еще летом 1818 г. были опубликованы в разных журналах. Он не только отмечал очевидные сходства соответствующих эпизодов в текстах двух авторов, но и указывал на противоречия, возникающие в повествовании П.П. Свиньиного после вставления чужих фрагментов <...> Таким образом, В.Б. Броневский уличал П.П. Свиньиного, во-первых, в использовании чужого текста, а во-вторых, в обмане публики: оказывалось, что он вовсе не был очевидцем всего того, что описывал, хотя назвал свою книгу "Воспоминаниями"» [Куприянов, 2004, с. 60].

Оппонент П.П. Свиньин при этом подчеркивает, что совпадения не абсолютны. В своих комментариях он акцентирует внимание на том, что В.Б. Броневский описывает те же объекты, но совсем «другим языком».

Таким образом, именно способ изложения материала, принцип повествования о событии становится предметом споров и разного рода обсуждений, а также встречается в автокомментарии к запискам. Описанная литературная полемика

ка наглядно продемонстрировала значимость очень важных вопросов, возникающих перед создателем травелога: автор должен описывать только те события, в которых он непосредственно участвовал, либо был их очевидцем? Каким образом необходимо фиксировать события в записках? Каким слогом необходимо описывать увиденное? Какова цель фиксации тех или иных событий, впечатлений, характеристик? Какова логика повествования?

При подробном изучении записок читатель, безусловно, находит ответы на эти вопросы. Автор-путешественник считает за правило объяснить свои установки либо в предисловии к читателю, либо в процессе комментария своей писательской стратегии внутри повествования о событиях.

Приведем некоторые примеры:

Не знаю, что припомнить до сего дня определения моего на фрегат Автроил, но да будет ведома друзьям моим эпоха в моей жизни: путешествие, которое я начал, и 21-го сентября, когда я поступил сюда. Если Бог приведет меня обратно, вы услышите изустно о том, что со мною случиться; между тем я записывать стану все, что будет принадлежать до четырех чувств вашего искреннего, приверженного и верного друга [Коростовец, 1905, № 1, с. 43].

Установка автора записок: последовательно (хронологически) записывать все события для друзей (что видел, чувствовал, слышал):

Но что я расписался о Копенгагене, будто бы какой странник, описывающий такое место, где был он первым? У нас в Кронштадте есть сотни людей, которые верно вытоптали много копенгагинской грязи. Пускай Муза повествований переменит идею [Там же, с. 60].

П.П. Свиньин в предисловии к своим «Воспоминаниям» пишет:

Главная цель моя сообщить будущему Исторiku справедливые сведения для описания сей славной кампании и представить в настоящем свете подвиги знаменитого Россиянина... [Свиньин, 1818, с. 10].

И В.Б. Броневский также объясняет именно в предисловии свои авторские установки:

... обошед Европу, видел я лучшие ее страны, знаменитые происшествиями. Славные своими древностями, просвещением и науками <...> Я вел ежедневные записки о тех событиях, коих был очевидец и о том, что казалось мне достойным внимания и любопытства <...> В полной надежде на снисхождение отечественной публики предлагаю историческое повествование сего достопамятного похода и вместе путевые мои замечания, мысли и впечатления, изложенные в хронологическом порядке. Счастливым почту себя, если просвещенные читатели удостоят благосклонным принятием сей первый труд мой, и если принесу удовольствие служившим тогда на флоте и в 15 пехотной дивизии в Корфе находившемуся офицерам, изображением тех битв, где каждый из них имел неотъемлемую часть славы» [Броневский, 1836, ч. I, с. 2].

Таким образом, с одной стороны, авторы выражают очевидные установки на достоверность, подлинность, документальность, на максимально подробное описание событий, с другой – в их записках акцентируется внимание и на субъективности, стремлении выразить свои собственные переживания, мысли и чувства, угодить читателям и «выразить себя». Конечно, следует указать, что авторы травелогов в этот период даже невольно испытывали на себе влияние мощ-

ной литературной традиции, порожденной произведением Н.М. Карамзина. Его «Путешествие», пользовавшееся, как известно, большой популярностью, и многочисленные произведения его последователей превращали просто поездку (и прежде всего – заграничную поездку) – в путешествие, простой факт личной биографии – в предмет литературы. Пребывание за границей (теперь как будто само собой предполагавшее последующее его описание) становилось достойным поводом и мощным стимулом для литературного творчества. В связи с чем в путевых заметках возникало очевидное «напряжение» между двумя нарративными стратегиями: автора-документалиста, этнографа, историка и автора-писателя, литератора, художника (во многих текстах есть интересные и самобытные иллюстрации автора, например, в записках Клементя).

Как литературный жанр «путешествие» конца XVIII – начала XIX века обладало целым рядом типичных элементов. Так, например, Е.С. Ивашина выделяет наиболее распространенные компоненты: «Устойчивые мотивы были свойственны Предисловию, “Предуведомлению к читателю”; присущий путешествию характер Посвящения, как и само наличие Предисловия и Посвящения, признавался обязательным. Литературное “путешествие” отличала заметно утрированная метафоризация и стиля, и фабулы. Сочетание стихов и прозы, особый способ оформления (как правило, в виде писем), обильное цитирование, а также ряд постоянных сюжетных мотивов – все это постепенно становилось “каноном” литературного “путешествия”» [Ивашина, 1979, с. 9]. К наиболее устойчивым характеристикам исследователи относят также указание на любительский характер записок, преподнесение их как «безделок», имитация нелитературности, обращение к друзьям, стремление убедить читателя в спонтанной фиксации увиденного.

Подобные признаки «литературного канона», безусловно, характерны и для травелогов о кампании Д.Н. Сенявина. Приведем некоторые примеры:

1. Записки Н. Коростовца:

Обращение к конкретным друзьям:

Ну, друзья. Обед готов, три часа было; пойдемте отобедаем английского обеда. Любезный Алексей. У тебя заранее слюнки текут, а не то есть захочется!... но полно писать о том, что обво-
рожает всегда вкус [Коростовец, 1905, № 1, с. 59].

Комментирование процесса письма, установка на спонтанность фиксации впечатлений:

...стараюсь сказать вам слова 2-3 (несмотря на непогоду) <...> В жестокую качку, едва успевая водить по бумаге перо, без того, чтобы не капнуть или не провести лишнего крючка... [Коростовец, 1905, № 2, с. 210].

2. Записки В.Б. Броневского:

Просвещение Читателя:

...оставим корабли спокойно продолжать путь свой. Сделаем небольшое отступление для тех, коим небесполезно знать, каким чудесным образом столь великие громады, каковы корабли, по важным, непостоянным зыбям безопасно движутся, и кратким объяснением мореплавания, дадим им некоторое понятие о том искусстве, каким суда из края в край, от страны в страну надежно препровождаются <...> Ни одна из наук, постепенно восходивших к совершенству, не поспешала такими исполинскими шагами, как наука мореплавания [Броневский, 1836, ч. I, с. 28, 31].

Например, образ турка в литературе того времени (за редкими исключениями) строится в соответствии с абстрактным образом «дикаря», разработанным в философии Просвещения. Популярные историко-философские концепции рассматривали традиционную просветительскую оппозицию дикости и цивилизации как формулу, отражающую вектор прогрессивного развития человечества.

Так, П.П. Свиньин в своих записках очевидно выражает данную стратегию:

...кто может простить Туркам, что прекрасную землю сию, жилище Муз, искусств, вкуса изящного, превратили они большею частию в пустыню; плодоносная почва остаётся необработанною, леса вырублены, славные города опустели. С равнодушием и жестокостью неизмеримою уничтожают они последние остатки прекрасных образцов Греческого зодчества, образцов, кои когда-либо ум человеческий произвести мог, пережигая единственные колонны и неподражаемые каменные барельефы на известь! Как можно примириться с мыслью, что варварские мечети заступили место великолепных храмов; что там, где Солоны и Ликурги начертали законы, там сластолюбцы построили гаремы и наполнили их евнухами; там, где восседало правосудие, там висит шнурок жестокого и слабого деспота; там, где мудрость и благородное красноречие Демосфенов поощряло народ к патриотизму и вело Греков по стезе добродетели – там развращённые Мусульмане сонным питием подкрепляют изнурённое тело своё! [Свиньин, 1818, ч. I, с. 78].

Подобное следование литературным традициям ещё раз подтверждает наличие определенной установки автора травелога: создать литературное произведение, увековечить свое имя, событие, его участников, поэтизировать реальность. Однако интерес вызывают данные записки как повествование, в котором взаимодействуют литературная традиция и лич-

ный опыт, соединяются различные установки автора. В связи с этим нарративные стратегии авторов-путешественников, реальных участников описанных событий, оказываются гораздо богаче и многообразнее выделенных шаблонных, стереотипных конструкций.

Следует отметить, что при изучении литературной традиции путевых записок исследователи уже обращали внимание на двойственность позиции автора. Так, например, делая акцент на произведениях XIX века, Надежда Викторовна Иванова в работе «Жанр путевых записок в русской литературе первой трети XIX века» [Иванова, 2010] указывает, что в первой трети XIX века происходит усиление фигуры автора в рамках сюжетной структуры путевых записок. Она трансформируется и обретает дуалистическую сущность: автор-повествователь и путешественник. Однако собственно документальные путевые записки с точки зрения анализа нарративных стратегий автора не подвергались системному изучению. На наш взгляд, исследуя данный текстовый материал, можно выделить следующие варианты авторских установок:

1. Разрушение стереотипных представлений читателя с помощью изменения точки зрения рассказчика на описываемый объект.

Например, В.Б. Броневский в разделе «Нечто о турках» отмечает:

Многие путешественники, не зная их языка и будучи преубеждены мечтаниями о славе древней Греции, всё в них осуждали; о действиях их и побудительных к тому причинах часто, по соображению со своими обычаями, судили превратно [Броневский, 1836, ч. II, с. 158].

Для того, чтобы представить иную точку зрения, В.Б. Броневский использует высказывания турок о себе:

Турки сами признают, что при поспешном их суждении иногда погибают невинные, но они в оправдание своё говорят: «Лучше пожертвовать десятью овечками для истребления одного хищного волка, нежели дать ему способ задавить ещё сотню и другую» [Там же, с. 159].

По наблюдению путешественника:

Турки думают иначе о исполнении смертных приговоров и говорят, что лучше умереть нечаянно, нежели продолжительно страдать в ожидании определённой казни... необходимая смерть, определённая законом, тем самым по возможности облегчается;

Честность Турок заслуживает особенное внимание и поистине достойна нашего удивления. Купцы их верят друг другу на миллионы, без векселей и записей, на одно только честное слово, и выдают деньги при одном свидетеле... Турки столь гнушаются обманом или подлогом в торговле, что если вы, пришед в Турецкую лавку, покажете сомнение о качестве или цене товара, то Мусульманин примет сие за крайнюю обиду и часто скажет: «Неужели вы принимаете меня за Христианина?» Таково их мнение о всех Христианах, которое в некотором отношении частью и справедливо [Там же, с. 160].

П. Куприянов, комментируя подобную стратегию авторов, рассуждает о своеобразии их взгляда на чужое сознание: «Что же заставило путешественников спорить с традиционными представлениями? Что двигало ими в этой полемике, помимо общего для всех путешественников соблазна разоблачения устоявшихся стереотипов? Материалы путешествий свидетельствуют, что при всей клишированности восприятия

Иного, авторам всё же была свойственна самая главная черта подлинного этнографического исследования: стремление не просто заметить и описать, но еще и понять Другого – исключительно редкое и крайне полезное качество, столь же необходимое сегодня, как и двести лет назад» [Куприянов, 2005, с. 42]. Однако, следует указать, что подобная стратегия, демонстрирующая способность и желание путешественника проанализировать чужое сознание, оценить поступки представителей другой страны с точки зрения их индивидуальной национальной картины мира, свойственна не многим авторам травелогов. Из выделенного нами текстового материала о кампании Д.Н. Сенявина такой подход характерен в большей степени для записок В.Б. Броневского. Безусловно, похожие элементы встречаются и в повествовании записок П.П. Свиньина, но, учитывая точку зрения о «вторичности» его текстов, можно с уверенностью выделить только подходы В.Б. Броневского.

2. Познание себя в процессе письма; психотерапевтическое свойство письма; повествование о себе, своем личностном росте, перерождении. Восприятие путешествия как личной истории. Противопоставление себя всем другим, даже близким, друзьям. Особая точка зрения: путешественник – странник – избранный, особенный человек. Изменение взгляда на мир в процессе путешествия. Фиксация нового видения.

Наибольшее количество примеров данной стратегии можно обнаружить в записках Н. Коростовца:

Вы теперь, друзья, греетесь у теплой печи, мы странствуем; ... всегда одно и то же. Нет ни книг, нельзя и негде писать; кроме воды и неба натура ничего не представляет воображению. И кто что ни говори, а я чувствую, что теперь я самый

пропащий человек! ... я живу, не зная для чего... [Коростовец, 1905, № 2, с. 231, 234].

Общефилософские размышления автора-путешественника:

Милые друзья, в ваших объятиях надобно искать утешения сердцу, которому ничто не льстит в будущем! Скажите. Что человек без надежды. Птица, которой отрезали крылья. Но время и тут помогает; человек же, лишившийся надежды, убитый несчастиями, чувствительный без чувств, считает на часах секунды и ждет, скоро ли придет час его кончины. Я молод, но жизнь для меня не есть дар богов. Если бы вы были тут подле моего сердца, вы увидели бы слезы, которые остановились на глазах и стеснение в груди. Боже, суди обидящих мя! [Там же, с. 230].

1 января 1805 г. Рубеж в сознании автора. Размышления о судьбе друзей (Мишель, Алексей, Фриц):

Все мы, друзья, отягчены горестями. Все мы не видим берега. Все погружены в мрак. Философия, тебя призываю на помощь, утешь меня и моих друзей. В твоих объятиях, в нечувствительной для мысли бытности, забудем мы прошедшее и в настоящем не станем тосковать, если ты сильна нас утешить <...> Нет, друзья, вы меня не забудете и узнаете, когда предстану перед лицом Бога, творца видимого и невидимого. Исчезла мечта... я перерождаюсь. Оставьте меня воображения, представляющие вас, я им не верю; знаю, что я теперь один [Там же, с. 235].

Выделенные примеры наглядно демонстрируют, безусловно, установки скорее литератора, писателя, нежели объективного путешественника. Рассказ о событии путешествия превращается в повествовании в акт мифотворчества. Очевидец превращается в поэта, художника, творца нового мира.

3. Соединение разных дискурсов при описании одного и того же явления, предмета, события. Сочетание разных точек зрения: поэта, художника и историка, естествоиспытателя.

Например, в описании моря В.Б. Броневский очевидно соединяет разные дискурсы (поэтический, литературный и научный):

Вода издавала блеск, подобный золоту, корабль по-видимому плыл в растопленном металле ... Картина ужасная и вместе прекрасная! <...> морская вода, содержащая в себе множество селитренных, фосфорических и других частиц, от трения о борт корабля, как будто возгорается, и в темную ночь при скором ходе производит сие явление [Броневский, 1836, ч. II, с. 287].

Рассказывая о путешествии сельди, автор проводит явную параллель с деятельностью человека-путешественника:

...вечная премудрость, которая печется о сохранении всех тварей, и здесь заметна в жизни и разуме сельдей, если сим можно назвать то тайное побуждение (инстинкт), который заставляет их предпринимать путешествие всегда в одно время, до известной широты, и в строе, порядке удивительном возвращаться в отечество свое, северный полюс, где под льдом от хищных рыб живут они в безопасности [Там же, с. 345].

Но в то же время далее в записках он приводит совершенно объективное с научной точки зрения объяснение такого явления:

Естествослы, изыскивая причину такового правильного путешествия сельдей, полагают искание пищи, состоящей в червях, коими северные моря преисполнены [Там же, с. 345].

Таким образом, благодаря такому приему, автору удастся провести параллель между объективной реальностью и субъективным (символическим) восприятием мира, описать процесс метафоризации, превращения предмета в объект искусства, литературный образ.

4. Установка на новизну объекта и способа описания. Сравнение собственной нарративной стратегии с другими вариантами. Обозначение индивидуальной позиции рассказчика.

Так, В. Броневский неоднократно обращает внимание читателя на принципиальном новаторстве своего повествования:

...собрав подобные сведения о Черногории и Катарской области. Я постараюсь с точностью изобразить свойства народа, по происхождению и вере столь к нам близкого, а по преданности, любви и усердию к России тем более достойного внимания моих соотечественников, что страна сия еще ни одним путешественником не была описана;

Таким образом, объехал я Катарскую область и в продолжении времени собрал достаточные сведения для вернейшего ее описания, за всем тем оные были бы несовершенны и поверхностны, если бы не старался я собственные мои суждения проверить с показаниями многих знающих особ, наиболее же обязан К.В.Р., который доставил мне... Но как сей офицер. Увлекаясь духом католицизма, представил характер народа совершенно в искаженном виде. То я заимствовал от него только статистическое и частью историческое описание;

Черногорцы, ведя беспрестанную войну со своими соседями, не впускают ни одного иностранца в свою землю. Путешественник, который пожелал бы снять местоположение, подвергся бы опасности потерять жизнь; они почли бы его за шпиона какой-нибудь державы. По сей причине из множества путешественников нет ни одного, который бы посетил Черно-

горию. и нет ни одного творения о произведениях ее, о правлении, нравах и обычаях жителей [Там же, с. 482–498].

Автор записок даже пытается оправдаться перед читателем с помощью «нового объекта» описания: «Новость предмета вознаграждает негладкость слога» [Там же, с. 498]. Благодаря тому, что в тексте смещаются акценты с повествования на объект, автору удается создать эффект спонтанности и достоверности, «необработанности» текстового материала. Это позволяет существенно повысить степень значимости данных записок, присвоить им статус «творения» о «новом мире».

5. Национальная самоидентификация нарратора. Выражение точки зрения русского путешественника.

В этом отношении выделяются вновь записки Н. Коростовца:

...везде стараются обмануть иностранцев; а потому судите, друзья мои, простительна ли и для россиян склонность к обману? О друзья, друзья, все люди одинаковы, везде один характер. Смейтесь и шутите как хотите [Коростовец, 1905, № 2, с. 202].

Постоянно автор сравнивает портовые города со своим родным Кронштадтом:

Вот задача, что лучше, виднее, Кронштадт или Портсмут? [Коростовец, 1905, № 1, с. 54].

Либо в записках наблюдается сравнение с Петербургом:

Во всем Портсмуте я не видал ни одного дома, который бы мог сравниться величиною с самым малым каменным домом в Петербурге [Там же, с. 67].

Оценивая военное могущество другого государства, Н. Коростовец, например, приводит статистические данные о составе английского флота:

Я нарочно выписал сие, чтобы показать вам, до какой степени увеличивают они свои морские силы, опасаясь ужасного для них Бонапарте [Там же, с. 52].

При этом русский моряк делает вывод о том, что только 9-я часть кораблей у англичан – французские. А у России в 1794 году 5-я часть – из кораблей, отнятых у неприятеля:

Честь и слава да подобает во веки российскому народу! [Коростовец, 1905, № 2, с. 52].

Записки В. Броневского также очевидно демонстрируют позицию русского путешественника:

...иностранца, приехавшего в 1 раз в Англию, изумляют деятельность, трудолюбие и чистота;

Обычай совсем новый для русских! Здесь девицам оставляется вся свобода, а женщина, мать семейства, напротив, сидит дома, и редко, очень редко является в большие собрания;

английская чернь величает иностранцев общим именем “французская собака”; одни только русские исключены из сего уничижительного звания; их называют Рушин добра, т.е. русский, добрый человек, мне весьма приятно было слышать, как усатые наши солдаты развязно и ласково разговаривали с итальянцами: таковая способность русского скоро приобретает ему любовь во всех землях. Француз, англичанин, если не обижают бедняка, то по крайней мере хотят показаться гораздо его благороднейшим. Русский не ищет сего преимущества и желает быть ему равным. Итальянская чернь кричит: да здравствуют русские! [Броневский, 1836, ч. III, с. 35, 234].

Интересно, что два автора, независимо друг от друга, практически одинаково оценивают могущество русского флота. Так, в записках В.Б. Броневского почти дословно повторяется фраза Н. Коростовца:

...нужным считаю при сем заметить, что англичане имеют в своем флоте 108 французских кораблей. Что составляет 9-ю часть всей их морской силы; мы, по окончании Шведской войны в 1794 году, имели 34 неприятельских корабля. Т.е. 5-ю долю всего нашего флота. Честь и слава русскому народу! [Броневский, 1836, ч. III, с. 45].

Таким образом, многочисленные травелоги о кампании Д.Н. Сенявина начала XIX века дают не только полное представление об историческом политическом значении данного события, воспроизводят документальные свидетельства о специфике действий каждого участника кампании, подробно описывают основные этапы морской экспедиции, нравы и обычаи народов, но и демонстрируют своеобразие нового жанра (Слова о путешествии), который синтезирует литературный канон и личный опыт путешественника, стереотипность, шаблонность повествования с индивидуальной нарративной стратегией автора-путешественника. При этом установка на объективность записок в процессе фиксации событий модифицируется, заменяется субъективным повествованием автора о собственном восприятии, эмоциях и переживаниях. На уровне нарратива выражается стремление автора совместить несколько точек зрения на мир: поэта, писателя, художника, человека, документалиста, этнографа, историка. Такой подход позволяет автору-путешественнику познать Иное, Чужое через самоидентификацию личности.

Литература

Броневский В.Б. Записки морского офицера в продолжении Кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. СПб., 1818–1819.

Гуминский В.М. Открытие мира, или Путешествия и странники. М., 1987.

Иванова Н.В. Жанр путевых записок в русской литературе первой трети XIX века: тематика, поэтика: дисс. ... канд. филол. наук. М., 2010.

Ивашина Е.С. О специфике жанра «путешествия» в русской литературе первой трети XIX в. // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1979. № 3.

Клемент Н.М. Записки Русского Офицера о плавании в Средиземное море и о пребывании в плену у Албанцев и Турок // Северный Архив. 1823. № 17–18.

Коростовец Н. Из путевых записок моряка Николая Коростовца // Русский Архив. 1905. Кн. I. № 1. С. 43–69; № 2. С. 201–237.

Куприянов П.С. «Ожесточенные варвары» с благородным характером // Восточная коллекция. 2005. № 2. С. 26–42.

Куприянов П.С. Русское заграничное путешествие начала XIX века: парадоксы литературности // Историк и художник. 2004. № 1. С. 59–73.

Мельников Г.М. Дневные морские записки, веденные на корабле «Уриил» во время плавания его в Средиземном море с эскадрой под начальством вице-адмирала Д.Н. Сенявина состоявшею. СПб., 1872.

Панафидин П.И. Письма морского офицера (1806–1809). Пг., 1916.

Свиньин П.П. Воспоминания на флоте. СПб., 1818–1819.

N. V. Konstantinova

Novosibirsk State Pedagogical University

**THE NARRATIVE STRATEGIES OF THE TRAVELLING
AUTHORS IN THE TRAVELOGUES ABOUT
D. N. SENYAVIN'S CAMPAIGN IN EARLY 19TH CENTURY**

Abstract. The research is devoted to the main problems of evolution of the travelogue genre in Russia in early 19th century, in the period, which is traditionally called "the age of travels". The materials of the research are the travelogues about D.N. Senyavin's campaign, because this particular expedition was quite well provided with the memoirs entries in comparison with other naval actions of this period.

The way the seemingly same events are described by their direct participants or eyewitnesses is especially interesting. On the one hand, the authors of notes obviously aim at accuracy, documental character, the most detailed description of events; on the other hand, their attention is also focused on subjectivity, the attempt to express their own experience, thoughts and feelings, to please the readers and "express themselves".

Thus, the subject matter of the research are the individual narrative strategies of the travelling authors, who create their works under the influence of a powerful literary tradition.

The principles and forms of the two main narrative strategies' combination, such as author-documentary maker, ethnographer, historian, author-writer, litterateur, artist, are marked out during the analysis of the text material (the travelling notes).

Keywords: travelogue, narrative strategy, travelling author, documentalist, litterateur.

Information about the author. Konstantinova Natalia Vladimirovna, Candidate of philological sciences, head of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluyskaya str., 28. building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: scribe2@yandex.ru).

О.С. Рощина

Новосибирский государственный педагогический университет

**ПУТЕШЕСТВИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКИХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ «ПРИБАВЛЕНИЯ К ИРКУТСКИМ
ЕПАРХИАЛЬНЫМ ВЕДОМОСТЯМ»)**

Аннотация. В травелогах восточно-сибирских священнослужителей можно выделить два основных типа: описание поездки по служебной надобности, в течение которой автор исполняет свои обязанности, и описание поездки, во время которой автор освобожден от исполнения служебных обязанностей или исполняет их в минимальном объеме. В текстах первого типа говорится о миссионерских поездках священников, поездках архипастырей (миссионерских, обзорно-инспекционных, для освящения храмов) и поездках священнослужителей с учениками школ. Одна часть таких текстов является отчетами, в которых авторы скрупулезно фиксируют собственные действия или действия архипастыря, а путешествие обозначают только указанием основных пунктов маршрута и иногда сопровождают рассказом о трудностях пути или краткими историческими справками. В другой части текстов жанр отчета совмещается с жанром путевых записок или дневника. В таком случае помимо описания профессиональных действий даются исторические, географические, культурологические сведения, рассказывается об особенностях местности, населенных пунктах, нравах и обычаях жителей. Немногочисленные поездки без исполнения в дороге служебных обязанностей (длительные поездки до пункта назначения, паломничества) представлены преимущественно в жанре путевых записок, где авторы не только номинативно описывают незнакомые реалии, но в большей степени, чем авторы текстов первого типа, стремятся фикс-

сировать свои впечатления, высказывать частные суждения, обращаться к читателям. Некоторые путевые записки ориентируются на образцы художественной литературы.

Ключевые слова: путешествие, травелог, миссионерское путешествие, архипастырское путешествие, путешествие с учениками школ, отчет, путевые записки.

Сведения об авторе. Рощина Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, корпус 3. Тел. (383)2440126. E-mail: roschina67@mail.ru).

Много текстов, описывающих поездки сибирских священнослужителей во второй половине XIX – начале XX века, связано с миссионерской деятельностью их авторов. В Восточной Сибири официальная миссионерская деятельность, начатая еще священниками при первых казачьих экспедициях в XVII–XVIII веках, несколько раз прерывалась. Деятельность Даурской духовной миссии (1681–1727) завершилась в связи с правительственным «запретом на активизацию православия, ввиду опасения осложнений дипломатических отношений с Китаем. Пользуясь этим, в Забайкалье активизировали свою деятельность старообрядцы, буддисты и английские протестанты при открытой поддержке светской власти [Жалсараев, 2006, с. 22]. Новая духовная миссия была создана в 1821 году, но из-за нехватки средств ее успех оказался незначительным, и в 1842 году она была упразднена. И только в 1862 году была учреждена Забайкальская духовная миссия (Селенгинское викариатство) с центром в Посольском Спасо-Преображенском монастыре (на восточном берегу озера Байкал) и главой миссии в сане епископа.

С 1863 года стал выходить еженедельник «Иркутские епархиальные ведомости»¹ с обширной неофициальной частью под названием «Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям», в которой, в частности, печатались описания путешествий священнослужителей Иркутско-Нерчинской, Камчатской, Якутской и Красноярской епархий, Забайкальской и Пекинской духовных миссий. Большинство текстов написаны во время путешествия или вскоре после него. Редко встречаются тексты мемуарного характера, когда между событием и его описанием есть достаточно длительная временная дистанция. Н.П. Матханова, исследовавшая сибирскую мемуаристику² XIX века, отмечает: «В мемуарах миссионеров, как правило, описываются образ жизни аборигенов, их обычаи, отношения с властью, содержание бесед и проповедей самих миссионеров, их споры с ламами и шаманами, приводятся результаты собственной деятельности. <...> Как явление духовной культуры, записки духовенства обнаруживают очевидную привычку к рефлексии и письменному закреплению своих размышлений, а также вполне понятную стилистическую близость к проповедям. Общее в мемуаристике военных, чиновников и духовенства – внимание к профессиональной деятельности авторов, нередкое использование служебных документов, содержательная, а порой и стилистическая близость к официальным отчетам и донесениям [Матханова, 2010, с. 113–114].

Так и в сочинениях забайкальских миссионеров, жанр которых обозначен как записки, отчеты или дневники, оче-

¹ Газета «Иркутские епархиальные ведомости» почти два десятилетия была единственным епархиальным изданием в Сибири. С 1895 по 1917 гг. стала издаваться два раза в месяц.

² Мемуаристику автор понимает достаточно широко, относя сюда воспоминания, дневники, письма, путевые записки, очерки.

видна близость к служебным документам. А один из первых текстов в этом ряду на страницах «Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям» – «Отчет в миссионерских занятиях посольского иеродиакона (ныне иеромонаха) Мелетия за вторую половину 1862 года» – по сути, является официальным документом, практически лишенным личных впечатлений. Здесь даже небольшое землетрясение в ночь на 16 сентября 1862 года описывается протокольно в двух фразах: «На 16 число ночью было землетрясение, при чем были слышимы гул, треск по стенам дома и шум на улице. От колебания растворились само собою дверцы гардероба» [Мелетий, 1863, № 27, с. 430]. Хотя в «Записках» за последующие годы Мелетий (Якимов) будет неоднократно вспоминать сильное землетрясение зимой 1861–1862 годов, наделавшее много бед, свидетелем которого он, правда, не был.

Во всех произведениях миссионеров, как и в официальных документах, обязательно сообщается о цели поездки, датах и точном маршруте путешествия, разговорах с «инородцами» о вере, количестве новообращенных в христианскую веру, совершенных службах и требах. Все забайкальские священнослужители описывают трудности в своем деле, связанные с нежеланием бурят принимать крещение и активным противодействием лам и шаманов, а также с отдаленностью и зачастую труднодоступностью проживания бурят по стойбищам и улусам. Миссионеры констатируют, что буряты прячутся от священников, отговариваются незнанием русского языка, свое нежелание креститься аргументируют тем, что это вера их отцов; она утверждена Государем и нет царского указа насчет обязательного крещения; христианство запрещает есть падаль; Шигемуни (Шакьямуни) – тот же Христос.

В большинстве произведений миссионеров жанр служебного отчета совмещается с жанром путевых записок: уделя-

ется внимание описанию местности, легендам и преданиям «инородцев», переводу слов, нравам и обычаям, даются зарисовки не только разговоров о вероисповедании, но и разных бытовых сценок. При этом зачастую разделить взгляд миссионера и путешественника невозможно, точнее, мировосприятие миссионера оказывается всеобъемлющим. Например, тот же Мелетий так описывает наводнение конца августа – середины сентября 1863 года:

Селенга, Харауз и Бугутур вышли из берегов и, залив окрестности, погубили покосы. Мосты снесло и путевое сообщение прекратилось. Все улусы Кударинских бурят, расположенных по рекам Селенге, Хараузу и на островах, затопило. Буряты, *исключая христиан* (здесь и далее выделено нами. – *О.Р.*), постигнутые новым бедствием в отчаянии приходили в какое-то иступленное состояние, бродили как сумасшедшие. Они искали убежища в селах, деревнях, на дорогах, в лесах. Семейств 50 перекочевало на Баргузинскую степь [Мелетий, 1864, № 30, с. 493].

Так же с акцентированием преимущества христианской религии Мелетий описывает языческий праздник Архисацуху (вино брызгать) и последующее свое посещение места праздника с посечением и порубанием чтимых бурятами берез и воздвижением на этом месте большого деревянного креста с медным Распятием; встречу и разговоры с духоборцами, переселяющимися из Туруханского края на Амур; прибайкальскую местность после землетрясений и наводнений, где христианские селения уцелели; посещение Гусиноозерского дацана, типографии и лаборатории при нем; тождественность бурхана «цаган убугун» (седой старец) Святителю Николаю; шаманские орудия, отданные обращенными в Христианскую веру двумя шаманами; лечение фельдшером Демидовым бу-

рят к вящему утверждению в глазах инородцев преимуществ христианской веры перед ламской (буддистской) верой; недостатки семейного быта бурят с его обычаями свадеб и разводов по монгольскому степному праву.

Основные верования, представления и обычаи бурят описаны первыми миссионерами в 1860-е годы. Начальник Забайкальской духовной миссии, епископ Селенгинский Вениамин (Благодоров), отмечает, что христианская вера служит для бурят идентификационным признаком русской национальности, приводит мотивировки нежелания креститься как вследствие религиозных убеждений, так и невыгодности социального положения крещеных бурят в своем этническом сообществе, описывает дацаны, поведение и общественное положение лам. Также отмечает, что простые буряты приравнивают православное духовенство к ламам по социальному статусу [Вениамин, 1863, №№ 11, 13; Вениамин, 1863, №№ 16–18].

Иеромонах Вениамин (Грязнов-Никольский) передает рассказ богатого бурята о вере, который представляет собой контаминацию ветхозаветных и бурятских мифов:

Бог создал Адама; у него было 77 сыновей. Каждый был богатырь и поднимал по 100 и 150 пудов. Сделали они суглан (собрание или сходку) и стали строить большой столб до облаков. Бог посмотрел и дунул на них. Все упали на землю, и никто не ушибся. Как будто пьяные, они уснули. Проснувшись, не понимали друг друга. Потом Бог начал давать им веры. Все получили по вере; татарин (тоже из 77 сыновей Адамовых) не застал суглана; видит, что другие обедают, а сороки и вороны клюют крошки. Татарин, подняв к небу руки, закричал: Ай алла! И принялся снимать вороньи и сорочьи следы в книгу. Так вышла татарская вера (очевидный сарказм над татарским письмом!). Наш бурят (родоначальник бурятский – сын Адама),

взявши книгу с верой от Бога, на пути лег спать у зарода сена; тут же спрятал и веру. В то время мимо шли овцы, съели все сено, тут же и веру. Теперь шаманы режут баранов, шкуры вешают на дерево и в лопатках находят веру [Вениамин, 1865, с. 617].

Предание о 77-ми верах, съедение овцами закона и гадание по бараньим лопаткам упоминает и Мелетий в своих «Записках...» 1865 года. Также Вениамин подробно описывает службу в Гусиноозерском дацане, акцентируя внимание на бессмысленности и театральности всего действия.

Симеон Стуков обращает внимание на обычаи бурят, в частности, приводит объяснение, почему буряты едят падаль, полагая, что «падшее животное самое чистое и безгрешное, ибо человек не проливал крови его, а оно лишено жизни самим бурханом непосредственно или через зверя» [Стуков С., 1866, с. 15–16]. Также сообщает о бытовых обычаях, в исполнении которых и сам участвует: вносит в юрту вечером вещи в отсутствие хозяина, из чего вернувшийся хозяин узнает, что гость намерен пробыть у него до утра; приветствует встречных словом «мэндү» (здорово), сидит по-азиатски, поджав под себя ноги, в доме ширетуя (настоятеля дацана).

Федор Альбицкий, описывая свой путь от Селенгинской степной думы к месту назначения в Цакирский караул в Закаменском бурятском ведомстве и посещение там улусов в апреле-июле 1865 года, обращает внимание на красоту и ширь (около 5000 квадратных верст) Боргойской степи, трудности дорог, предания бурят, условия проживания в пограничных с Монголией караулах. В частности, о горе Буринхан (общий царь или царь всех) говорится:

... по их верованию на ней находятся все звери земного шара и все растения; на ней же начинается молния и гром. На вершине ее находится озеро, к которому буряты издалика при-

ходят на поклонение и для жертвоприношения [Альбицкий, 1866, № 8, с. 99].

Свои названия селения Модонкуль (деревянная нога) и Шараазарга (соловый жеребец)

... по преданиям бурят получили от жившего здесь древнего героя, ходившего на деревянной ноге и ездившего на соловом жеребце. Иные прямо называют его Чингисханом по обычаю всех монголов и заграничных и русских сводить все предания в этом знаменитом лице [Альбицкий, 1866, № 9, с. 112].

О Ключевском карауле сообщаются следующие факты:

...бедность здесь повсюду. Природа мало дает растительности. Из хлеба только сеют овес и ячмень, редко ярицу в небольшом количестве. <...> Верстах в 15 есть еще небольшой улус, а далее до Тунки около 150 верст нет никакого жилья. <...> Проезд очень труден. <...> Весною утомленные лошади от сильного холода мерзнут и их согревают войлоками и шубами, чтобы совсем не околели. <...> В карауле только три дома [Там же, с. 114].

Описывая приезд владыки, отмечает, что

... преосвященный осматривал место, где с утеса речка Цакир падала в р. Джиду – водопадом. Теперь нет здесь водопада; буряты отвели воду в другое место по внушению одного ламы, несмотря на то, что вода в этом месте поблизости к Управе им была особенно необходима. Ламе показалось тяжким грехом, что они допускают так мучиться воде. Почитание стихий составляет древнюю религию бурят, содержимую ими, однако, доселе совместно с буддизмом [Там же, № 10, с. 127].

Алексей Малков рассказывает о своем посещении хурала в Цугульском дацане 25–26 июня 1865 года. Помимо передачи пространных разговоров с ламами, ширетуем, ненастоящим гыгеном (совр. гэгэн, один из высших титулов духовного лица в буддизме), тайшою (главой рода) и простыми бурятами он описывает службу в дугуне (молитвенном доме), провоз бога Майдари вокруг дацана. Автор отмечает, что это служение длилось в общей сложности около семи часов, а главные ламы еще всю ночь продолжали службу в здании дацана. Также сообщает о соревновании бегунков (лошадей) с наездниками-детьми, которых едва видно в седле, чтении похвал первым пришедшими коням и награждении их хозяев, состязании атлетов в борьбе и общем угощении от дацана, заключает он так:

Посмотревши отправление главного хурала у бурят, сопровождаемого особенным торжеством, церемониальной процессией, и нарочито устроенными потешными зрелищами, нельзя не сказать, что ламство хитро и обаятельно действует на поклонников буддизма. Бурят в этом хурале получает все, что нужно для верования и чувственного удовольствия. <...> На нынешнем хурале было до двух с половиною тысяч. Собирается еще более [Малков, 1866, № 19, с. 246].

Сочинение Константина Стукова, бурята по происхождению, называется «Из “Дневника”, веденного на Братской степи, что в Забайкальской области» и представляет собой литературную обработку первичного документа, о котором в одном из примечаний упоминает автор в связи с билингвизмом:

... все наши беседы как беседы, веденные по монголо-бурятски, для дипломатической точности внесены в оригинальный дневник на монгольском языке с русским переводом. Считаю однако же излишним [здесь] передавать подлинные речи [Стуков К., 1866, № 27, с. 332].

Тем не менее, первая беседа с молодой буряткой, не встающей ночью к своему младенцу, передается как диалог на бурятском языке с русским переводом, впоследствии приводится множество слов и выражений на бурятском языке. Структура текста и его стиль более свободны по сравнению с «Записками» и «Отчетами» других миссионеров и ориентированы на традиции художественной литературы. Так, например, К. Стуков использует неожиданные приемы для привлечения читательского внимания: начальная дата (21 января) вводится через описание метеорологического наблюдения в течение дня за температурой и состоянием погоды, повествование начинается не с описания выезда из начального пункта, а с описания того, что расположился ночевать в тарантасике у юрты. В тексте встречается совет путешественнику, мало применимый в реальной ситуации, поскольку служит скорее риторическим украшением в рассуждениях о шарлатанстве лам:

...советую путешественникам при встрече с ламами не предлагать им по правилам степной вежливости следующего вопроса: мал сурук мэндү байнагу, то есть «здоровы ли табуны ваши?» <...> Лама ведь в полном значении слова – монах [Стуков К., 1866, № 26, с. 323].

Автор обнаруживает свое знакомство не только с языком, но и с обычаями и нравами бурят, замечая, например, что при расставании нужно что-то преподнести на память о себе, что воздействовать на бурят лучше всего не напрямую, а через их жен. Отмечает, что некрещеные буряты чтили его «по чину ламайской дисциплины» [Стуков, 1866, № 27, с. 331], то есть подходили с ладонями, сложенными у лба, и «во время молебна молились по-своему, да и св. крест лобызали тоже по-

своему, т.е. вместо целования обнюхивали изображение распятого Господа» [Стуков К., 1866, № 28, с. 339].

В 60-е годы в «Иркутских епархиальных ведомостях» активно печатаются не только травелоги забайкальских миссионеров, но и отчеты о поездках в деревню Дун-Дин-Ань Пекинского миссионера Исаии (Поликина), и описания поездок без миссионерских целей. Дискурс иеромонаха Исаии не отличается от дискурса сибирских миссионеров. Будучи сотрудником 14-ой Пекинской духовной миссии, Исаия впервые стал проповедовать за пределами Пекина в деревне Дун-Дин-Ань, чему и посвящены его сочинения «Поездка в окрестности Пекина по делам христианства» и «Поездка в деревню Дун-Дин-Ань для постройки молитвенного дома». Большую часть этих произведений занимает описание миссионерских трудов 1861–1863 годов, при этом Исаия все же уделяет внимание описаниям материала постройки, устройства и отопления китайского деревенского дома, разделению земли у всех крестьян на огород, поле и лесной рассадник, разводным растениям, овощам и фруктам, описанию домашних животных, методу обучения детей китайскому языку, ценам на строительные материалы и их качество. Также сообщает, что во время эпидемии холеры, свирепствовавшей в июне-июле 1862 года в Пекине и всей губернии Чжи-ли, в деревне Дун-Дин-Ань:

... из 60 человек христиан не только никто не умер, но даже не заболел холерою, тогда как у язычников из ста умирало 5 человек. Это обстоятельство сильно поразило идолопоклонников, и заметно, что они с большим против прежнего уважением стали смотреть на Христианство и его последователей [Исаия, 1863, № 25, с. 389].

Сугубо в стилистике отчета написан «Рапорт Епископу Красноярскому Никодиму» Иоанна Кожевникова, священника Туруханской миссии, который предваряется аннотацией самого епископа под заголовком «Поездка из Туруханска на реку Таз». Большая часть этого документа посвящена описанию исполнения священником своих служебных обязанностей – крещений, венчаний, богослужений у тунгусов, инспекции Тазовской церкви. Сообщается о совершении обряда погребения над умершим в дороге священником Василием Даевым в Часовенском магазине, вместо которого И. Кожевникову и пришлось предпринять свою поездку, объехав в общей сложности на оленях около двух тысяч верст с 30 января по 22 февраля 1868 года. Само путешествие фиксируется только преодоленными верстами от одного пункта до другого и замечаниями о том, чем его угощали на постоях (струганина, рыбный пирог, рыбная похлебка, сушеная рыба).

В 1870-х годах «Отчеты», «Записки» и «Дневники» миссионеров почти исчезают со страниц «Приложения к Иркутским епархиальным ведомостям», появляются вновь уже только в 1880-х годах и печатаются не столь интенсивно, как в 60-е годы, при этом основная жанровая стратегия отчета в некоторых случаях совмещается уже не с травелогом, а с аналитической запиской. Так, например, «Записки миссионера Шимковского стана за 1879 год» Якова Дубровы, написанные в 1880 году и опубликованные в 1882 году, представляют собой уже не только отчет о собственных действиях, но и серьезное этнографическое описание, где изображается и исследуется «семейный, домашний, гражданский, умственный, религиозный и нравственный быт» [Дуброва, 1882, № 12, с. 158] тункинских бурят и их отличия от индинских бурят. Мемуарная интенция текста (описываются события, очевидно произошедшие за несколько последних лет) сочетается с вы-

сокой степенью аналитичности обработки непосредственных личных впечатлений и разнообразных сведений, полученных на миссионерском поприще. Элементы травелога в этом исследовании вовсе отсутствуют. В силу того, что миссионеры уже живут в своих станах и не совершают столь длительных поездок до улусов, как из Посольского монастыря, и дороги уже не представляются совсем незнакомыми, в их «Отчетах» фиксируется только профессиональная деятельность, анализируются ее результаты, общее положение дел, и уже не встречается описания путешествий (см. миссионерские отчеты Иннокентия Громова [Громов, 1885], Симеона Миронова [Миронов, 1886], Николая Шастина [Шастин, 1891]).

Сочетание травелога с аналитической запиской представляет «Поездка в Анинский дацан» анонимного автора (состоявшаяся 5 июля 1886 года), здесь только в начале содержится краткое описание дороги через горы, вид дацана с горы, устройство и наполнение каждого из трех этажей основного здания дацана. В дальнейшем с опорой на исторические и статистические данные, собственные знания и наблюдения автор анализирует «не столько религиозно-обрядовую сторону ламайского культа, сколько быт и социальное положение самих лам как особой корпорации среди бурятского населения» [Поездка в Анинский дацан, 1886, № 42, с. 460].

«Записки...» архимандрита Михаила (Козлова) [Михаил, 1879; Михаил, 1880], настоятеля Селенгинского Троицкого монастыря, начальника Забайкальской противораскольнической миссии, написаны по образцу отчета, где только фиксируются перемещения в пространстве без каких-либо комментариев и описаний самого путешествия. Основное внимание, как в «Отчете» Мелетия и «Рапорте» Иоанна Кожевникова, сосредоточено на профессиональной деятельности, в данном

случае – как можно более точной и полной передаче содержания разговоров с раскольниками.

В то же время «Записки» и «Дневники» Николая Шастина [Шастин, 1887; он же, 1889], Гавриила Асташевского [Асташевский, 1894], Дмитрия Писарева [Писарев, 1889; он же, 1890], заметки Иоанна Сизого [Сизой, 1885; он же, 1887] представляют традиционное сочетание отчета о посещении бурятских или тунгусских улусов и путевых записок с изображением трудностей дальней дороги, зарисовками нравов и обычаев инородцев. Дмитрий Писарев, помимо разговоров с крещеными и некрещеными тунгусами и подробностей путешествия, уделяет внимание еще и описанию собственных телесных ощущений (усталости, ощущениям жара при ходьбе и холода при езде, самочувствию во время отравления в пути и после принятия рвотного и слабительного, жара с одной стороны тела и холода – с другой на ночевке у огня, ломоты в шее от рассматривания форм гольцов), эмоциональных реакций (любование ельником, о котором знал только из курса ботаники) и интеллектуальных действий (принятие решений в ситуации выбора, писание дневника).

Помимо «Отчетов», «Записок» и «Дневников» миссионеров, в которых неустранимой составляющей остается жанровая стратегия отчета (в чистом виде или совмещенная с путевыми записками / аналитической запиской), в «Иркутских епархиальных ведомостях» печатаются материалы и о неофициальных поездках или официальных поездках, в которых по пути следования священник был освобожден от исполнения служебных обязанностей. Эти материалы, как правило, написаны в жанре путевых записок, где элементы отчета или вовсе отсутствуют, или присутствуют в небольшой степени. Так, например, Иоанн Платонович Никольский, бурят по происхождению, 3 марта 1864 года

... получил предписание Иркутского епархиального начальства о выезде в монгольский город Ургу для отправления богослужения у христиан, проживающих в консульстве, и особое поручение настоятеля Забайкальской миссии собрать нужные сведения о возможности учреждения православной миссии в Монголии [Никольский, 1864, № 32, с. 519].

В отличие от миссионеров, Никольский очень подробно излагает обстоятельства путешествия: устройство китайской тележки на верблюде, досаждение голодных монголов на стоянках, пейзажи, и описывает увиденное именно с точки зрения путешественника, занятого обозрением, а не еще какой-либо надобностью:

Монголия по местоположению своему страна пустынная, гористая и безлесная. Ничто, кроме купеческих караванов не *представится вашему* утомленному однообразием *взору*. Но зато как *приятно смотреть* на живую картину движущихся огромной массой верблюдов [Никольский, 1864, № 32, с. 522].

Также подробно излагается и все, увиденное в Урге, где чужое национальное характеризуется как дикое и варварское, свое – как цивилизованное и просвещенное:

Да-курень (большой монастырь) кроме ветхих и безобразных частоколов извне и грязи и нечистоты внутри ничего не представляет *взору русского*. Это жилище десяти тысяч лам, живущих здесь, как и все монголы в простых юртах. В трех с половиною верстах от Куреня находится Китайский Маймачин, такой же грязный и бедный, как и сам курень. В середине двух грязных и вонючих подворий возвышается, как исполин, наше русское Консульство. Все постройки в Консульстве еще не окончены, но величиим своим удивляют диких монголов [Там же, с. 523].

Фанатичное почитание гыгена с окроплением и окуриванием верующих его экскрементами, исполнение странных, с точки зрения русского, обетов (лизать землю возле жилища гыгена, обойти весь курень в распростертом положении) называется невежественным, диким и сумасбродным. Сообщается о четырех категориях жертвоприношений гыгену в зависимости от достатка, распространении сифилиса среди монголов и лам, о встрече с чиновником не столь диким и грубым, как простой народ.

Интересна короткая заметка «В деревне» Андрея Аргентова, священника верхнеудинского Одигитриевского собора, где в непринужденной манере живым языком описываются непосредственные впечатления от поездки в село Колобки, находящееся в 20-ти верстах от города. На поездку тратится всего пять часов времени, о цели поездки так ничего и не сообщается, зато говорится о том, «что заметил я в дороге, что делал в деревне, и как там потчевали меня сливочным вареньем» [Аргентов, 1868, с. 157]. Путешественник обращает внимание на все, что представляется его взору (пейзажи, скот в поле, птицы, пол и потолок в доме), и выносит суждения по любому поводу:

... забайкальские лошадки не дурны, хотя они и не картинны. Зато картинны придорожные виды: лес, поле, луга. <...> Видимо, что крестьяне забайкальские живут не в хлевах. <...> Надобно сказать, что здешние жители с неподражаемым умением готовят кирпичный чай, который в соединении с сахаром и превосходными сливками я не мог иначе назвать как вареньем [Аргентов, 1868, с. 157, 158].

Автор останавливается в семействе Хлебодаровых, где берется за подсчеты прямых наследников их умершей несколько лет назад бабушки и насчитывает 90 живых и 33

умерших человека в трех поколениях. После чего уезжает, на чем и заканчивается заметка, напоминающая отрывок из художественного текста, изобилующего дефицитом сюжетной информации.

Непохож на все предыдущие описания священниками своих путешествий труд Прокопия Громова «Путь от Иркутска в Камчатку», в котором рассказывается о многомесячном путешествии со своей семьей и семьями еще нескольких священников к месту службы с 1 мая по 15 сентября 1834 года. Прокопий Громов был первым редактором «Иркутских епархиальных ведомостей» (с 1863 по 1871 гг.), и именно во время исполнения им обязанностей редактора наиболее активно печатались разного рода сообщения священнослужителей об их путешествиях. П. Громов опубликовал и свой обширный труд (в девяти номерах за 1869 год), написанный, в отличие от записок миссионеров, много лет спустя после предпринятого путешествия (в частности, сообщаются некоторые факты, произошедшие на обратной дороге 12 лет спустя; о некоторых встреченных в дороге и несколько лет спустя умерших людях говорится, что видел их последний раз в жизни). «Путь от Иркутска в Камчатку» ориентирован на светский вариант травелога с его занимательностью, интересом ко всему новому и необычному, достаточной степенью свободы в избрании объекта описания и высказывании частных собственных суждений, следами литературной обработки материала.

Проторенный и сравнительно безопасный путь от Иркутска до Якутска (на перекладных и водою) описывается достаточно кратко – когда какие пункты миновали, устройство судов на Лене, с кем встретились в Якутске. Пространные описания начинаются с момента пересаживания путников на верховых лошадей за Якутском, чтобы ехать до Охотска. Всего без проводников их ехало 22 человека, 10 из которых –

дети. Сам Прокопий Громов был с женой и четырьмя детьми в возрасте от полутора до девяти лет. В сносках подробно рассказывается о новых реалиях: устройстве качки (из жердей и холстины между друг за другом идущими лошадьми) для родившей в дороге жены одного из священников, люлек для перевозки еще не способных держаться в седле детей (небольших обшитых кожей деревянных ящиков, которые крепятся к бокам вьючной лошади), плоских ящиков, вмещающих в себя тяжести не более двух с половиной пудов для перевозки багажа. Описываются неприятности и трудности дороги: нравы подрядчиков, вынуждающих путешественников платить дополнительно за приходящую в негодность упряжь; падение лошади, чуть не раздавившей люльку с полуторагодовалой дочерью; невозможность из-за бездорожья ехать всем вместе, поскольку каждая лошадь шла своим путем, и потому вечером путешественники могли не встретиться и ночевать в разных местах; постоянные бараданы (топи), в которых лошади могли увязнуть до головы; дожди, пробивающие палатки; комары и строки (насекомые, до крови жалящие лошадей); выход из берегов разных рек, из-за чего путники оказывались отрезанными от суши и от лошадей; разрушение мостов, переход речек на лодках и вброд; путь по снегу и льду в июне; падёж лошадей от моровой язвы; переправа в батах (длинных узких в одно дерево лодках) через разлившуюся реку Охоту. Но также вспоминаются приятные или привлекшие внимание моменты: встреча всех вечером живыми и здоровыми; игры младших детей на привалах, когда они скачут на прутиках, имитируя езду на лошади; беспокойство проводника якута Николая за баранчуков (детей); тунгусская свадьба, одарившая путешественников оленьим мясом; как впервые ели горбушу; ловля нерки привязанным к палке ножом; вырезанные на крестах и деревьях надписи, предупреждающие об опасно-

стях или повествующие о печальных событиях, приключившихся с путниками на этой дороге. Также П. Громов упоминает и своих родственников по мужской линии, занимавшихся миссионерской деятельностью в этих местах.

Более или менее подробно рассказывается о многочисленных встречах в дороге. Наиболее примечательной оказывается встреча с разбойничьим атаманом Дániлой Горкиным (чему посвящен почти весь материал одного номера), в описании которого используется весь набор литературных клише изображения благородного разбойника. Так, Горкин обладает приятной внешностью, но с отпечатком сильных внутренних страстей:

... стройный и плотный стан, довольно высокий рост, нежное при всем загаре и отпечатке *диких страстей* лицо, карие *приятные*, но постоянно опущенные вниз, как бы не смеющие возвестись на Небо глаза; волосы в кружок и тихий разговор [Громов, 1869, № 6, с. 77].

Благородство атамана еще более оттеняют двое его гораздо менее приятных сотоварищей:

У горна прожигал чубук другой разбойник, ловкий, вежливый, вертлявый, так и видно, что *беглый* господский камердинер. В углу у двери сидел третий, но это не человек, а воплощенный *дух злобы*. Изуродованное рябое лицо, искривленный нос, налитые кровью глаза составляли печать каинову [Там же, с. 76].

Данила Горкин имеет свой кодекс чести: он всегда держит свое слово не убегать из-под караула, если с него снимут на этапе кандалы и позволят уезжать вперед караула. Но также он сдерживает и обещание, данное в Иркутске губернатору Цейдлеру, что если его не сошлют в заводы нерчинские, то

из всех других мест он будет убегать. По рассказам, Горкин обладает и определенными сверхспособностями – может избавиться от любых оков. Неоднократно подчеркивается человечность этого разбойника, например, рассказывается, как он подхватил на руки полуторагодовалую дочь Громова и из его глаз выкатилась слеза; приводятся его прощальные слова в ответ на дарение пяти фунтов сахару и пяти рублей денег:

Вы мне дали больше всех со мною встречавшихся, – продолжал Горкин, указывая на рассыпанное вокруг палатки семейство мое – потому что себя и их лишили необходимого. А какая вам бедненьким предлежит еще дорога! Грязи там непроходимые, местами снега не стаяли, а всего страшнее беспрестанные через реки броды. Жаль вас с семейством, много потерпите [Там же, с. 80].

Прокопий Громов дает свою интерпретацию эмоционального состояния разбойников, поющих песню, вписывая их в традиционный конфликт романтического героя и мира:

Ночевали в палатках, оглашавшихся во всю ночь пением на берегу Алдана разбойников. Томные звуки высказывали тоску их о невозвратных днях невинного детства, о потерянной добродетели, о разлуке навсегда с кровом родным, *о разладе со всем человечеством*, о дикой жизни в дремучих лесах, и о неизбежности казни позорной. Взрыв отчаянья выражался по временам в залпах из ружей, который разносило эхо вниз по реке Алдану и по облегающим ее горам [Там же, с. 80].

Описываются встречи в Охотске и сам город. Земля в окруженном почти со всех сторон водою городе такая, что нога вязнет по лодыжку, питьевая вода достается за 7 верст, так как вода в реках смешивается с морской соленой водой

и ни к какому употреблению не годится. По городу свободно ходят ездовые собаки, которые по ночам не лают, а воют. О плавании по Охотскому морю на двухмачтовом судне «Елизавета» рассказывается, что по существу обязанности капитана выполнял штурманский офицер, ехавший пассажиром, описываются увиденные тюлени, киты и дельфины и благополучное прибытие на Камчатку.

В 1900–1910-х годах, продолжая эту традицию описания неофициального путешествия, в «Иркутских епархиальных ведомостях» печатаются немногочисленные описания паломничеств. В публикации «Ко гробу Господню», подписанной инициалами М.И.П. [М.И.П., 1900; 1902], рассказывается о длительном путешествии в апреле-июне (по-видимому 1900 года) из Одессы через Константинополь, Яффу, Бейрут до Иерусалима и обратно с остановкой на Афоне. Подробно характеризуются виды местности, города, святые места, организация маршрутов паломников, даются зарисовки разнообразных сцен, как наблюдаемых, так и тех, участниками которых оказывается сам пишущий. Автор отмечает сам процесс писания, фиксирует свои впечатления от грязи восточных городов и постоянно инициируемых греческими монахами насильственных пожертвований, физические ощущения, душевные и духовные переживания, а также дает много практических советов будущим путешественникам и паломникам.

В «Паломничестве в Саров (из письма отца к сыну)», подписанном Ив-ий [Ив-ий, 1903], рассказывается о путешествии от Сергиева Посада через Москву, Нижний Новгород, Арзамас до Сарова и Дивеева и обратно. Автор как можно подробнее стремится передать свои впечатления от увиденного, эмоции при посещении святых мест, физические ощущения от усталости, потери аппетита, купания, пыли в дороге. Говорится о посещении Александровского археологического музея

в Москве, где он не был 3-4 года; красивых видах местности из окна вагона; многолюдстве в связи с пиком паломничества на вокзалах, в поездах, в гостиницах, на дороге от Арзамаса до Сарова; устройстве монастырей, купальни, пещер, пустыней в Сарове и Дивееве. При описании автор опирается на свои знания и опыт, полученные в предыдущих паломничествах, так он обращает внимание на различия устройства купальни в Сарове по сравнению с Тихоновой пустынью (душ, а не водоем) и обустройство пещер по сравнению с Киевскими. Архимандрит Софроний (Арефьев), ректор Иркутской духовной семинарии и редактор «Иркутских епархиальных ведомостей», сообщает о групповом паломничестве в Тобольск на поклонение мощам святителя Иоанна – поездке по железной дороге от Иркутска до Тюмени с остановкой на несколько часов в Омске и дальнейшем пути на пароходе от Тюмени до Тобольска в июне 1916 года³ [Софроний, 1916–1917]. Автор постоянно фокусирует внимание читателя на том, что тревожит его самого, неоднократно описывая сцены проводов солдат на войну, встречные вагоны с военнопленными, работающих женщин и военнопленных. И в то же время с удовольствием рассказывает об Омске, Тюмени и Тобольске, сравнивая их с Иркутском, о спокойных реках Туре и Тоболе по сравнению с быстрыми сибирскими реками, хотя и неоднократно отмечает, что вырос среди крестьян Пермской губернии. И хотя Софроний обозначает, что не будет говорить о своем частном пребывании в Омске и короткой поездке к родственникам, он сообщает свои впечатления от быстро развивающегося Омска, способного затмить славу Иркутска как столицы Сибири, и от пьяных крестьян в день церковного праздника в деревне у родственников. Последнее служит темой проповедей, про-

³ Описание обратной дороги не было опубликовано в связи с событиями 1917 года.

износимых им на корабле и в Тобольске. Как и в предыдущих случаях, частные человеческие впечатления путешественника (встречи со знакомыми и незнакомыми людьми, вид и уклад жизни незнакомых городов, удобства или неудобства в путешествии) тесно переплетаются с чувствами и эмоциями паломника (радости, благодати, умиления). Закономерно, что все паломнические травелоги написаны в жанре документов частной жизни – путевых записок, писем.

В 1870–1910-е годы в «Иркутских епархиальных ведомостях» «Отчеты», «Записки» и «Дневники» путешествующих миссионеров и статьи, приближающиеся к светским образцам описания путешествий, количественно уступают место описаниям путешествий церковных иерархов, сделанных состоявшими в их свите священниками. Первое сообщение сопровождающего лица о передвижении иерарха церкви по своей епархии появляется еще в 1863 году – «Из записей, веденных при обозрении Иркутской епархии в 1863 году» автора, обозначившего себя инициалом С. Этот текст представляет собой неофициальный отчет или литературно обработанные отрывки из подлинных записей и совершенно выпадает из сложившейся впоследствии традиции описаний путешествий архипастырей, строящихся по определенной модели. Здесь не сообщается ни имени архипастыря, ни имен членов свиты, ни времени выезда из Иркутска и возвращения обратно. Записи начинаются 15 августа в селе Тулунском и заканчиваются 21 августа прибытием в Балаганск (при этом сообщается, что предполагалось вернуться в Иркутск 26 августа). Сообщается, что в Тулунском «свите» нужно было разделиться, чтобы одна часть сопровождала владыку до Балаганска в плавании по Ангаре в большой лодке, которая может вместить только небольшое количество пассажиров и один экипаж, а соответственно другая часть «свиты» должна была добираться до

Балаганска через степь в экипажах. При этом сопровождающие называются не свитой, а «нашим путешествующим по епархии обществом» [С., 1863, № 46, с. 757], о службах владыки говорится кратко, без подробностей. Помимо описаний встреч владыки в селениях по пути следования сообщаются разнообразные сведения о самих селениях и их жителях, касающихся как постройки церквей, так и обихода:

Жители, находясь в довольно разобщенном положении от прочего населения сибирского, а главное, будучи удалены от притока всякой нечистоты, которой Сибирь наполняется из всей России, успели сохранить древнюю простоту нравов; и вообще отличаются честностью, трудолюбием и благочестием. Здесь в первый раз мы увидели мешки с хлебом, сложенные в поле без караула, и деревянные замки у магазинов с хлебом среди деревень, без огорожи. Для поселенцев здесь тяжкое местопребывание; потому что пропитание здесь добывается усиленным трудом, и вознаграждение за труд очень незначительное, а потому поселенцев здесь не видно; и те, которые назначаются на жительство в здешние приангарские селения, ищут себе легчайшее пропитание в других местах [С., 1863, № 47, с. 779].

Можно предположить, что за инициалом С. скрывается Константин Константинович Стуков, служивший в 1851–1853 годах протоиереем в Чите и уволенный от должности за обличения золотопромышленников. В 1853–1866 годах он сотрудничал в «Иркутских губернских ведомостях», «Амуре», «Иркутских епархиальных ведомостях», «Записках Сибирского отделения Русского географического общества» и только в 1866 году смог вернуться к исполнению обязанностей священнослужителя, чем и можно объяснить неофициальный характер этого сообщения, если оно действительно принадлежит К. Стукову. На такую мысль об авторстве наталкивает

и структура текста в сравнении с текстом К. Стукова «Из «Дневника», веденного на Братской степи, что в Забайкальской области», в частности, манера описывать путешествие не с самого его начала от исходного пункта, а с первого интересного для автора момента и нарушение или варьирование и других канонов подобного рода сообщений. Схож и синтаксис заглавий двух текстов: «Из записей, веденных при обозрении Иркутской епархии в 1863 году», «Из «Дневника», веденного на Братской степи, что в Забайкальской области».

Наибольшее количество травелогов в 1870–1910-е годы в «Иркутских епархиальных ведомостях» представлено «Поездками» и «Путешествиями» глав епархии с целями обозрения епархии (богослужений в храмах, ревизии церквей, школ), освящения церквей, или миссионерскими целями, которые могут быть указаны в заглавии. Одна часть текстов строится по модели отчета, где объектом внимания становится только деятельность архипастыря. Основными структурными элементами отчета о поездке иерарха церкви оказываются непременно указание дат поездки, мест пребывания (как тех, в которых останавливался архипастырь, так и тех, которые проезжал), подробное описание событий, количество верст от одного населенного пункта до другого, нередко обозначается состав свиты, и кто из свиты сослужил владыке в том или ином месте. Как правило, описываются встречи с хлебом и солью, или ожидание народа в церкви, даже если владыка приезжает поздно; количество новокрещенных инородцев в миссионерских поездках; богослужения, обращение к пастве (часто указывается, какое место из Священного Писания послужило основой наставления); награждение священников набедренниками; прием прошений; ревизии и освящение церквей; посещение лечебниц и учебных заведений; экзаменовка псаломщиков и учеников школ; посеще-

ние промышленных предприятий, дацанов, домов местных священнослужителей, светских должностных лиц, купцов и фабрикантов; представление архипастырю причтов церквей, земских властей и глав инородческих управ; беседы с прихожанами, священнослужителями, учителями, детьми, инородцами и раскольниками. В 1910-е годы стали приводиться почти дословно не только наставления архипастыря, но и приветственные речи местных священнослужителей. Как правило, почти ничего не сообщается о внеслужебных моментах путешествия, кроме трудностей пути, возникающих при смене лошадей, ночевках на дорожных станциях, или трудностей передвижения из-за особенностей местности, дальности расстояний или погодных условий. О селениях и жителях даются самые общие краткие сведения⁴.

Другая часть текстов представляет собой совмещение отчета и путевых записок, где помимо описания перемещений и действий владыки даются более обширные и детальные сведения исторического, географического, культурологического характера, приводятся статистические данные. По большей части это сведения об истории распространения христианства в определенной местности, времени постройки и убранстве церквей, расположении, виде и достопримечательностях селений, количестве дворов, душ, вероисповедании жителей, их этническом составе, одежде, языке, нравах, обычаях, занятиях, особенностях местности, дорогах, ландшафте, пого-

⁴ См.: [Мелетий, 1873; Сизой И., 1874; Мелетий, 1876; Поездка Вениамина, 1876; Мелетий, 1878; Димитрий, 1879; Миссионерское путешествие, 1881; Макарий, 1882; Михаил, 1882; Сизой И., 1885; N. N., 1891; Гагарин, 1897; Фивейский, 1901; Обзорение епархии Тихоном, 1906; Аз-ий, 1914; Очевидец И.А., 1915; Поездка Зосимы, 1916–1917; Поездка Зосимы, 1917].

По такой же модели отчета строятся и описания епископом Киренским Иоанном (Смирновым) собственных обзорно-ревизионных поездок [Иоанн, 1910–1911; он же, 1911, №№ 13, 16, 17, 21, 22; он же, 1911, №№ 23, 24].

де, способах и средствах передвижения от одного селения до другого, глубине и ширине рек. Благодаря такой исследовательско-познавательной интенции этого рода отчеты-записки в неофициальной части описания путешествий во многих случаях приобретают сходство с путеводителями⁵.

В этом ряду наиболее интересными с точки зрения наррации оказываются тексты, в которых в большей степени присутствует описание внеслужебных моментов поездок и / или проявляется личное отношение к описываемому. В «Миссионерской поездке в Тунку преосвященного Макария, епископа Киренского, с 27 сентября по 9 октября 1884 года» Иннокентий Преловский в сильные эмоциональные моменты (освящение новой церкви в своем Парфениевском стане) именуется себя более лично – «пишущим эти строки» [Преловский, 1884]. В другом своем тексте «Поездка преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, начальника Иркутского отдела духовной миссии, в Тункинский край с 10 по 21 февраля 1885 года», как и в предыдущем случае, в описании собственных впечатлений и ощущений, на этот раз трудностей дороги, И. Преловский прибегает к номинации «пишущий сие»:

Пришлось ехать по сплошной наледи на Иркуте. Лошади буквально брели по колена. Пишущему сие, как еще в первый раз сопровождающему преосвященного на этом пути, не весе-

⁵ См.: [Сизой А., 1869; Мелетий, 1874; Поездка Вениамина, 1874; Чирцев, 1877; Царевский, 1879; Суханов, 1883; Один из спутников его преосвященства, 1884; Преловский, 1884; Поездка Парфения, 1884-1885; Стуков Н., 1886; Преловский, 1886; Попов В., 1886; Попов В., 1887; Копылов, 1894; Поездка Тихона 1893 года, 1894; Поездка Тихона 1894 года, 1894; Путешествие Никанора, 1898; В., 1901; Фивейский, 1901; Посещение Тихоном, 1902; Фивейский, 1908; Климяк, 1913; Пономарев, 1913–1914; Пономарев, 1915–1916; Климяк, 1916; Очевидец, 1916; Попов Г., 1916; Ядрихинский, 1916].

ло ехалось. Довольно сказать, что сани то погружались в воду, то опять приподнимались, а затем снова и еще глубже спускались в воду [Преловский, 1886, с. 182].

При описании неудобств на постое для всей свиты в маленькой душной избе и трудностей дороги, когда путникам приходилось протаскивать по камням сани на себе, используется номинация «мы». Описывая красоты природы, И. Преловский, хотя и использует безличные конструкции, но фиксирует позицию человека, непосредственно наблюдающего картину, и сам процесс восприятия:

Было чему и подивиться! *Глаз постоянно останавливался* то на громадных гранитных скалах, как бы обделанных искусною рукой в разные причудливые памятники, то на гранитных стенах, так отшлифованных веками, что, *думалось*, такая работа природы могла бы вызвать зависть самого лучшего мастера, то, наконец, на вековых хвойных лесах, служащих как бы зеленым поясом к громадным высям [Там же, с. 183–184].

При этом в описании официальной части обеих поездок автор именуется себя «миссионер Парфениевского стана священник Иннокентий Преловский».

Наибольшее количество описанных архипастырских путешествий приходится именно на Тункинский край⁶. Существенно, что почти все авторы (за исключением Михаила Фивейского) совмещали свои отчеты с путевыми записками, материал для которых давали малонаселенность, труднодоступность края, его географическая близость к Монголии, по-

⁶ См.: [Поездка Вениамина, 1874; Один из спутников его преосвященства, 1884; Поездка Парфения, 1884–1885; Преловский, 1884; он же, 1886; Стуков Н., 1886; Попов В., 1887; Поездка Тихона 1894 года, 1894; Фивейский, 1901; Климяк, 1913].

рождавшая особый уклад жизни и даже местную мифологию бурят. Анонимные авторы «Поездки ... Парфения ... в месяце июле 1871 г.», «Поездки ... Вениамина ... в сентябре 1874 года», Николай Стуков и Иван Климяк приводят предание о двух быках, ставших скалами:

Буха-Ноен, произведший бурятский народ, и покровительствующий ему особенно в хозяйственном отношении, шел некогда из Монголии навстречу русскому Буха-Ноену. Оба быка имели намерение сразиться между собою; тому, кто одолевает, предстояло овладеть всею странюю. Но они разошлись, не встретившись друг с другом. Бурятский Буха-Ноен, прошедший до Култукских гор и не встретивший своего противника, вернулся обратно и на пути около Гужир на правой стороне Саян окаменел, образовав своею головою и рогами двухвершинную скалу, названную по ее белому цвету Сагаугун-Сыр-дэк (белая скала). Бык же, шедший с русской стороны, через Китай дошел до границы Монголии и здесь также окаменел в виде гольца Буха-Сыр-дэка» [Стуков Н., 1886, с. 452].

Схожие условия проживания тунгусов также провоцируют авторов на пространные описания самого путешествия. Так, например, в «Путешествии преосвященнейшего Дионисия, епископа Якутского, по отдаленным местностям Якутской епархии (более 1000 в. на северо-восток от Якутска)» [Путешествие Дионисия, 1874], автору за малолюдством огромных пространств больше приходится описывать трудности пути и ощущения человека в этих условиях (езду в нартах, когда, не удержав баланс, ездок сваливается головой в снег, ночевки на снегу, плавание преосвященного в наледи вместе с оленями, переход пешком через перевал, когда олени не могли везти нарты). Существенно, что в этом сообщении для обозначения путешественников используется номинация

«мы», включающая в себя в некоторые моменты описания не только свиту, но и владыку.

«Нижеподписавшимся» и «пишущим эти строки» именуется себя Василий Попов в своих описаниях поездок епископа Макария в Тунку и на Верхнюю Тунгуску [Попов В., 1886; Попов В., 1887]. Автор делает множество отступлений, описывая красоты местности, фантастические картины от костра, состояние дорог и средства передвижения. Еще рассказывает массу фактов, не имеющих отношения к официальной части поездок: обстоятельства жизни о. Мелетинского в Култуке (жена лишилась рассудка вследствие ранней смерти детей); как буряты спускают лошадей с крутизны, удерживая их за хвосты; о том, что владыка подкормил голодную свиту в дороге имевшимся у него пирогом; про непонятный диалект русского языка у тунгусов, где взаимозаменяются звуки с – ш и з – ж; описывает веселый нрав и познания в медицине о. Иакова Чистохина; оригинальное запряжание лошадей у тунгусов «гусем», то есть друг за другом, а не рядом, и другое. Много неофициальных сведений и частных воспоминаний из предшествующей поездке жизни приводит Николай Пономарев в описании длительной поездки по отдаленным местам Киренского округа [Пономарев, 1913–1914]. Такое же совмещение отчета и путевых записок наблюдается в сообщении о собственной поездке благочинным Баргузинского округа священником Александром Спасским, когда он описывает, почему предпочел выбрать водное путешествие для освящения церкви в Верхнеангарске и обозрения церквей во вверенном округе, сам путь и ощущения от ночевки в палатках на берегу [Спасский, 1883].

«Впечатления из поездки на Дальний Восток» и «Впечатления из поездки в Китай» епископа Киренского Иоанна [Иоанн, 1911; он же, 1912] представляют собой путевые записки,

где автор, как и Иоанн Никольский при поездке в Монголию, освобожденный от необходимости исполнять служебные обязанности в пути, фиксирует не только реалии, но и впечатления от них, которые зачастую складываются из соотнесения нового с уже знакомым:

Верстах в четырех или пяти от консульства находится кладбище русских воинов, устроенное русскими. Оно *хуже* кладбища в Порт-Артуре, устроенного японцами. <...> Прежде всего, нам пришлось проезжать через реку Ляохэ. Это большая река, *напоминающая по ширине* Волгу или Каму. <...> Вагоны китайские *хуже* русских и японских, но в первом классе и в китайских вагонах ехать все-таки можно. <...> Кладбища и селения у китайцев, *как и у нас*, иногда окружены высокими развесистыми деревьями. <...> При приближении к Пекину нам стали попадаться высокие башни языческих кумирен, *напоминающие собою* колокольни наших церквей. [Иоанн, 1912, № 5, с. 116–117].

Иоанн рассказывает о видах местности, реках Ляохэ и Янцеканг (Янцзы), городах (Дальнем, Порт Артуре, Пекине, Ханькоу, Шанхае), кладбищах, подворьях миссии в Дальнем, Пекине и Шанхае. Знаменательно, что свои три архипастырских путешествия 1909 и 1911 годов Иоанн описывает в жанре отчета без экспликации каких-либо впечатлений о самих путешествиях.

Необычны в ряду травелогов на страницах «Иркутских епархиальных ведомостей» заметки С.С. Попова «Поездка книгоноши И.К. Голубева в Забайкальский край в начале 1887 г.» [Попов С., 1887] и анонимная «Поездка к ороченам» [Поездка к ороченам, 1888], поскольку представляют собой вторичное описание путешествий. «Поездка книгоноши...», по словам ее автора С.С. Попова, сделана на основе пись-

ма И.К. Голубева о его путешествии с середины января до 20 апреля 1887 года, во время которого он распространил около 7000 экземпляров книг Священного Писания. Помимо точного указания длинного маршрута С.С. Попов передает впечатления И.К. Голубева, в частности, о трудностях пути по заброшенному Заргалинскому тракту, о грубости и невежестве жителей по р. Чикою. Анонимный автор «Поездки к ороченам» сообщает, что эта заметка представляет собой извлечение наиболее интересных сведений из путевого журнала священника Бориса Чубинского о его поездке 8–23 ноября 1887 года. Журнал самого Чубинского очевидно строится по модели совмещения отчета миссионера и путевых записок, что сохраняет в своей заметке и анонимный вторичный автор.

С 1890-х годов на страницах «Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям» появляется новый тип описания путешествий, совершаемых автором совместно с учениками школы с целью совмещения богомолья и туризма. Почти для всех учеников это первые в их жизни поездки за пределы той местности, где они проживают. Представления о своих поездках с учениками дают священник Усть-балейской Николаевской церкви Иоанн Сотников [Сотников, 1890], учитель церковно-приходской школы и диакон Александровской центрально-тюремной Александро-Невской церкви Александр Краснов [Краснов, 1893], учитель Кирилло-Мефодиевской миссионерской школы, обозначивший себя в публикации С.Н.Ш. [С.Н.Ш., 1893], миссионер, священник Молькинского стана Александр Попов [Попов А., 1895], заведующий Молькинской церковно-приходской школой миссионер, священник Василий Вавилов [Вавилов, 1902]. В заголовках публикаций эти поездки называются путешествиями или паломничеством. Как правило, в них сообщается о времени поездки, количестве и составе учеников (половом, национальном или

конфессиональном), количестве верст до Иркутска, пунктах остановок, способах передвижения от одного селения до другого (пешком, на подводах, по железной дороге, по реке), посещении в Вознесенском монастыре Тихвинской церкви, часовни с мощами святителя Иннокентия, пещер и могил настоятелей Герасима и Синесия. Всегда описывается посещение архиерейской службы, встреча с владыкой, подарки, полученные детьми. В ряду достопримечательностей Иркутска говорится о понтонном мосте, каменных зданиях и соборах, римско-католическом костеле, Казанском соборе, витринах магазинов, одежде, экипажах, электрическом освещении, телефонных проводах. В «Путешествиях» С.Н.Ш. и Александра Попова, следовавших через Александровский завод, говорится об огромного вида тюрьме, произведшей впечатление на учеников. В некоторых «Путешествиях» даются сведения о школе, жертвователях, благодаря которым поездка смогла состояться, и всех, кто помогал в дороге. В «Паломничестве учеников-бурят Молькинской миссионерской церковно-приходской школы Балаганского уезда на поклонение мощам св. Иннокентия в городе Иркутске» В. Вавилова рассказывается также о посещении музея (где на бурят произвели впечатление выставленные наряд бурятской девушки и юрта), хлебного, мелочного и сеного рынков, военного парада, Преображенской площади, где в первый раз устраивались детские игры. Первый в этом ряду по времени публикации текст Иоанна Сотникова представляет собой рассказ только о сборах в дорогу и пребывании в Вознесенском монастыре, о путешествии сообщается только то, что ехали на четырех подводах. В последующих текстах помимо паломничества фиксируется и туристическая составляющая поездки (посещение Иркутска), и само путешествие. Существенно, что если в презентации индивидуальных паломничеств основой выбора жанро-

вой стратегии является ориентация на неофициальные жанры, то в презентации паломничеств с учениками школ основой такого выбора оказывается ориентация на официальный жанр отчета (в чистом виде или в сочетании с путевыми записками). Совмещение отчета и путевых записок обнаруживается и в «Путешествии учеников школ – Кударинской министерской, Полкановской и Унгуркуйской церковно-приходских – в Чикойскую Иоанно-Предтеченскую обитель 1896 г. от 4 до 11 июня», написанном учительницей Полкановской церковно-приходской школы Л. Смирновой [Смирнова, 1896]. Рассказывается о передвижении 70 учеников и 60 человек взрослых на 26 телегах с песнопениями через Кудару, Хомигодай, Урлук до Чикойского монастыря и обратно. Описывается местность возле дороги в виду возможности спрятаться от жары (лес, степь), порядок передвижения (впереди сменяющиеся ученики с иконами трех школ, потом все остальные), встречи с жителями селений, особенности зданий и устройства монастыря, еда, доброе обращение с гостями настоятеля. Отмечается, что, поскольку монастырь расположен на крутой горе, то с восточной стороны здания имеют вид двухэтажных строений, а с западной низеньких одноэтажных, и соединяются здания длинными крутыми лестницами.

Таким образом, в травелогах восточно-сибирских священнослужителей можно выделить два основных типа: описание поездки по служебной надобности, в течение которой автор исполняет свои обязанности, и описание поездки, во время которой автор освобожден от исполнения служебных обязанностей или исполняет их в минимальном объеме. В большинстве текстов представлены поездки с исполнением в дороге должностных обязанностей: индивидуальные миссионерские поездки, поездки архипастырей (миссионерские, обзорно-инспекционные, для освящения храмов) и поездки

священников-законоучителей в город с учениками школ. Одна часть текстов этого типа является отчетами, в которых авторы скрупулезно фиксируют собственные действия или действия архипастыря, а путешествие обозначают только указанием основных пунктов маршрута и иногда рассказом о трудностях пути. Миссионеры в своих отчетах фиксируют противодействие населения их деятельности, разговоры с инородцами о вере, обряды крещения и другие служебные действия, приводят точное количество новообращенных. Члены свиты архипастырей отмечают, как встречают владыку в селениях, какие службы в каких церквях он отправляет, на какое место из священного писания говорит поучения, кому наносит визиты, какие места посещает, с кем и о чем разговаривает. Священнослужители, сопровождающие учеников в Иркутск, рассказывают о посещении святых мест в Вознесенском монастыре, архиерейской службе, приеме детей у владыки. В другой части текстов жанр отчета совмещается с жанром путевых записок или дневника. В таком случае помимо фиксирования служебных действий даются исторические, географические, культурологические сведения, рассказывается об особенностях местности, дорогах, населенных пунктах, нравах и обычаях жителей, в некоторых случаях передаются впечатления и ощущения авторов. Представляют интерес вторичные описания путешествий, в которых авторы стремятся передать как сведения, так и впечатления первичных авторов.

Презентация поездок без исполнения в дороге служебных обязанностей (длительные поездки до пункта назначения и паломничества) базируется на жанровой стратегии путевых записок. Здесь авторы не только сообщают о новых для них реалиях, но в большей степени, чем авторы текстов первого типа, стремятся фиксировать свои впечатления и высказывать частные суждения, а также обращаются к читателям и ориентируются на стиль произведений художественной литературы.

Литература

Аз-ий А. Посещение преосвященнейшим Зосимою, епископом Киренским, с. Малой Елани // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1914. № 19. С. 643–646.

Альбицкий Ф. Записки забайкальского миссионера священника Ф. Альбицкого // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1866. № 8. С. 98–101; № 9. С. 111–116; № 10. С. 124–129; № 11. С. 131–138.

Алякринский С. Поездка преосвященного Зосимы, епископа Киренского, по обозрению церквей Нижнеудинского уезда в октябре и ноябре 1914 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1914. № 24. С. 828–837; 1915. № 1. С. 5–13; № 2. С. 49–56; № 3. С. 89–95; № 4. С. 124–132; № 5. С. 167–176; № 6. С. 220–223; № 7–8. С. 250–263; № 9. С. 317–326; № 10. С. 343–351; № 11. С. 375–385; № 12. С. 419–434.

Аргентов А. В деревне. 1868. № 11. С. 157–159.

Асташевский Г. Записки сотрудника Бургенского миссионера Забайкальской области. // Прибавление к Иркутским епархиальным ведомостям. 1894. № 5. С. 10–11; № 6. С. 8–13; № 7. С. 5–9; № 8. С. 1–10; № 9. С. 4–9.

В. Поездка высокопреосвященного Тихона, архиепископа Иркутского и Верхотурского в Бажеевский миссионерский стан и освящение Ныгдинского, приписного к Бажеевскому стану, возобновленного храма // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1901. № 19. С. 425–432; № 20. С. 444–451.

Вавилов В. Паломничество учеников–бурят Молькинской миссионерской церковно–приходской школы Балаганского уезда на поклонение мощам св. Иннокентия в городе Иркутске // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1902. № 1. С. 9–16; № 3. С. 47–50.

Вениамин. Забайкальская миссия // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1863. № 16. С. 217–224; № 17. С. 235–242; № 18. С. 252–263.

Вениамин. Забайкальская миссия (письмо из Посольского монастыря) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1863. № 11. С. 137–143; № 13 С. 170–172.

Вениамин. Записки Забайкальского миссионера иеромонаха Вениамина // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1865. № 48 С. 615–624.

Гагарин Д. Поездка высокопреосвященного Тихона, Архиепископа Иркутского и Верхотурского, по благочинию 2 участка Балаганского округа 20–24 сентября 1897 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1897. № 22 С. 547–554.

Громов И. Миссионерский отчет Укырского священника за 1884 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1885. № 32. С. 393–397.

Громов П. Путь от Иркутска в Камчатку // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1869. № 4. С. 41–47; № 5. С. 56–63; № 6. С. 75–80; № 7. С. 81–87; № 9. С. 105–114; № 12. С. 145–149; № 16. С. 193–201; № 17. С. 216–222; № 20. С. 249–257.

Димитрий. Миссионерское путешествие высокопреосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, в октябре 1879 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1879. № 44. С. 523–530.

Дуброва Я. Записки миссионера Шимковского стана за 1879 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1882. № 11. С. 141–150; № 12. С. 151–166; № 13. С. 167–174; № 14. С. 175–185; № 15. С. 187–195.

Жалсараев А.Д. Становление и развитие церковно-административной системы Русской православной церкви в Забайкалье (середина XVII – начало XX вв.): автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Улан-Удэ: БГУ, 2006.

Ив-ий. Паломничество в Саров (из письма отца к сыну) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1903. № 22. С. 502–515; № 23. С. 528–543.

Иоанн. Впечатления из поездки в Китай // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1912. № 5. С. 115–122; № 7–8.

С. 205–213; № 9. С. 240–243; № 10. С. 270–274; № 14. С. 405–410; № 15. С. 436–443.

Иоанн. Впечатления из поездки на Дальний Восток // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1911. № 8–9. С. 161–171.

Иоанн. Из обозрения церквей и миссионерских станов Иркутской епархии в 1911 году // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1911. № 23. С. 575–577; № 24. С. 580–583.

Иоанн. Из отчета по обозрению приходских церквей и миссионерских станов Иркутской епархии в 1911 году // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1911. № 13. С. 294–305; № 16. С. 396–398; № 17. С. 421–428; № 21. С. 499–507; № 22. С. 531–535.

Иоанн. Из отчета по обозрению церквей Иркутской епархии в 1909 году // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1910. № 19. С. 552–557; № 22. С. 600–604; № 23. С. 613–618; 1911. № 1. С. 1–5; № 2. С. 21–24; № 4. С. 73–82.

Исаия. Поездка в окрестности Пекина по делам христианства // Прибавление к Иркутским епархиальным ведомостям. 1863. № 21. С. 306–314; № 24. С. 364–376; № 25. С. 385–392.

Исаия. Поездка в деревню Дун-Дин-Ань для постройки молитвенного дома // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1864. № 2. С. 25–31.

Кожевников И. Рапорт Епископу Красноярскому Никодиму (Поездка из Туруханска на реку Таз) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1868. № 32. С. 376–382.

Климюк И. Архипастырская поездка в село Голоустное // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1916. № 5. С. 160–166.

Климюк И. Поездка его высокопреосвященства высокопреосвященнейшего Серафима, Архиепископа Иркутского и Верхотурского в Тунку // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1913. № 16. С. 485–491; № 17. С. 519–527; № 18. С. 554–558; № 19. С. 578–583; № 20. С. 612–620; № 21. С. 650–660; № 24. С. 783–790.

Копылов В. Поездка его преосвященства преосвященнейшего Никодима, епископа Киренского, для обозрения миссионерских ста-

нов и приходских церквей, расположенных по Ангарскому тракту, по округам Иркутскому и Балаганскому с 31 августа по 9 сентября 1894 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1894. № 52. С. 1–18.

Краснов А. Путешествие учеников церковно–приходской школы Александровской центральной тюрьмы на поклонение мощам святителя Иннокентия, 1-го епископа Иркутского, чудотворца // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1893. № 25. С. 1–5.

Макарий. Дневник, веденный во время поездки его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского, по Иркутскому и Балаганскому округам с 20 мая по 3 июня 1882 г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1882. № 31. С. 393–406.

Малков А. Из записок Забайкальского миссионера. Хурал // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1866. № 17. С. 207–213; № 18. С. 216–222; № 19. С. 240–248.

Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика XIX века. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010.

Мелетий. Архипастырское и миссионерское путешествие преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского по Ангаре и ее притокам (2–19 окт. 1873) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1873. № 45. С. 699–714.

Мелетий. Записки Забайкальского миссионера, иеромонаха Мелетия, за 1864 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1865. № 21. С. 339–346; № 22. С. 351–36; № 23. С. 365–374.

Мелетий. Записки и заметки, веденные во время путешествия Преосвященного Вениамина по Яутскому тракту, р. Лене и ее притокам (с 14 мая по 15 июня 1874 года) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1874. № 34. С. 443–456; № 35. С. 461–479; № 36. С. 472–474; № 37. С. 477–489; № 38. С. 491–501; № 39. С. 505–520; № 40. С. 521–527; № 41. С. 531–536.

Мелетий. Из записок Забайкальского миссионера за 1863 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1864. № 26. С. 426–430; № 27. С. 443–446; № 30. С. 488–496.

Мелетий. Миссионерское путешествие преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, в декабре 1875 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1876. № 4. С. 43–51; № 5. С. 57–63.

Мелетий. Новое миссионерское путешествие Иркутского архиепископа Вениамина и крещение 700 душ бурят // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1878. № 22. С. 249–252.

Мелетий. Отчет в миссионерских занятиях посольского иеродиакона (ныне иеромонаха) Мелетия за вторую половину 1862 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1863. № 27. С. 427–431; № 28. С. 443–446.

М.И.П. Ко гробу Господню // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1900. №11. С. 257–263; № 12. С. 277–281; № 13. С. 306–308; № 14. С. 328–334; № 15. С. 350–352; № 17. С. 414–420; № 18. С. 447–452; № 19. С. 451–454; № 22. С. 513–516; № 24. С. 553–558; 1902. № 1. С. 1–8; № 2. С. 22–30; № 3. С. 40–46; № 4. С. 54–59; № 5. С. 73–78; № 6. С. 86–93; № 7. С. 103–111; № 8. С. 129–139; № 9. С. 149–158; № 10. С. 175–184; № 11. С. 198–215.

Миронов С. Отчет о миссионерских действиях по Кударинскому стану за 1885 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1886. № 27. С. 311–318; № 28. С. 319–328.

Миссионерское путешествие Иркутского архиепископа высокопреосвященного Вениамина по Балаганскому округу // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1881. № 33. С. 379–385.

Михаил. Краткие записки о новой поездке в старообрядческие селения Верхнеудинского округа и о беседах с старообрядцами // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1880. № 35. С. 442–453; № 36. С. 454–466; № 37. С. 474–482.

Михаил. О поездке по Забайкальской области Высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского с 5-го по 31-е июля 1882 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1882. № 41. С. 535–546; № 42. С. 547–556.

Михаил. Путевые записки о публичных беседах со старообрядцами в разных их селениях в Верхнеудинском округе Забай-

кальской области // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1879. № 36. С. 403–415; № 37. С. 417–428; № 38. С. 429–439.

N.N. Воспоминание о миссионерской поездке преосвященнейшего Мелетия, епископа Селенгинского (ныне епископа Якутского и Вилуйского), совершенной в 1879 году // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1891. № 9. С. 1–10; № 11. С. 1–10; № 12. С. 1–11; № 17. С. 1–13.

Никольский И. Записки о поездке Русского Священника в Монголию в 1864 году // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1864. № 32. С. 519–527; № 33. С. 535–540.

Один из спутников его преосвященства. Миссионерская поездка его преосвященства преосвященнейшего Макария, начальника Иркутского отдела миссии в пограничный Окинский караул // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1884. № 36. С. 399–412.

Обозрение епархии Тихоном, архиепископом Иркутским и Верхоленским и освящение храмов в поселке при ст. Тайшет и в с. Мальта // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1906. № 22. С. 588–592; № 24. С. 651–657.

Очевидец. Поездка преосвященного Зосимы, епископа Киренского по Тунгузке в Преображенку // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1916. № 14. С. 444–456.

Очевидец И.А. Поездка его преосвященства преосвященнейшего Зосимы, епископа Киренского для обозрения церквей и школ в Нижнеудинском и Балаганском уездах в январе месяце 1915 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1915. № 13. С. 451–458; № 14. С. 490–499; № 15. С. 517–522; № 16. С. 550–560; № 17. С. 595–596.

Писарев Д. Дневник сотрудника Забайкальской духовной миссии, священника Зюльзинской Предтеченской церкви Дмитрия Писарева, за 1888 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1889. № 32. С. 1–6; № 33. С. 1–6; № 34. С. 2–6; № 35. С. 1–10; № 36. С. 1–6; № 37. С. 1–7; № 38. С. 1–7; № 39. С. 1–5; № 42. С. 1–13; № 43. С. 1–10.

Писарев Д. Дневник сотрудника Забайкальской миссии священника Зюльзинской Предтеченской церкви Дмитрия Писарева за 1889 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1890. № 45. С. 1–11; № 46. С. 1–7; № 47. С. 1–6; № 48. С. 1–7; № 49. С. 1–7; № 50. С. 1–4; № 52. С. 1–8.

Поездка в Анинский дацан // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1886. № 42. С. 457–465; № 43. С. 467–475.

Поездка высокопреосвященнейшего Парфения, архиепископа Иркутского, в Тункинский край в месяце июле 1871 г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1884. № 50. С. 541–544; № 51. С. 545–550; № 52. С. 551–556; 1885. № 2. С. 15–30; № 3. С. 31–34.

Поездка его высокопреосвященства высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Иркутского и Верхоленского для обозрения церквей и миссионерских станом в Тункинском крае с 9–го по 23–е июля 1894 г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1894. № 42. С. 3–9; № 44. С. 1–5; № 47. С. 1–8; № 48. С. 4–11; № 49. С. 6–13; № 50. С. 1–12; № 51. С. 5–10.

Поездка его высокопреосвященства высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Иркутского и Нерчинского, для обозрения церквей Забайкальской области с 18 июля по 17 августа 1893 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1894. № 11. С. 5–9; № 14. С. 1–4; № 23. С. 5–9; № 25. С. 1–4; № 41. С. 1–8; № 42. С. 1–3; № 45. С. 4–6; № 46. С. 1–4; № 48. С. 1–4.

Поездка его преосвященства преосвященнейшего Зосимы, епископа Киренского, в октябре 1915 года для обозрения приходов, церквей и школ, Иркутского, Балаганского и Нижнеудинского уездов Иркутской епархии // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1916. № 15. С. 479–488. № 16. С. 514–525. № 18. С. 591–599; № 20. С. 663–668; № 21. С. 701–710; № 22. С. 753–761; № 23–24. С. 794–802; 1917. № 1. С. 10–16; № 2. С. 48–56; № 3. С. 87–96; № 4. С. 137–142; № 5–6. С. 182–189.

Поездка к ороченам // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1888. № 37. С. 386–393.

Поездка преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, в Тункинский край в сентябре 1874 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1874. № 50. С. 671–680; № 51. С. 681–689; № 52. С. 709–719.

Поездка преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, за Байкал для обозрения епархии с 21 января по 6 февраля 1876 г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1876. № 13. С. 169–172; № 14. С. 179–183; № 15. С. 191–197; № 16. С. 205–210.

Поездка преосвященнейшего Зосимы, епископа Киренского, по Иркутскому уезду в ноябре месяце 1915 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1917. № 7–8. С. 240–245.

Пономарев Н. Поездка его преосвященства преосвященнейшего Зосимы, епископа Киренского для обозрения церквей и школ в Иркутском и Балаганском уездах 1915 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1915. № 21. С. 723–731; № 22. С. 761–770; № 23. С. 807–815; № 24. С. 873–885; 1916. № 1. С. 3–12; № 2. С. 36–44; № 3. С. 88–94; № 4. С. 104–113; № 5. С. 149–160; № 8–9. С. 266–274; № 10. С. 312–327; № 11. С. 339–356; № 12. С. 376–383; № 13. С. 417–426; № 14. С. 455–467.

Пономарев Н. Поездка преосвященного епископа Евгения в Киренский уезд в июне–июле месяцах 1913 г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1913. № 21. С. 661–663; № 22. С. 688–694; 1914. № 2. С. 48–60; № 4. С. 121–131; № 6. С. 213–222; № 10. С. 351–363; № 11. С. 366–371; № 13–14. С. 444–452; № 15. С. 486–494; № 17. С. 577–584; № 18. С. 621–628; № 21. С. 724–733; № 22. С. 747–754; № 23. С. 785–792.

Попов А. Путешествие учеников Молькинской миссионерской школы на поклонение мощам святителя Иннокентия, иркутского чудотворца // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1895. № 14. С. 353–359.

Попов В. Описание поездки преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, для обозрения тункинских миссионерских станов // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1887, № 36. С. 331–336; № 37. С. 337–344.

Попов В. Поездка преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, на Илим и Верхнюю Тунгуску // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1886. № 14. С. 165–180.

Попов Г. По епархии с Владыкой (Путевые записки) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1916. № 15. С. 498–506. № 17. С. 546–555; № 19. С. 632–635.

Попов С.С. Поездка книгоноши И.К. Голубева в Забайкальский край в начале 1887 г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1887. № 26. С. 238–42.

Посещение его высокопреосвященством высокопреосвященнейшим Тихоном Нукутского Иннокентиевского и Одиссинского Михаило-Архангельского миссионерских станом Балаганского уезда 20 и 21 сентября 1901 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1902. № 2. С. 30–35.

Преловский И. Миссионерская поездка в Тунку преосвященного Макария, епископа Киренского, с 27 сентября по 9 октября 1884 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1884. № 48. С. 525–532.

Преловский И. Поездка преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, начальника Иркутского отдела духовной миссии, в Тункинский край с 10 по 21 февраля 1885 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1886. № 15. С. 181–188.

Путешествие преосвященнейшего Дионисия, епископа Якутского, по отдаленным местностям Якутской епархии (более 1000 в. на северо-восток от Якутска) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1874. № 24. С. 320–326.

Путешествие преосвященного Никанора, епископа Киренского, от Иркутска до Читы (для временного управления Забайкальской епархией) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1898. № 17. С. 434–440.

С. Из записей, веденных при обозрении Иркутской епархии в 1863 году // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1863. № 46. С. 757–763; № 47. С. 778–787.

Сизой А. С Амура // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1869. № 19. С. 237–242; № 20. С. 246–249.

Сизой И. Миссионерская поездка преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, в Приленский край в августе месяце 1885 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1885. № 44. С. 529–531.

Сизой И. Поездка к тунгусам Тутурской управы Верхоленского округа (очерк) // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1887. № 44. С. 403–406.

Сизой И. У орочен // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1895. № 24. С. 609–610.

Сизой М. Путешествие преосвященнейшего Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского по епархии // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1874. № 24. С. 317–320.

Смирнова Л. Путешествие учеников школ – Кударинской миссионерской, Полкановской и Унгуркуйской церковно-приходских – в Чикойскую Иоанно-Предтеченскую обитель 1896 г. от 4 до 11 июня // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1896. № 16. С. 395–406.

С.Н.Ш. Путешествие учеников Кирилло-Мефодиевской миссионерской школы в Иркутск // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1893. № 24. С. 1–13.

Сотников И. Путешествие учеников церковно-приходской школы на поклонение мощам св. Иннокентия // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1890. № 17. С. 6–8.

Софроний. К Святителю Иоанну Тобольскому. Дневник паломника // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1916. № 15. С. 488–498. № 16. С. 525–532. № 17. С. 555–562; № 18. С. 599–603; № 19. С. 635–638; № 20. С. 669–676; № 21. 710–719; № 22. С. 761–769; № 23–24. С. 802–808; 1917. № 1. С. 16–20; № 2. С. 56–60; № 3. С. 96–104; № 4. С. 142–148; № 5–6. С. 189–197; № 7–8. С. 245–251.

Спасский А. Путешествие в Верхнеангарский край для обозрения церквей // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1883. № 19. С. 249–253.

Стуков К. Из «Дневника», веденного на Братской степи, что в Забайкальской области // Прибавления к Иркутским епархиаль-

ным ведомостям. 1866. № 26. С. 318–324; № 27. С. 330–334; № 28. С. 337–343.

Стуков Н. Обзорение преосвященным Макарием, начальником Иркутского отдела духовной миссии, миссионерских станом в Тункинском ведомстве и освящение часовни на скале Сагаугун-Сыр-дэк // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1886. № 41. С. 447–455.

Стуков С. Записки миссионера Хоринского отдела Забайкальской духовной миссии за первую половину 1865 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1866. № 2. С. 15–24.

Суханов А. Миссионерское путешествие его преосвященства преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, 2-го викария Иркутской епархии и начальника Иркутского отдела духовной миссии по Балаганскому округу в октябре месяце 1883 г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1883. № 52. С. 668–674; № 53. С. 681–685.

Фивейский М. Обзорение епархии высокопреосвященнейшим архиепископом Иркутским и Верхолениским Тихоном в августе 1907 года // 1908. № 14–15. С. 432–440; № 19. С. 539–545; № 21. С. 592–597.

Фивейский М. Путешествие высокопреосвященного Тихона, архиепископа Иркутского и Верхолениского, в Тункинский край для освящения новосооруженного храма в с. Казачьем // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1901. № 1. С. 5–17; № 2. С. 31–40.

Царевский. Миссионерское путешествие преосвященного Мелетия в Баргузинский край // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1879. № 22. С. 233–241.

Чирцев И. Записки, веденные во время путешествия преосвященного Вениамина, епископа Иркутского и Нерчинского, по Забайкальскому тракту в округах Иркутском, Селенгинском, Верхнеудинском, Читинском, Нерчинском, Акшинском и Нерчинско-заводском с 1-го сентября по 12-е октября с.г. // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1877. № 46. С. 585–589; № 47. С. 595–602; № 48. С. 607–610; № 49. С. 615–617; № 50. С. 625–632; № 51. С. 635–642; № 52. С. 643–650.

Шастин Н. Дневник Цакирского миссионера священника Николая Шастина за 1886 год // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1887. № 38. С. 345–354; № 39. С. 355–361; № 40. С. 371–375; № 41. С. 377–388; № 42. С. 389–396; № 43. С. 397–398; № 44. С. 401–406; № 45. С. 407–410; № 46. С. 411–418; № 47. С. 419–426; № 48. С. 427–430.

Шастин Н. Из записок Цакирского миссионера // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1889. № 5. С. 1–8; № 6. С. 1–11.

Шастин Н. Миссионерский отчет по Цакирскому стану за 1885–89 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1891. № 4. С. 1–13; № 5. С. 1–5; № 6. С. 1–10.

Ядрихинский П. Посещение его преосвященством епископом Киренским Зосимою Архиерейского и Китайского храмов 20 января 1916 года // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1916. № 5. С. 166–174.

O.S. Roshchina

Novosibirsk State Pedagogical University

**TRAVELS OF EAST SIBERIAN PRIESTS
IN THE SECOND HALF OF 19 – EARLY 20TH CENTURY
(IN THE SUPPLEMENTS TO IRKUTSK EPARCHIAL GAZETTE)**

Abstract. There are two main types of travelogues of east Siberian priests: descriptions of a travel for service need, during which the author performs his duties, and descriptions of a travel, during which the author is free of his official duties or performs them at a minimum.

The texts of the first type are the descriptions of priests' missionary travels, archpastors' travels (missionary, review-inspection, temples' sanctification) and priests' travels with the school students.

The first samples of these are the reports, in which the authors scrupulously fix their own actions or archpastors' actions, and

they mention only the main points of the itinerary and sometimes the travelling difficulties or short historical inquiries. The report genre can be subsequently combined with the travel notes or diary genres in descriptions of such travels. The historical, geographic, culturological information is given besides the professional actions' description in this case; the features of the territories, localities, manners and customs of the natives are presented. The small group of travels without performing the duties (long journeys to the destination, pilgrimages) includes mainly the travel notes' genre, where authors not only describe the unfamiliar realities, but seek to fix their impressions and to express the individual opinions more, than the authors of the first type.

fiction literature is taken for model in some travel notes.

Keywords: travel, travelogue, missionary travel, archpastor's travel, travel with the school students, report, travel notes.

Information about the author. Roshchina Olga Sergeevna, Candidate of philological sciences, Assistant professor of the Department of Russian and foreign literature, theory of literature and methodics of teaching literature, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Vilyuskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia, 630126. Tel. (383)2440126. E-mail: roschina67@mail.ru).

А.Е. Козлов

Новосибирский государственный педагогический университет

**НАРРАТИВНЫЕ КЛИШЕ РУССКОГО ТРАВЕЛОГА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕСТНИК» 1860–1880-х гг.)¹**

Аннотация: В статье на материале путевых очерков, заметок, писем и мемуарных свидетельств рассматриваются некоторые нарративные клише русского травелога. Клишированность повествовательных форм в травелоге обусловлена спецификой нарратива: обычно соединяя прошедшее и настоящее, произведения о путешествии представляют сложный монтаж фигур путешественника (актанта ситуации) и повествователя (нарратора). Возникающее при этом напряжение диегезиса и экзегезиса, определяя подвижность повествовательной инстанции, в то же время нивелируется посредством опознаваемых читателем-современником моделей и формул. К таким формулам можно отнести: эксплицируемую вторичность (вообще, характерную для беллетристики и, в частности, беллетризованной прозы), описание письма как процесса фиксации впечатления и опыта (существующее в памяти культуры Нового времени), использование этикетных выражений и слов с комплиментарной семантикой. Следует заметить, что данные клише проявляются вне зависимости от сюжета повествования, места и цели путешествия, однако спектр актуализируемых функций оказывается широким – от общей беллетризации нарратива до сообщения ему идеологического звучания.

Все исследуемые тексты были опубликованы в журнале «Русский вестник» с 1860-х – 1880-е годы, т.е. отражают разные периоды редакционно-издательской деятельности М.Н. Каткова, что позволяет определить функциональное значение большинства рассматриваемых приемов.

¹ Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 15-04-00508 («Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII – начала XX века”»).

Ключевые слова: русская литература, травелог, «Русский вестник», нарратив, вторичность и альтернативность.

Сведения об авторе: Козлов Алексей Евгеньевич, канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Вилуйская, 28. НГПУ, ИФМИП. Тел. (383) 244-03-30. E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru).

Статус травелога как литературного жанра нельзя назвать устойчивым, при этом изучение истории вопроса оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, можно констатировать исчерпывающее теоретическое осмысление данного объекта, обусловленное множеством описывающих его моделей в современном гуманитарном пространстве. С другой – принцип отбора, а, следовательно, и моделирования жанровой структуры, зачастую определяется эстетической значимостью конкретного произведения, поэтому тексты, художественное значение которых близко к нулю, как правило, исключаются из анализа. Это обстоятельство показывает неизбежные погрешности, возникающие при анализе травелогов.

Осложнение исходной ситуации вызывает и неопределенность травелога как жанра. Не являясь нормативным и не входя в жанровую систему, в исследовательской практике он зачастую предстает как условно поименованная форма, а точнее, совокупность форм, имеющих разные морфологические свойства. В этом ракурсе кажется невозможным определение его денотата, дискуссионным выглядит и приведение явления к какой-либо терминологической дефиниции. Остается констатировать: изучение данного жанра носит конвенциональный характер, что не является препятствием для его научного осмысления. Исходя из этого, типологический анализ травелога должен строиться не на особенностях жанра, а образу-

ющем его сюжете, взятом в ракурсе нарратива. Поэтому безусловно продуктивным представляется нарратологический анализ травелогов.

В поле зрения настоящей статьи – травелоги, т.е. *путевые очерки, заметки и мемуары*, в которых путешествие представлено как *событие*, преобразующее явленную наблюдателю действительность и самого наблюдателя. При этом мы сосредоточим внимание не на вершинных образцах этого жанра (например, «Фрегате Паллада» И.А. Гончарова), а среднестатистических, авторы которых нередко выполняли конкретный социальный заказ. Ограничивая предмет анализа травелогами «Русского вестника», мы, тем не менее, полагаем, что представленные далее наблюдения могут быть распространены на подобные тексты, принадлежащие другим «толстожурнальным» периодическим изданиям. Связь с журналом кажется тем более принципиальной, что в этой сложной синтетической форме находили взаимодействие беллетристические и не собственно беллетристические произведения. Кроме того, публикация в журнале часто растягивалась на несколько номеров, в результате чего повествуемые события приобретали эффект не только пространственной, но и графической протяженности, продолженности развития во времени и пространстве. Этот эффект сериальности, хорошо изученный на материале *fiction-story*, к сожалению, не всегда берется в расчет при изучении *non-fiction*.

Как известно, большинство травелогов не обладает уникальным художественным кодом, а, следовательно, как и любая беллетристика, ориентировано на ряд исчислимых и повторяемых штампов. Таким образом, нарратология русского травелога, с нашей точки зрения, может быть сведена к конкретной семиотической задаче – дешифрации общего кода, реализованного на уровне клишированных повествователь-

ных структур. Такая задача, поставленная в настоящей статье, позволяет пренебречь фактором хронологии и сосредоточить внимание на типологии нарративных приемов.

* * *

В своем обзоре, посвященном книгам «Domestic Life in Palestine. By Mary Eliza Rogers. London» (1862) и «Aus dem heiligen Lande. Von Constantin Tiechendorf. Leipzig» (1862), К. Победоносцев писал:

С каждым годом умножается число путешественников и вместе с тем количество книг, записок и писем о путешествиях. Но и в этом роде, как во всех остальных, немногим дается золотая середина... Для того, чтобы написать приятную книгу в этом роде требуется талант особого свойства, и притом талант, обработанный терпеливыми усилиями [Победоносцев, 1863, с. 489].

В этой рецензии, как и во многих аналогичных, талант путешественника, связанный с конкретным действием, сопоставляется с эмпирикой другого рода – письмом и умением писать. Такое письмо воспринимается как важное, и, с точки зрения журналистики, равнозначное явление, т.е. осмысление факта как события (*путешественник*) оказывается неразрывно связанным с представлением путешествия как цепи событий (*повествователь*).

Описывая свое словацкое путешествие, этнограф В. Иванов-Желудков подчеркивал:

Заниматься археологией и этнографией в кабинете недостаточно; из книг вечно набираешься чужих воззрений и вечно натыкаешься на пробелы: экскурсии необходимы филологу, точно также как и натуралисту [Иванов-Желудков, 1865, с. 5].

В этом и подобных высказываниях очевидна общая интенция неприятия книги, напечатанного и написанного. Иными словами здесь переосмысляется и работает знаменитая формула Гоголя «надо проездиться», трансформируясь и рассыпаясь на множество сходных лексико-семантических вариантов. Вообще, напряжение между печатным словом и реальным впечатлением в травелоге становится постоянным объектом рефлексии, – особенно в контексте описания Европы и, в частности, Италии. Так, ведя свои путевые записки, Д. Касицын иронизировал:

Кто не читывал путешествий по Италии? Кто не слыхивал рассказов о Венеции, Флоренции, Неаполе и Риме? Если есть путешествие, из которого все пишут, то это, конечно, путешествие по Италии... [Касицын, 1877, с. 489].

И далее, говоря об удивительной способности своих соотечественников описывать увиденное:

Многие из них в своих отечествах от самого рождения всем были известны как вечные молчальники; но пересядут в итальянский вагон, ступят на итальянскую почву и сейчас же начинают прорицать о науке и искусстве, сокровенных смыслах того или другого куска мрамора или кирпича, по-видимому ничем не отличающихся от имеющихся в их отечестве [Там же, с. 488].

Казалось бы, такое ироническое отношение к повествующим путешественникам (или путешествующим повествователям) делает невозможным создание путевого очерка, однако, вопреки ожиданиям читателя, далее следует подробное описание итальянских достопримечательностей. Более того, многие путешественники, порою впервые выехавшие за пределы Российской империи, не стеснялись пересказывать известные

факты, дублируя ранее представленную точку зрения; как известно, в ряде случаев использовались путеводители, из которых заимствовались значительные фрагменты текста.

Распространенным является и обращение к авторитету / критика авторитета. Особенно частотны контексты, в которых отрицается поэтическое содержание путешествия, осмысляемого в рамках прозаической повседневности:

Что ни шаг – исторические воспоминания, только вы очень сильно разочаровываетесь, составив себе об этих местах понятие по звучным стихам Тасса и другим поэтическим описаниям... [Берг, 1868, с. 190];

Те, которые знают пустыню по описаниям путешественников, или по картинам Ораса Верне, восхищаются поэзией степей, особенно, когда слушают прославленную ораторию Фелисьена Давида, но Бог с ней, с этой поэзией пустыни: она сушит мозг и превращает нервы в грубые верёвки [Березин, 1860, с. 694];

Дворец эмира! Мы привыкли воображать себе Восток, а равно и Среднюю Азию страной чудес и своеобразной роскоши. Плеяда персидских поэтов, так громко воспевавших красоты среднеазиатской культуры, немало способствовала укоренению фантастической традиции. Неприглядная действительность, которую посольство постоянно встречало в своем путешествии по Средней Азии, горько разочаровывала нас [Яворский, 1881, с. 48].

Такое описание можно назвать полифункциональным: демонстрируя нарушение ожиданий путешественника, оно в то же время корректирует позицию читателя.

Так, в повествовательной структуре жанра возникает двойное напряжение: 1) между описанным ранее путешествием (следствием которого является ожидание) и непосредственно осуществленным путешествием (корректирующим исходный образ); 2) между эмпирической и фикциональной действительностью. При этом практически постоянным мо-

тивом, лишенным сколько-нибудь оригинального содержания, становится описание письма как фиксации путевых впечатлений, переноса своих мыслей и чувств на бумагу. Последнее можно соотнести с заветной пушкинской формулой: «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, / Минута – и стихи свободно потекут».

Однако, в отличие от художественного (и тем более) стихотворного опыта, прагматический опыт рассказывания о путешествии, сохраняя формальную связь с мотивом описания художественного, в то же время представляет смещение в сторону вопроса: «Куда же плыть?». Масштаб этого вопроса постоянно варьировался, то, представляя традиционным для русской литературы вопросом «Зачем я еду?», то, возрастая до голоса целой редакции журнала.

Фронтальное изучение травелогов «Русского вестника» позволяет убедиться в том, что большинство из них не было опубликовано по «горячим следам», от момента завершения путешествия до издания травелога должно было пройти определенное время – обычно от полугода до двух лет, т.е. письмо, описание путешествия становилось реконструкцией увиденного². В ряде случаев следовали оговорки и комментарии, поясняющие обстоятельства задержки. Так, Ю. Щербачев, опубликовавший в середине 70-х годов начальную часть своих заметок, продолжил публикацию только в 1881-м году. Публикация сопровождалась подробным комментарием, где рассказывалось о создании заметок, об их таинственном похищении («я проспал чемодан» [Щербачев, 1881, с. 368]), мытарствах и скитаниях пропавших записок («где он (чемо-

² Разумеется, в ряде случаев можно предполагать наличие некоторого каркаса, по которому собственно и возводится здание травелога, однако отсутствие большинства рукописей текстов делает такое предположение умозрительным.

дан с записками – А.К.) скитался, в чьих руках побывал – неизвестно» [Там же, с. 369]), и, наконец, об их возвращении и публикации. Впрочем, подробное описание таких обстоятельств встречается не часто: обычно авторы (или редактор) ограничивались указанием даты, позволяющей установить время путешествия и соотнести его со сроком публикации. В этом плане исключение составляют путевые очерки, публикуемые в «Современной летописи». Так, события в Италии и гарибальдийское восстание находили практически синхронное описание в путевых очерках Н.В. Берга конца 50-х годов. Несмотря на последующий отказ редакции от этой рубрики (возвращена в 1881-м году, после смерти Александра II), в журнале довольно оперативно печатались очерки сербской и турецкой кампании – в записках добровольцев и «случайно» оказавшихся в центре событий туристов. Тем любопытнее, что несмотря на понятную в сущности идеологическую миссию таких травелогов, большинство авторов, даже не владея талантом рассказчика, находили возможность для оговорок, придающих повествованию беллетристический характер.

Регулярно в зачине травелога можно встретить рассуждения о несовершенстве языка как инструмента фиксации действительности. Так, например, экономист В. Безобразов, открывая свои путевые записки, замечает:

Я только что закончил одну из моих поездок по неведомым странам, и куча живых впечатлений просится на бумагу. Как-то страшно высказывать печатно все эти ощущения и мысли, еще недостаточно проверенные размышлением и справками, часто схваченные налету; но я берусь теперь же за перо, чтобы сохранить в моих заметках тот характер первоначального личного впечатления, которым не следует пренебрегать и который в иных наблюдениях даже имеет особую цену [Безобразов, 1861, с. 265].

Подобно ему, этнограф И. Зарубин сетует на быстротечность полученных впечатлений:

Теперь из своего прекрасного далека мне есть что вспомнить в этом путешествии. Прошел уже год и краски успели побледнеть в моем воображении... [Зарубин, 1879, с. 247].

В обоих случаях фиксируется завершенность события путешествия (*только что; теперь*), актуализируется мотив воспоминаний (*куча живых впечатлений, вспомнить о путешествии*), кроме того, реализован модус недостоверности, связанный в ряде случаев с осторожностью повествователя. Часто это соединяется с мотивом неуверенности, точнее, убежденности в своем неуспехе:

Вот повод написать красноречивое слово о прогрессе, о силе человеческого ума, поработившего природу и т.д. Я не красноречив, это немножко жаль, но, действительно, как немного отвыкнешь от путешествий, то быстрые передвижения удивляют тебя, и, взявшись за перо, не устоишь против желания воспеть хвалебный гимн железным дорогам, экспрессам, машинам и от действительности вознестись к высшим умозрениям» [Долгорукий, 1862, с. 703];

...заранее прошу снисхождения к литературной, то есть стилистической стороне моих записок [Греков, 1880, с. 205].

Здесь очевидна общая интенция: читателю демонстрируют литературность текста, и в то же время, следуя принятым правилам этикета, оба очеркиста показывают себя в невыгодном для них свете. Иногда, особенно в путевых очерках военных офицеров, эта комплиментарная позиция заменяется оборонительно-нападающей:

...претензии на совершенную непогрешимость сведений, занимательность, игривость слога или популярное изложение, не имею... [Л-ский, 1879, с. 69].

Наиболее выразительной в этом контексте является автохарактеристика морского офицера П. Муханова:

Это мой первый опыт и без сомнения плохой и небрежный, потому что пишу урывками, а предметы описаний, как обширные мели, встречаются на каждом шагу [Муханов, 1860, с. 3].

Заметим, что, описывая плавание, Муханов неоднократно упоминает естественные препятствия, возникающие на пути корабля. Так органика ландшафта входит в эмпирику письма, соединяя путевое впечатление и его нарративный оттиск. Своего предела такая риторическая фигура достигает в прямом сопоставлении пережитого и написанного:

Впрочем, дальше Константинополя я в своем писании не поехал; для остальной части путешествия у меня не хватило бы ни времени, ни памяти, ни терпения [Щербачев, 1881, с. 369];

Впрочем, что ж? я описал на этих страницах чуть не целый месяц жизни; проехал в это время расстояние более 2, 300 верст, из которых 1,400 верст в седле [Шестунов, 1880, с. 372].

Количественное соотношение печатных листов и пройденных верст закрепляет в тексте синтетическое, порою синкретическое восприятие времени и пространства, что отражается в комментариях, рассыпанных по тексту. В обоих случаях авторы как бы сопротивляются своему тексту, прерывая повествование неожиданным для читателя рассуждением.

Зачастую можно увидеть, как описание путешествия оказывается неразрывно связанным с его переживанием. Феноменология такого восприятия, безусловно, обостряя творческий процесс, часто объясняет возникающие разрывы в повествовательной ткани и фабуле.

В то же время установка на «извиняющееся повествование» неоднократно становилась предметом пародического переосмысления. Например, К. Леонтьев, открывая свои «Воспоминания о Фракии», указывал на однородность сложившегося впечатления:

И так как я решительно не в силах по-немецки или по-английски записывать, замечать, нарочно наблюдать и разыскивать, то поэтому и теперь даже, после троекратного путешествия, все эти небольшие города для меня сливаются в нечто однородное и общетурецкое очень печального оттенка [Леонтьев, 1879, с. 263].

Разумеется, Леонтьева нельзя заподозрить в беллетристическом дилетантизме: на момент опубликования очерков он уже имел (хотя и своеобразную) славу писателя. Однако такое высказывание, созданное по рассмотренной выше модели, снимало с повествователя ответственность; кроме того, это позволяло придать наблюдаемому восточному миру извинительный для такого случая субъективизм – еще один характерный прием путевой беллетристики «Русского вестника». Этот способ повествования отлично осознавал Н.В. Берг:

...иначе починились и перья самих путешественников. Как тут станешь говорить важно и торжественно, с добавлением всяких страстей: бурь, бедуинских нападений, непомерной грубости Турок, оберегающих Гроб Господень, когда этого ничего нет... [Берг, 1868, с. 185];

Да, теперь нельзя чинить перья по-старому! [Там же].

Это восклицание, ставшее образующим в «Истории моих скитаний», в то же время представляет качественные изменения и модификации в идеологических способах описания действительности.

Часто условность повествования подкрепляется описанием исходного носителя информации – путевой книги или дневника:

По записной книжке – бедная, в каком она виде после путешествия! – я вижу, что 17 июля, на другой день по выезде из Корфу, мы стояли в Porto Ragusino, недалеко от Авлоны, скрывшейся за лесистым берегом [М-к, 1876, с. 645].

Книга становится в таких травелогах не только документом, подтверждающим и корректирующим слова путешественника, но своего рода свидетельством его эмоционального и психологического состояния. Вместе с описанием книги распространённым оказывается и детальное описание самого процесса фиксации:

Все о чем мне теперь предстоит вести речь, записывалось в свое время кое-как, на скорую руку: или верхом на коне, или на бивуаке, на мохнатой бурке, лежа на животе после утомительного перехода или сражения [Греков, 1880, с. 205];

Дневника я не вел, а записывал пережитое иногда по прошествии небольших периодов, как позволяло время [Л-ский, 1879, с. 66].

Подробное описание обстоятельств ведения записей выполняет не только сюжетостроительную, но и компенсаторную функцию, мотивируя стилистическое разноголосие или несвязанность отдельных эпизодов, вместе с этим сообщая описанному правдивость и непосредственность, создавая

эффект присутствия. В ряде случаев описание дневника или ежедневника актуализирует и одну из архаических культурных моделей *мир-книга*. Так, рассказывая о просьбе аборигенов внести их имена в книгу, Ю. Щербачев показывает, как бытовая фиксация приобретает черты ритуала:

...и когда я показал этим малолетним Петрам Ивановичам две строчки крупного письма на белой страничке, оба замерли от восхищения, точно их наградили золотыми медалями [Щербачев, 1881, с. 566].

Соединяя гротесковую ситуацию в духе «Мертвых душ» с реальным впечатлением, путешественник демонстрирует особенность человеческого сознания, где *записывать* и *быть записанным* становятся эквивалентом бытия, что сообщает данному сюжету онтологическое измерение.

Фиксация путевых впечатлений может осложняться графическим представлением увиденного, претворением материала в живописные (или ориентированные на живопись) образы. В этом плане интересны свидетельства, которые содержатся в письмах художника Н.А. Рамазанова (опубликованы посмертно):

Вам известна жадность, с которой мы обогащаем свои альбомы в поездках; около Нарвы встречались местечки, которые напрашивались на карандаш; но быстрота, с которой катится почтовая карета по шоссе и скорая перемена лошадей на станциях отняли всякую возможность занести в альбом то, что нас интересовало [Рамазанов, 1877, с. 97].

Далее на протяжении всего пути Рамазанов будет мотивировать остановки и содержательные перебивы движением по европейскому шоссе, то замедляя, то убыстряя темп своего

повествования. Кроме того, он будет подвергать коррекции увиденное, в ряде случаев прямо заявляя о несовершенстве письма и даже рисования как способов описания действительности:

Но можно ли на почтовом листке бумаги передать всё необъятное пространство, всю необъятную прелесть, представившуюся моим глазам, когда я обернулся к Риму, к этому умершему исполину, который прекрасен и в гробу своем [Там же, с. 692];

Может быть, вы от меня ожидаете описания Дрезденской мадонны? Это невозможно [Там же].

Учитывая, что письма и очерки художника были опубликованы без графического сопровождения, его тексты, зачастую представляя экфрастические описания, становились для читателя «Русского вестника» единственным свидетельством увиденного. Постоянно колеблясь между возможным и невозможным, Рамазанов обозначал в своем рассказывании семантические пределы увиденной действительности.

Этот прием, органичный в путевой беллетристике и публицистике, наиболее часто используется в путевых записках Д. Скалона. Сопровождавший Великого князя Николая Николаевича в его путешествии по Европе, бывший в составе дипломатической миссии Скалон должен был подробно описывать каждый шаг делегации. Однако, по существу выполняя эту задачу, Скалон в то же время изменяет фокус и масштаб, переключая внимание читателя с обстоятельств путешествия на обстоятельства писания:

Окончив свой дневник, я лёг и тотчас же крепко заснул, несмотря на вой шакалов и желание помечтать [Скалон, 1872, с. 179];

Я вытаскиваю из дорожной сумки дневник, чернильницу, перо и лениво заношу всё виденное по пути [Там же, с. 180];

От неловкого положения у меня затекла рука и по ней бегали мурашки. Дневник лежал на полу, перо далеко откатилось [Там же, с. 190].

Очевидно, что повествователь неоднократно останавливает рассказ, выходя из диегетического плана к плану создания собственного текста.

Фокус смещается с героя – великого князя Николая Николаевича – на повествователя, чье присутствие закреплено в тексте через неодушевленный, но как бы одушевляемый объект – дневник. Вместе с тем общая беллетризация путешествия способствует его представлению в метафорическом свете. Описывая беседу великого князя с самаритянкой, давшей воды усталым путникам, говоря о купании в Иордане и поклонении храму Гроба Господня, Скалон как бы отказывается от времени повседневного в пользу фундаментального универсального времени изначального бытия. Так, он не только поддерживает прозрачность библейских аллюзий, но и преодолевает сложившийся в травелогах второй половины XIX века негативный стереотип³ – описание константинопольских нищих и бродяг, иерусалимских османов, уничтожающих европейское наследие, наглых и необразованных бедуинов, было общим местом для очерков изучаемого периода. Скалон отказывается от тривиальных картин, декларируя это в повествовательных отступлениях:

³ Как известно, Иерусалим и Константинополь для человека 70-х годов нередко воспринимались в контексте азиатского и османского влияния, вследствие этого описание Константинополя зачастую строилось на перечислении повторяемых черт, рельефно обозначающих негативные стороны действительности.

...Я не в силах передать действительности во всем ее величии и блеске, она так прекрасна и в то же время так фантастична, что как опиум или хашиш опьяняет чувства и притупляет желания [Там же, с. 541];

Мои заветные мечты перешли в действительность: я был в Святой земле, я поклонился Гробу Господню [Там же].

Умело сообщая восточный колорит точке зрения путешественного европейца, Скалон показывает уникальность каждого впечатления и значение полученного опыта. На этом уровне план описания и метатекстовая рефлексия уравниваются; дополняя друг друга, они сообщают повествованию эффект дополненной реальности. Можно предположить, что популярность путешествия Скалона определялась не только предметом повествования, но и самим способом репрезентации, где действительность, представленная в своем первоизданном виде, сочеталась с непосредственной точкой зрения повествующего путешественника.

* * *

Представленные наблюдения позволяют прийти к предварительному выводу о некоторых нарративных шаблонах, используемых авторами журнальных травелогов. По-видимому, можно говорить о регулярно воспроизводимых моделях повествования: 1) включение комплиментарных речевых формул (актуализация модуса осторожности); 2) указание на вторичность наблюдаемой картины / описанного события; 3) описание письма как процесса фиксации (в том числе, через параллелизм путешествия и описания); 4) описание носителя информации – записной книги, дневника, путевого журнала, альбома – как источника, по которому восстанавливаются фабула и сюжет. Большинство перечисленных выше повество-

вательных приемов, с нашей точки зрения, открытые еще просветительским сентиментализмом, возникают в повествовательной структуре травелога, обнаруживая своеобразную «память жанра» и определяя общий этикет путевого письма. Условно обозначив два основных вектора повествовательной рефлексии формулами Гоголя и Пушкина, мы можем убедиться в возникающем напряжении, определяющем на внешнем уровне выбор между формой и содержанием (иначе – стилем и описываемым событием), а на внутреннем – энергию сюжета, или его развитие. Типологическое описание этих приемов, нарративных штампов и клише дает в дальнейшем возможность выявления типических черт травелога, что позволит провести демаркацию между индивидуально-авторскими и общелитературными способами актуализации события. Заметим, что при этом место описания – Азия, Европа, Дальний Восток или Америка, зачастую не влияют на арсенал повествовательных средств, представляющих набор опознаваемых штампов, или формул. Также очевидно, что при устойчивом воспроизведении этих формул, совокупность которых в семиотическом смысле представляет код травелога, меняется спектр актуализируемых функций – от общей беллетризации нарратива до сообщения ему идеологического звучания.

Достаточно часто, независимо от маршрута, в травелоге центральным и результирующим событием становится сам момент письменной фиксации. В этом очевидно проявление функциональной мены двух позиций – беллетриста и путешественника. Заметим, что воспроизведение этого приема в модернистской и тем более постмодернистской литературе не представляет открытия, можно говорить об актуализации накопленного ранее «инструментального» материала. Барочная модель мир-книга, ставшая впоследствии основой модернистской эстетики, отчасти становится квинтэссенцией

сюжета путешествия, если рассматривать в качестве его основного предиката путевое письмо.

Последнее замечание, требующее дополнительного осмысления, тем не менее демонстрирует возможный принцип нарратологического анализа журнальных травелогов. Их местоположение – толстый журнал – определяет специфику сериального сюжета, его семантические и графические пределы, а также рамочные конструкции, многие из которых, повторяясь и теряя индивидуально-авторское значение, становились общеупотребительным клише, определяли усредненный стиль повествования о путешествии в русской художественной и документальной (также квазидокументальной) прозе.

Литература

Безобразов В. Из путевых записок // Русский вестник. 1861. Т. 34. С. 264–308.

Берг Н.В. Мои скитания по белу свету // Русский вестник. 1868. Т. 74. С. 183–236.

Березин И. Сцены в пустыне. В Караван-сараяе // Русский вестник. 1860. Т. 25. С. 689–723.

Греков М. В долинах и на высях Болгарии. Воспоминания командира 30-го Донского полка // Русский вестник. 1880. Т. 146. С. 205–238.

Зарубин И.И. По горам и степям средней Азии. Путевые заметки от Москвы до Кульджи // Русский вестник. 1879. Т. 144. С. 235–275.

Иванов-Желудков В. Словацкие сёла под Пресбургом // Русский вестник. 1865. Т. 64. С. 5–29.

Касицын Д. Из наблюдений в Риме // Русский вестник. 1877. Т. 132. С. 489 – 523.

Кн. Д. Д...ой. Поездка в горную Шотландию. Путевые заметки // Русский вестник. 1862. Т. 39. С. 703–732.

Леонтьев К. Мои воспоминания о Фракии // Русский вестник. 1879. Т. 142. С. 256–289.

Л-ский С. От гор Кавказа до фортов Эрзерума. Воспоминания о действиях Эриванского отряда Кавказской армии в русско-турецкую войну 1877-78 года // Русский вестник. 1879. Т. 145. С. 66–110.

М-к. Поездка из Константинополя в Сараево в 1874 году // Русский вестник. 1876. Т. 124. С. 628–677.

Муханов П. Дневник Гардемарина на фрегате Аскольд // Русский вестник. 1860. Т. 27. С. 3–25.

Победоносцев К. Новые путешествия по востоку (обзор) // Русский вестник. 1863. Т. 43. С. 489–548.

[*Рамазанов Н.А.*] Русский художник за границей в сороковых годах. Семейные письма покойного Николая Александровича Рамазанова // Русский вестник. 1877. Т. 132. С. 94–128; Русский вестник. 1878. Т. 133. С. 685–717.

Скалон Д. Путешествие по Востоку и святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году // Русский вестник. 1876. Т. 123. С. 163–196, Русский вестник. 1876. Т. 125. С. 712–752.

Шестунов Н. От Кяхты до Калгана // Русский вестник. 1880. Т. 145. С. 363–372.

Щербачев Ю. По Нилу и на Суэцком канале // Русский вестник. 1881. Т. 155. С. 368–399.

Яворский И. Русская миссия в Кабуле в 1878-79 году // Русский вестник. 1881. Т. 155. С. 43–83.

A.E. Kozlov

Novosibirsk State Pedagogical University

THE NARRATIVE DIES OF THE RUSSIAN TRAVELOGUE

(ON THE MATERIAL OF THE “RUSSIAN BULLETIN” 1860–1880)

Abstract. The research deals with investigation of narrative peculiarities of travelogues (that were published in “Russian Bulletin” (“Russky Vestnik”) between 1860th – 1880th of XIX century). In our mind, typical narrative forms are depended on connection of actor (traveler) and narrator (travel-writer), which are closely connected

with temporal planes (future and past in the diegesis and exegesis). In general, it's realized through acquainted and understanding on the reader models and forms. There are explicate 1) secondary type of narration, that's organic for fiction and, particular, fiction prose 2) "grammatology" as method of description of writing 3) etiquette in the fraises and words with complimented semantic. It should be note, that narrative peculiarities are realized are occurs regardless of the narrative plot, so place or topos (Europe, America, Oriental world or Russia) haven't any matter. However, spectrum of function is wide: it's connected belletristic potential of fable or ideology semantic and other.

All researched texts were published in the "Russian Bulletin", that is connected with published and edition policy of the Mikhail Katkov. In conclusion there is attempt to descript a narrative peculiarities of travelogues of the travelogues of the serial journals of XIX century.

Keywords: Russian literature, travelogue, the *Russian Messenger*, narration, dependance and imitativeness of paraliterature.

Information about the author. Kozlov Alexey Evgenievich, Candidate of philological sciences, Assistant professor of the Department of Russian and foreign literature, theory of literature and methodics of teaching literature, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluyskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia, 630126. Tel. (383)244-06-30. E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru. Tel.: 89137466341).

В.Н. Крылов

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ПОЭТИКА НАРОДНИЧЕСКОГО ТРАВЕЛОГА КОНЦА XIX ВЕКА (ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ Ф.Д. НЕФЕДОВА)

Аннотация. В статье рассматривается поздний этап народнической беллетристики начала 1890-х гг. в аспекте актуальной на рубеже веков проблемы углубленного познания России. Предметом непосредственного анализа становятся путевые очерки забытого ныне писателя-этнографа Ф.Д. Нефедова. В статье раскрываются некоторые особенности поэтики народнического травелога (фигура повествователя, композиционный принцип контраста, конфликт в пределах отдельной сцены и т. д.), своеобразие проявления авторской позиции и синтетичность жанровой структуры. По типу построения сюжета травелог Нефедова приближается к рассказу; его сюжет имеет не только локальную привязанность к определенной частной сцене, ситуации, но содержит и сквозное течение, выраженное в попытках героев из привилегированного сословия приблизиться к народу, но их реализация остается за пределами сюжета. В поэтике путевых очерков Нефедова отразились как идеологическая позиция автора, так и зреющие в русской литературе новые тенденции документально-художественных жанров.

Ключевые слова: травелог, народничество, Ф.Д. Нефедов, Россия, повествователь-путешественник, Волга, композиционный контраст.

Сведения об авторе. Крылов Вячеслав Николаевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, ул. Кремлевская, д. 18. Тел.: 89625591640, 221-33-32 (раб.), 229-89-33 (дом.). E-mail: krylov77@list.ru).

Экстенсивность художественного сознания как характерное свойство русской литературы конца XIX – начала XX века проявилась в том, что одной из самых острых тем литературы становится тема России, ее географического и исторического своеобразия, ее настоящего и будущего.

О.В. Сливацкая отмечает: «В той или иной мере тема эта будет затронута во всех крупных произведениях. Герои их с различных позиций размышляют о том, что такое Россия, и размышления эти раскрывают пестрый и сложный комплекс социальных и нравственных противостояний отдельных общественных групп». [Сливацкая, 1983, с. 605]. Этот поворот русской литературы к теме углубленного постижения России проявился, в том числе и в активизации разного рода художественно-документальной литературы, относимой к жанру травелога.

Редкий «толстый журнал» того времени не публиковал разного рода путевые очерки, этнографические циклы путевых заметок о жизни и быте разных уголков России, причем самых удаленных и менее всего освоенных в литературе. Так, журнал «Вестник знания»¹ в своем историко-географическом отделе открывает постоянную рубрику «К познанию России». Предваряя новую рубрику, редакция поместила своего рода программу, представляющую немалый интерес. Приводим обширную выдержку из редакционного предисловия:

Есть ли хоть одна страна, претендующая на какую-либо культурность, где бы не только народ, но и высшие слои интеллигенции имели столь смутное понятие о своей родине, как Россия? Мы знаем, и нас уверяют в этом иностранцы, что

¹ Ежемесячный иллюстрированный литературный и популярно-научный журнал с приложениями для самообразования. Выходил в Петербурге с 1903 по 1918 гг., ред.-изд. В.В. Битнер.

Россия – страна, в которой имеются несметные естественные богатства, но народ у нас голодает, мрет от всяких болезней, связанных с бедностью и невежеством, вырождается: когда-то русских считали крупной, сильной расой, теперь наш мужик стал низкорослым, слабосильным, рахитичным... Лежа на богатствах, он умирает от нищеты. Над мужиком постоянно производятся разные эксперименты, направленные к его «благополучию», его постоянно опекают, о нем заботятся, но... никогда не спрашивают его самого, как он себя чувствует от этих «благодеяний». И хуже всего, что опекуны уверены в том, что доходящие до нас стоны мужика – это не более как «тенденциозное недоразумение». Точно в таком же положении находимся мы и относительно других экономических взаимоотношений.

А история России, выражающаяся в остатках старины в виде всевозможных исторических памятников, безбожно уничтожаемых по невежеству или по преступному корыстолюбию? Разве наша интеллигенция, за немногими исключениями, что-нибудь делает для того, чтобы сохранить, изучить и даже разыскать недостающее в этих остатках седой древности, носящей следы множества исторических событий и прошедших через Россию народов?

Возьмите любой исторический город и спросите местного жителя, даже из интеллигентов относительно «достопримечательностей», и вы убедитесь до чего скудны его познания своего родного города, до чего мало знаком он с историей края. Если же вы полюбопытствовали бы узнать, чем отличается данная местность в отношении естественно-историческом от других областей России, если бы вы вздумали спросить, на какой геологической системе расположен данный город, какие могут быть в окрестностях ископаемые, какие вероятные естественные богатства заключаются в недрах земли данного края, то на вас посмотрят с нескрываемым изумлением: «и зачем это ему понадобилось...», подумает ваш собеседник. <...>

В этом непонимании всего ужаса незнания – слабость России, в этом ее несчастье, которое усугубляется еще отсутстви-

ем в нас всякой инициативы и вечной боязнью неблагонадежности: повсюду нам чудятся городской и урядник. <...> Так, стоя на одном месте и не предпринимая ничего из боязни, бы чего не вышло», мы все дальше и дальше отстаем от культурных народов, все более и более беднеем, и вскоре дойдем до экономического банкротства, когда с мужика будет взять нечего, а он в свою очередь скажет, что и ему терять нечего.

Необходимо взяться за работу, и в первую голову придется заняться изучением России во всех отношениях: экономическом, историко-археологическом, естественном, этнографическом, климатическом и т. д. [Вестник знания, 1908, № 9, с. 1206–1207].

Вот только выборочный перечень материалов, опубликованных в журнале «Вестник знания», свидетельствующий о буме подобной литературы: «Край будущего. Из впечатлений поездки по Сибири», «Картины и впечатления Севера», «Очерки кавказского черноморского побережья», «Маньчжурские наброски», «Два месяца на Сахалине», «Амурский край», «Сарепта (Родина горчицы)», «Правила хлыстовской секты», «Кое-что о якутах», «Образовательные путешествия» т.д. То, как была реализована эта программа, может стать предметом отдельного специального исследования.

Что интересно отметить, в литературе делаются попытки предложить не только точку зрения образованного писателя, но и т. н. *народный* взгляд на русскую жизнь. Тот же журнал «Вестник знания» в 1903 году (№№ 5–8) публикует серию дорожных впечатлений крестьянина-самоучки Г.М. Пилипенко «В поисках земли (Дорожные впечатления в Сибири)», «Наше горе (Из поездок по Уссурийскому краю)». Публикацию очерков непрофессионального писателя редакция сопровождала примечанием, где говорилось:

... заканчивая печатанием настоящий очерк, принадлежащий, как уже было сказано, перу крестьянина, не получившего решительно никакого образования, позволим себе выразить надежду, что читатели отнесутся к этому произведению с большой снисходительностью. <...> Обращая на это внимание наших читателей из народа, мы просим их присылать свои «пробы пера» и быть уверенными, что ко всякому такому произведению будет применена возможная снисходительность. Но для нас интересны только правдивые описания жизни, быта, нужд и запросов той или иной народной среды, а не измышления на «народнические темы» [Вестник знания, 1903, №8, с. 34–35] (курсив наш. – В.К.).

Последнее замечание весьма примечательно. К концу XIX – началу XX века народничество перестает быть ведущей идеологией эпохи. Н.А. Бердяев в статье «Философская истина и интеллигентская правда», открывшей сборник «Вехи» (1909), поставит беспощадный диагноз народническому отношению к философии: «С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. <...> По существу, в область философии никто и не входил, народникам запрещала входить ложная любовь к крестьянству...» [Бердяев, 1990, с. 12–13].

Однако вряд ли справедливо на этом основании отрицать ценность литературы, замешанной на народнических взглядах: их художественно-публицистическое творчество шире представлений о пропагандистской роли литературы, лишь якобы иллюстрирующей идеологию. Нельзя не согласиться с исследовательницей народнической литературы М. Горячиной, которая, подчеркивала: «... художественная литерату-

ра народников 70–80-х годов не является, конечно, зеркалом положительных и отрицательных сторон их теории. “Народничество как литературное течение, стремящееся к исследованию и правильному истолкованию народной жизни, – совсем не то, что народничество как социальное учение, указывающее путь “ко всеобщему благополучию”. Первое не только совершенно отлично от другого, но оно может ... прийти к прямому противоречию с ним”, – справедливо отмечал Плеханов» [Горячкина, 1970, с. 5]. Познавательная ценность народнической литературы заключается в том, что она «открыла новые, неизведанные области народной жизни, познакомила русского читателя с духовной и материальной жизнью слоев народа, еще мало известных или вовсе неизвестных: с жизнью рабочих фабрик и заводов, золотоискателей, сезонников глухих окраин России, переселенцев, ремесленников» [Горячкина, 1970, с. 9].

«Кризис народнической идеологии привел к тому, что общие идеи и концепции, способствовавшие “генерализации” жизненного материала, отступают на второй план перед мыслью о необходимости исследовать саму жизнь в ее новых многочисленных и многогранных аспектах, в ее социальной и национальной вариантности» [Муратов, 1983, с. 31], – заключает другой исследователь. Сама народническая установка как бы побуждала писателей использовать возможности жанра путешествий. С этим связано развитие очерковой литературы, путевых набросков и заметок в творчестве С.В. Максимова, Н.Н. Златовратского, Н.И. Наумова, Ф.Д. Нефедова и других. В этом отношении народники продолжали традиции путешествующих писателей. Обращаясь к новому писателю советской эпохи, рецензент «Комсомольской правды» в 1928 году так вспоминал об этой традиции: «Начиная с 60-х годов прошлого столетия, русский писатель “путешествует”».

Стремление к странствию было присуще и писателю-разночинцу, и писателю-народнику, и писателю-пролетарию. С котомкой на плечах и посохом в руках они бродили по Руси, изучая любовно каждую речушку, каждую извилинку. Причины, вызывающие эти частые прогулки, были самые разнообразные: материальные нужды, поиски заработков, общественные устремления (хождение в народ) и политические репрессии» [Комсомольская правда, 1928, с. 3].

Для изучения позднего этапа народнической литературы представляет интерес путевая проза ныне почти забытого беллетриста-народника, журналиста, этнографа Филиппа Диомидовича Нефедова (1838–1902).² Ф.Д. Нефедов принадлежит к числу тех писателей (хотя и второго ряда), которые наиболее ярко «отразили основные стороны народнической прозы» [Горячкина, 1970, с. 6].

Особый колорит прозе Нефедова придает то, что всю жизнь он занимался изучением устного народного творчества, участвовал в экспедициях по Волге и в Оренбург, Уфимскую губернию, на Урал, на Кавказ, в Крым, занимался этнографическими и археологическими исследованиями (в 1872 году избирается членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, а в 1887 году был избран членом-корреспондентом Москов-

² О нем есть биографическая статья А.Ю. Панфилова в 4-м томе биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» (М., 1999). Из новейших исследований назовем кандидатскую диссертацию Е.Г. Чеботаревой «Народническая беллетристика в литературном процессе 1870-х гг. (Саратов, 2009). К сожалению, совсем нет его имени в академическом коллективном издании «Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза» (М.: ИМЛИ РАН, 2009), где рассмотрены тенденции развития очерка в литературе этого периода. Видимо, это связано с тем, что имя писателя ассоциируется прежде всего с 60–70-ми годами, хотя он выступал и в периодике 90-х годов.

ского археологического общества). Это, в свою очередь, породило в творчестве особый синтез жизненных впечатлений и научных наблюдений и выводов и придало ему черты непосредственной документальности «факта». Сюжеты, ситуации произведений Нефедов, как правило, черпал из своих поездок по России³.

Обратимся к поздним очеркам и наброскам Нефедова «Весною», опубликованным в журнале «Наблюдатель»⁴ (1894, №№ 1, 2) с авторской дефиницией «очерки и зарисовки». Этот текст нужно рассматривать как составной элемент такого структурно-жанрового образования, как «путешествие по Волге»: «Это жанровая дефиниция путевого очерка, описывающего Волгу (часто с верховья до низовых губерний и “Букеевской Орды”), ее природу, города и народы, населяющие “Великую реку”» [Сарбаш, 2012, с. 158]. В этом ряду можно назвать такие произведения, как «Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.» М. Невзорова; «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» А.Н. Островского; «Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее притокам» Ф.Д. Нефедова; «Путь по Волге в 1851 г.», «С Ветлуги» А.А. Потехина; «Куль хлеба и его похождения» С.В. Максимова; «Волга. Сказания, картины, думы» А.А. Коринфского; «Великая река. Картины из жизни и природы на Волге» Вас. Ив. Немировича-Данченко; «По Великой русской реке» А.П. Валуге, «Русский Нил» В.В. Розанова и другие.

Говоря о путешествии по реке, необходимо «при анализе травелога учитывать его *природную обусловленность*, про-

³ Так, впечатления от поездок по Башкирии нашли отражение в путевых рассказах и очерках Нефедова «На восточной окраине», «Опечаленный город», «Русские переселенцы», «Меновой двор», «Башкирская старина».

⁴ Ежемесячный литературный, политический и ученый журнал. Выходил в Петербурге в 1882–1904 годах, ред.-издатель А.П. Пятковский.

являющуюся в социально-бытовой специфике, точке зрения путешественника» [Милюгина, 2015, с. 128]: «В самом процессе движения дорога – зрительно – бежит тебе на встречу. Путешествие по воде оставляет у нас совсем иные зрительные впечатления. Плывая по реке, мы плывем вместе с рекой. Вода сама несет нас вниз по течению, и берега (суша) идут к нам навстречу, а мы с водой стремимся вперед. Дорога под нами (и под нас!) не стелется, дорога воды выводит нас» [Милюгина, 2015, с. 135]. В полной мере сказанное относится к водному перемещению вниз по течению, как в рассмотренном нами произведении. Путешествие по реке дарует особое психологическое состояние. О преимуществах водного путешествия (и особенно по Волге) замечательно писал В.В. Розанов в путевом очерке «Русский Нил» (так он называл Волгу):

Обыкновенно желающие отдохнуть на Волге отправляются из Петербурга до Нижнего и уже здесь садятся на пароход, чтобы видеть «наиболее красивые берега Волги». Это большая ошибка. Прежде всего железнодорожный путь, с летнею жарою и пылью, теснотой вагонов и вынужденною неподвижностью является сильным приемом нового утомления на усталые нервы. <...> Едва по длиннейшим сходням вы спускаетесь на один из громадных рядом стоящих пароходов, вы точно окунаетесь в «волжский труд», как что-то своеобразное, в себе замкнутое, как в особый новый мир, который сразу отшибает у вас память Петербурга, Москвы и даже вообще всего «не волжского». Удивительное ощущение, почти главное условие действительного отдыха, доставляемого Волгою! Пока вы сидите в вагоне, все равно Николаевской или Рыбинско-Бологовской дороги, вы точно тащите за собою Петербург. Его впечатления, его психология, его тревожнения – все с вами и около вас, в разговорах, которые вы слышите, в ваших собственных думах. Даже когда живешь на даче очень далеко от Петербурга, уже по тому одному, что она связана непрерывною линией

рельсов с Петербургом – этим железом и этим стуком, этою почтою и этими газетами, – вы никак не можете изолироваться от Петербурга и продолжаете, в сущности, жить в нем, но только как бы на очень отдаленной улице, и мало посещаете центры его. <...> Мерные удары колес по воде не утомляют вас, потому что это ново. Эти удары – мягкие, влажные. Ими почти наслаждаешься, как простым проявлением движения и жизни после того вечного стука и лязга железа о железо или о камень, от которого никуда нельзя скрыться в Петербурге и в Москве и который истощает и надрывает всяческое терпение [Розанов, 1989, с. 193–194].

Пространственно-временные рамки сюжета путевых заметок Нефедова определены, в соответствии с жанром травелога, *маршрутом* как «заранее намеченным и установленным путем следования» [Шачкова, 2008, с. 280]. Перед читателем развернуто описание путешествия вниз по Волге – от Нижнего Новгорода до Самары. Все действие происходит на пароходе «Левиафан»⁵, путешественники не выходят в города, где останавливается пароход, а наблюдают за изменениями с палубы парохода или из окна каюты. Состав попутчиков меняется, кто-то выходит на своей станции, но появляются новые лица. Основное место уделено описанию быта и времяпровождения пассажиров разных классов, а также их разговоров в пути.

По жанровой структуре текст «Весною» синтетичен, заметно взаимопроникновение разных жанровых элементов: социального, этнографического очерка, лирической прозы (особенно заметно активизировавшейся на рубеже веков). В нем, безусловно, проявляются некоторые типологические особенности жанрового образования «путешествие по Вол-

⁵ По-видимому, само название корабля «американского типа» указывает на авторскую оценку (отношение) народников к проявлению капиталистического развития на русской почве.

ге»: «Хронотоп Волги является доминантным в сюжетно-композиционной организации произведений. От лица автора-рассказчика, плывущего по Волге, даются разнообразные картины жизни: уклад жизни, род занятий, обычаи и нравы, национально-этнографические особенности быта русских и других многочисленных народностей. Русские писатели изображают Волгу и Поволжье как огромное полиэтническое пространство российского мира, населенное разными народами, отмечая специфику русской и “иностранческой Волги”. В русском национальном континууме возникает “нерусское”: разнообразные этнические образы-“лица”, этнопсихологические типы» [Сарбаш, 2012, с. 159].

Уже в самом начале повествования проявляется лиризм прозы Нефедова. Первый ключевой мотив можно назвать *предвосхищением путешествия* – это описание того подъема, которое испытывает рассказчик перед поездкой. В путевых очерках Нефедова, как правило, это дано в лирической форме как радостная возможность отойти хоть на время от будней столичной жизни и оказаться в мире природы, свободы, непосредственного ощущения жизни⁶. Такой предваряющей экспозицией открывался более ранний очерк Нефедова «Опечаленный город» (1884):

Трудно представить себе удовольствие выше, как в начале мая вырваться из столицы и бежать из нее вон, — куда, это все равно, лишь бы только не томиться в ошеломляющей атмосфере и не сидеть обалделым, точно индийский брамин, — бежать как можно скорее и без оглядки и чем дальше от «центров»,

⁶ В.Г. Короленко в очерке «В Америку» сравнивал путешествующего с птицей: «... как птица, которая в эту минуту встряхнулась на ближней ветке, снялась с насиженного места и понеслась над вершинами деревьев» [Короленко, 1923, с. 15].

тем лучше... Уж одно то, что вместо разных столичных запахов, вместо бесцельных тревог, бесконечных словоизвержений о «народничестве» и ежедневного созерцания фатальных физиономий дворников и городских, вы почувствуете себя посреди настоящей, не декоративной природы, с каждым днем расцветающей и гремящей тысячами голосов и звуков, наполняющих леса, степи и светлое поднебесье: поют эти голоса о деятельной, бодрой, никогда не останавливающейся в своем развитии жизни, поют они о вечной правде и чистой любви... Разве это не наслаждение, не счастье для столичного обывателя, и в особенности интеллигента, обретающегося, как известно, теперь в большом загоне? Правда, у интеллигентного человека немало всякого рода препятствий, мешающих осуществлению самых дорогих и заветных его желаний; к числу таковых, надо сказать, относится и трудность передвижения, несмотря на видимую легкость и усовершенствование путей сообщения. Особенная милость божия почиет на главе того, кто помыслит: «уеду на лоно природы» – и уедет! Кажется, не предстоит никакой надобности говорить, что автор этих записок тоже взыскан от бога: стоило ему в конце апреля задумать об оставлении центра, а в половине мая он уже очутился на периферии [Нефедов, 1988, с. 84–85].

То же настроение передано и в начале путевых заметок «Весною»:

Майское утро на Волге... Волга! Сколько воспоминаний, образов и картин внезапно встает при этом слове! Всякий раз, при виде Волги, до сих пор еще хранящей предания и были прежних времен, пахнет на вас ободряющей свежестью, обнимет вас беспредельный простор; сны и грёзы беззаботного детства поднимутся и поплывут в серебристом сиянии... Гористые, холмообразные берега; заливные, без конца расстилающиеся, зеленые луга; живописно разбросанные селения, посадки и города с белеющими церквями и с колокольнями, сверкающими

на солнце своими крестами; шумливая суетня и смешанный говор на пристанях, и эта величавая река со снующими по ней вверх и вниз пароходами, с мелькающими, словно белые голуби, парусными суденышками и, местами, вырастающим лесом расцвеченных мачт медленно движущегося каравана... Все это, хотя ненадолго, дает возможность позабыть о столичной суетлоке; и вседневных дразгах жизни, с облегченным сердцем вздохнуть на чистом воздухе и снова радостно взглянуть на привольный божий мир, на вечные, с каждой весной обновляющиеся, красоты природы, так властительно зовущие к иной жизни, к свободе; и правде, любви и здоровому, плодотворному труду» [Наблюдатель, 1894, № 1, с. 119].

Невольно вспоминается некрасовское «На Волге»:

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убежал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачусь, то берегом реки
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою...

[Некрасов, 1980, с. 88–89].

Одной из доминантных черт жанра травелога исследователи называют присутствие фигуры *повествователя-путе-*

шественника. «Травелог – это я-повествование, предполагающее обязательное наличие рассказчика-путешественника. Возможные типы рассказчика многообразны: от alter ego писателя до недостоверного повествователя – но именно он представляет единственный фокус изображения, единственную точку зрения на описываемое» [Никитина, 2013, с. 135]. Н.А. Никитина и Н.А. Тулякова, авторы этого определения, настаивают на том, что «именно это отличает травелог от романно-новеллистических форм, где, помимо точки зрения путешественника, есть точка зрения автора, обладающего большим знанием, и возможен диалог автора и читателя, минуя героя, что невозможно в травелоге» [Там же, с. 135].

Однако в реальной литературной практике не все так однозначно, как в теоретической модели. В русской литературе рубежа XIX–XX веков зарождается тип очерка, «больше похожий на новеллу, особенно при отсутствии фигуры рассказчика» [Завельская, 2009, с. 400]. Появляются очерковые тексты, в которых присутствие наблюдателя не всегда отчетливо проявляется. Но при явном отсутствии фигуры наблюдателя сохраняется «некий условный локус, при котором реальность описывается как бы с определенной точки зрения», а также «частое использование, например, настоящего времени при описании событий» [Там же, с. 408].

С этих позиций рассмотрим, как выражается авторская позиция в данном травелоге. Тем более, здесь нет, как в публицистическом тексте, прямых оценок. Поэтому следует обращать внимание на семантические доминанты текста, его композицию, пространственно-временную организацию.

Автор в путевых очерках Нефедова не обнаруживает себя как путешественник, непосредственный участник событий, многочисленных бесед пассажиров. Это, если следовать типологии повествователя, с точки зрения его отношения

к изображаемой действительности, «повествователь как интерпретирующий и оценивающий наблюдатель», его «наблюдательный пункт последовательно перемещается, оказываясь отражением сознания разных персонажей» [Маркевич, 1980, с. 195].

Авторская позиция выражается, прежде всего, через *композиционный контраст*. Это контраст социальный, контраст здоровья, веселья и печали, болезни, мужского и женского мира. Сам способ изображения пути, находящихся на корабле различных типов пассажиров, их реакций на увиденное по берегам Волги, характер диалогов и пространных монологов приобретает явную социальную злободневность. Сюжет разворачивается параллельно, мы оказываемся то среди пассажиров первого и второго, то третьего класса. Этот прием параллелизма позволяет подчеркнуть, выделить авторскую позицию. Это попытка показать два совершенно разных мира. О них писал Н. Шелгунов, слова которого приводит в своей «Истории русской общественной мысли» Р.В. Иванов-Разумник: «Мы, интеллигенция, – говорили семидесятники, – представители индивидуализма, народ – представитель коллективизма. Мы изображаем собою личное Я, народ – Я общественное. В сущности два полюса противоположных мировоззрений, которые должны быть исследованы, изучены, установлены и затем соглашены, как общий, основной и единый руководящий общественный принцип» (Шелгунов «Новый ответ на старый вопрос», 1868 г.)» [Иванов-Разумник, 1997, с. 195].

Так, контраст народного мира и привилегированногословия передается через различие *тематики* их разговоров. В первом классе ведутся разговоры о воспитании, образовании, искусстве, о современном положении дворян. «Профессорша» при взгляде на мальчика выносит приговор:

Любопытный материал для наблюдения представляют дети. Всегда по ребенку можно узнать, кто его родители: в сыне купца виден будущий купец, в ребенке аристократа – аристократ, в младенце дипломата – будущий политик, и так далее. Вот этот рыженький мальчик... уже наверняка сын купца.<...> Я всегда говорила и буду говорить, – не удостоив ответом, продолжала монументальная особа: – купцы, промышленники, разночинцы, не отдавайте своих детей в гимназию и бойтесь университета. Он не для вас! Зачем вашим детям высшее образование? [Наблюдатель, 1894, № 1, с. 124–125].

Совсем другие разговоры ведутся среди пассажиров третьего класса. Здесь говорят о погодных приметах, о засушливой весне, о том, что «коли дождей не выпадет, хлебушка ничего не уродится» [Там же, с. 139], а также, почему «столько начальства развелось» [Там же, с. 140]. А еще все выслушивают рассказ старика о «знамениях времени» перед пришествием антихриста» [Там же, с. 140] (с народным «сюжетом» связаны в очерке Нефедова многочисленные этнографические элементы).

Разделяя общие почти для всех народников просветительские и моральные ценности Руссо, «веру в добродетель простых людей, его мысль, что причина морального разложения общественных институтов – их изношенность, его острое недоверие ко всем формам умствования, к интеллектуалам, специалистам, всем самоизолировавшимся кружкам и фракциям» [Берлин, 2014, с. 305], Нефедов дает описание радостного солнечного утра (вблизи Симбирска), реки и окружающего ландшафта:

Кто не спит в это утро, кто лицом к лицу стоит с природою, – тот почувствует горячую слезу на дрогнувшей реснице;

в груди его зазвучат все струны души и согласным хором запоют новую песнь песней» [Там же, № 2, с. 212].

Но если третий класс уже не спит, там пробуждаются вместе с первыми лучами солнца, то первый класс еще «почивает» до десяти часов, а Казань, например, «проспал».

Сюжетные конфликты, развиваются, как это обычно свойственно очерку, в пределах одной сцены. Рассмотрим одну из характерных. Сцена представляет собой изображение кружка слушателей в мужском обществе. Один из участников разговора, управляющий имением одного крупного барина говорит, что причиной того, что стало мало леса и казенные леса вырубаются, является мужик. На защиту мужика выступает священник. А в ответ на это управляющий оскорбляет священника, называет его «бедным деревенским попом». Как вскоре выявляется, управляющий был по происхождению немец. В защиту священника выступает молодой агроном:

Вы так давно живете в России, эксплуатируете народ и позволяете себе не только презирать его, но оказываете полное неуважение к лицу духовного звания. За что вы оскорбили батюшку?» [Там же, № 1, с. 132].

Но есть среди попутчиков те, кто пытается приблизиться к народу, как-то ему «послужить». Эта сюжетная линия занимает особое место в структуре текста. На наш взгляд, именно в ней находит воплощение центральная идея народничества, идея социальной справедливости и социального равенства, значимая и на позднем его этапе: «...каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имел досуг приобрести или выработать, куплены кровью, страданием или трудом миллионов» [Лавров, 1934, т. 1, с. 225]. Достаточно вспомнить, какое значение эта проблема имела для

всей культурфилософской публицистики серебряного века. Вопрос о взаимоотношениях народа (России) и интеллигенции Блок называл «важнейшим для него» и «насущнейшим» [Блок, 1962, т. 5, с. 319].

Среди пассажиров «Левиафана» выделяется Анна Николаевна, богатая женщина-врач. В ее речах заметна народническая риторика:

Все говорят о жизни, все хотят жить и никто не живет... Жалуемся на пустоту и бесцветность жизни, удивляемся, что все и принизилось и опошлось, повсюду ложь и эгоизм, нет серьезных отношений между людьми, а ровно ничего не делаем, чтобы самим быть лучше и человечнее, не можем устроить жизнь по-своему, найти в ней живой интерес и идти своею дорогою. <...> Противно мне, наконец, стало; вся душа изныла, и я решила, хоть на время, уйти из этого болота и пожить новой жизнью [Там же, с. 166].

Она отправилась на восток, чтобы принести пользу переселенцам, среди которых много больных и голодающих. Своей собеседнице Сонечке она признается, что хочет посвятить свою жизнь этим «несчастливым» людям. Реализует ли она свою мечту, остается неизвестным, очерк завершается прибытием в Самару. Но по ходу путешествия читатель становится свидетелем попыток интеллигенции прислушаться к народу, как-то понять его. И Сонечка, и Анна Николаевна оказываются в числе слушательниц в третьем классе, где рассказываются народные легенды о Степане Разине. Вот итоговый вывод, который делает Анна Николаевна:

Народ живет своею жизнью, у него особое мировоззрение, свои идеалы и верования. Мы чужды народу, он сторонится нас и остается по-прежнему сфинксом, хотя мы притворяемся, что

знаем его, – у нас так много о народе пишут и говорят [Там же, № 2, с. 249]⁷.

Таким образом, встреча интеллигенции и народа в сюжете не состоялась, есть только попытка приблизиться к нему. Анна Николаевна советует Сонечке заняться миссионерской деятельностью, проповедью евангелия среди «инородцев». Но этот потенциальный поворот сюжета остается за пределами очерка. И если Сонечка уже добралась до конечной остановки своей поездки – Самары, то Анна Николаевна еще в пути:

... она спешит на станцию железной дороги, паровоз умчит ее⁸ в Оренбург, а потом – далекий путь на лошадях, беспредельные степи, всюду номады, русские переселенцы, больные и в нищете... [Там же, с. 253].

И Сонечка называет это самоотречением, подвигом, который может стать для нее вдохновляющим примером.

⁷ Ср. с близкими размышлениями рассказчика у И.А. Бунина «Новая дорога» (1897). По мере того, как поезд все больше удаляется от Петербурга, рассказчику открывается «забытая жизнь родины», деревушки, нищие люди на платформах: «Гляжу и я на этот молодой, замученный народ... на великую пустыню России медленно сходит долгая и молчаливая ночь... . "Какой стране принадлежу я, одиноко скитающийся? – думается мне. – Что общего осталось у нас с этой лесной глушью, она бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, мне ли помочь им? Как прекрасна, как девственно богата эта страна! Какие величание и мощные чащи стоят вокруг, тихо задремывая в эту теплую январскую ночь, полную нежного и чистого запаха молодого снега и зеленой хвои! И какая жуткая даль!"» [Бунин, 1983, с. 199].

⁸ Обратим внимание: если практически везде при описании событий преобладало настоящее время, свойственное поэтике очерка, то здесь время будущее.

Однако, мы покажем далее, вряд ли правомерно все содержание сводить лишь к выражению народнических представлений. Верно отмечал в давней статье о народнической беллетристике Н.В. Капустин: «... не надо искать народнических представлений там, где они отсутствуют» [Капустин, 1987, с. 108]. Так и в данном случае. Скорее всего, Нефедов пытается, пусть и в эскизной форме, дать как бы социопсихологический портрет человеческого сообщества в миниатюре, современной жизни вообще. Здесь сразу выделяются свои лидеры, «вожди» (причем, как среди первого, так и третьего класса):

Многие пассажиры успели познакомиться друг с другом, разделить на особые кружки и составить свое общество. Такая обособленность ярче выступила в женском обществе. Не говоря уже о том, что тонкая перегородка разделила дам одного класса от другого; между самими дамами первоклассницами замечалась рознь. Так, барыни, говорившие о своих столичных знакомых, людях «хорошего тона» или «высшего круга», держались в стороне от тех, которые в своих разговорах упоминали о «хорошем тоне» и «высшем круге». В мужском обществе, скучившемся преимущественно в отделении второго класса, был свой оратор, каким оказался высокий, с длинными усами, одетый в венгерку, пожилой симбирский помещик, а в дамском – своя царица, которая давала всему тон и вокруг которой, как звезды первой величины, группировались другие звезды, второй и третьей величины. Это блестящее созвездие составляли пять дам, и царицею между ними была пышная, лет тридцати пяти, барыня, одетая по последней парижской картинке (для семнадцатилетней девушки), с дорогим веером в руке и золотыми лорнетом [Там же, № 1, с. 122].

В этом представлении персонажей нельзя не заметить авторской иронии, усиливающейся далее по ходу повествования. Например, врач-артист:

... свежий и выхоленный, только что принявший ванну, рассказывал поклонницам своих талантов о Кавказе, где он провел в Железноводске одно лето, в качестве консультанта, и “хорошо заработал”» [Там же, № 2, с. 231–232].

Его рассказы об Эльбрусе, Казбеке, Дарьяльском ущелье производят впечатление безжизненности, холодности, что контрастирует с поэтичностью народных рассказов и впечатлений от живой природы, открывающейся по берегам Волги.

Выделяются и те, кто не принадлежал ни к какому кружку:

Но как между дамами, так и между мужчинами встречались одиночки, не приставшие ни к одному кружку. Большое внимание публики, особенно салонной, обращала на себя молодая, высокая и красивая дама, ехавшая в первом классе одна с горничною; она ни с кем не знакоилась, сидела или прогуливалась одна по балкону, любуясь береговыми видами и рекою; следила за играми резвящихся детей и прислушивалась к их разговорам [Там же, № 1, с. 123].

Не для всех путешествующих поездка оказывается радостным событием:

Как и всегда бывает весною, на пароходе немало ехало и больных, преимущественно молодых женщин и девушек: заботливые врачи сплавливали их на самарский кумыс. Среди цветущих здоровьем лиц и оживленного говора, они резко выделялись своею молчаливостью и увядшим видом: бледнолицый, со вспыхивающим, по временам, пятнами румянцем на щеках с выступающими синеватыми жилками на ввалившихся висках и исхудалыми руками, больные, в состоянии какой-то подавленности, сидели на решетчатых диванах и, казалось, безучастно относились ко всему на свете. А перед ними, с разных сторон, раздавались веселые голоса, звонкий молодой смех и восклицания радости, восторга и довольства... [Там же, с. 123].

Этот контраст здоровья, полноты жизни и болезни, особенно заметно выступает на фоне величественной реки. Вот, например, описание вечера:

Солнце медленно погружалось в зеркальную гладь реки; последние лучи его обстреливали весь город Козьмодемьянск, верхушки деревьев, вершины гор и белую, отчетливо выступавшую вдали, сельскую колокольню с горевшим, как огонь, крестом... Погружаясь все ниже и ниже, оно совсем потонуло, и как только потонуло, – запад весь залило расплавленным червонным золотом.

«Левиафан» снова несется по водам затихающей, как будто бы начинающей погружаться в дремоту, величественной реки. Больные, еще задолго до солнечного заката, удалились с балкона, их бледные лица, обливаемые пышным румянцем зари, показались теперь в закрытых окнах кают и смотрели такими печальными, грустными...

«Зачем мы не наслаждаемся этим прекрасным вечером? Зачем мы сюда ушли, когда там чистый мягкий воздух?» – говорили их усталые, но блестящие глаза. – «Почему другие все говорят, их все радует и им весело, а мы?.. Вот это Сонечка опять чему-то смеется... счастливая! [Там же, с. 127–138].

Предметный мир путевого очерка по Волге непредставим без образа самой реки и подробностей открывающихся окрестностей с движущегося парохода⁹. В современных культурологических исследованиях вода и река рассматриваются как древнейшие архетипы, повлиявшие на становление национальных картин мира, а Волга выступает как «культурообра-

⁹ Жизни у реки (Камы) посвящена повесть Нефедова «Тайна реки» (1894).

зующая категория русской ментальности»¹⁰. В начале очерка «Русский Нил» В.В. Розанов вспоминал веками сформировавшиеся народные представления о Волге:

Но и Волга наша издревле получила прозвание «кормилицы». «Кормилица-Волга»... Кроме этого названия, она носит другое и еще более священное – матери: «матушка-Волга»... Так почувствовал ее народ в отношении к своему собирательному, множественному, умирающему и рождающемуся существу. «Мы рождаемся и умираем, как мухи, а она, матушка, все стоит (течет)», – так определил смертный и кратковременный человек свое отношение к ней, как к чему-то вечному и бессмертному, как к вечно сущему а живому, тельному условию своего бытия и своей работы. «Мы – дети ее; кормимся ею. Она – наша матушка и кормилица». Что-то неизмеримое, вечное, питающее... [Розанов, 1989, с. 192–193].

В путевой очерк Нефедова включаются описания волжского речного ландшафта, данные сквозь призму народно-поэтических представлений и авторского лирического отношения. Для очерка рубежа веков характерно, что «описательные элементы порой утрачивают функцию аргумента, превращаясь в подобие лирических отступлений», что придает очерковой прозе «дополнительный эссеистско-импрессионистический характер» [Завельская, 2009, с. 405–406]. Разумеется, подобные особенности в полной мере проявились у больших мастеров прозы (В. Вересаева, В. Короленко, И. Шмелева и других), но они заметны и в анализируемом произведении.

¹⁰ «Ни одна река в России не оказала такого огромного влияния на формирование русской ментальности, как Волга. Эта река мыслилась не только как ландшафтный объект, но прежде всего как некий субъект бытия. Она “матушка”, прародительница русского народа, кормилица и подательница всех благ» [Кусмидинова, 2010, с. 13].

Мы уже приводили пример из начала очерка, но особенно ярко эти черты обнаруживаются при описании волжских городов и речной панорамы. Художественными средствами Нефедов стремится передать особенности поволжских городов, каждый из которых совершенно неповторим. Перед читателем последовательно открываются с движущегося корабля поволжские города и прибрежные поселки: Нижний Новгород, Васильсурск, Казань, Тетюши, Симбирск, Ставрополь, Жигули, Самара). Вот картина Симбирска:

Пароход вышел па стрежень (фарватер) и не сделал версты от пристани, где остался на плоту живой утопленник, как с высокой горы выглянул Симбирск, облитый лучами солнца, – выглянул куполами храмов и соборною колокольнею, розовыми, вытянутыми в длину, казенными зданиями, среди которых робко ютились и стыдливо прятались разные обывательские постройки. Город глядел вслед за уносившимся плавучим замком-пароходом и долго, – пока тот не скрылся из виду, – провожал его не то с какою-то думою, не то с затаенною печалью» [Там же, № 2, с. 211].

Именно в изображении картин Волги и волжских окрестностей усиливается авторская роль, рассказчик дает в полной мере волю попутным впечатлениям и ощущениям.

Река, как известно, с древнейших времен выступает и как порождающее начало, основа жизни, но в ней есть и танатологическое проявление, она может уничтожить, погрузить в себя. Волга, какой она предстает со страниц очерков Нефедова, тесно связана с фольклором, с героями многих легенд, народных поверий и песен, которые звучат с нижней палубы (в легенде о Девьей горе красавица, отвергнутая любимым, с горы бросилась в Волгу-матушку; о человеке, который в Жигулевских горах встретил богатыря Степана Разина).

В фольклоре типичными мотивами, которые разворачиваются на фоне в Волги, являются «неразделенная или трагичная любовь, тема дороги, вольницы, удали, подвига и т.д.» [Куснидинова, 2010, с. 13].

По-видимому, для автора народные вставные рассказы были не только способом характеристики героев из народа, но имели и специальный этнографический интерес¹¹.

Как это нередко проявляется у Нефедова, лирика вытекает из фольклора, фольклорно-поэтической основы его произведений. Так и здесь: песни с нижней палубы органично перетекают в авторское повествование с элементами сказовой формы:

В залах и каютах первых двух классов никого не оставалось, кроме больного пассажира в одной из отдельных кают: все высыпали на балкон. Гора-великан неслась навстречу с невероятной быстротой. Вдруг с нижней палубы, где помещается машина, грянули сильные голоса:

Мы взойдемте, братцы,
На высокие горы;
Поглядимте, братцы,
Вниз по матушке по Волге.
<...>

На одном из стружочков, – пела далее песня, – «весела была беседа»: тут сидел сам атаманушка, по прозванию Стенька Разин. Гора-мыс, почти отвесно поднимавшаяся над водою, была уже в двух саженьях... [Там же, с. 226–227].

Когда появляются Жигулевские горы, всех пассажиров, независимо от «класса», охватывает особое воодушевление. И, как подчеркивает повествователь, даже лица сделались

¹¹ Ведь этнография была предметом его специального научного интереса: [Нефедов, 1877, с. 138–162].

«лучше и добрее». Перед возвышенной красотой все на какое-то мгновение забывают и о социальных распрях, тяготах жизни, о болезнях:

... Еще несколько мгновений – и пароход разбился бы в дребезги о страшную твердыню... Но невидимая рука изменяет курс, и он благополучно минует опасность. Отлегло у всех от сердца, дамы облегченно вздохнули. И едва обогнули гору, как с разных сторон клики восторга и удивления огласили балкон. Дивная картина открылась пред изумленными взорами. Справа, во всю длину берега, встали и поднялись в прихотливых очертаниях горы, скалы и утесы; то краснобурые и каменистые, они отсвечивали, то совсем утопали в чудных кудрях зелени. Бесчисленными толпами собрались они на берег, чтобы полюбоваться своим отражением; остановились и замерли от восхищения и обнявшей их радости. <...> И никто не говорил, все сидели и стояли, как очарованные. Лица преобразились: резкость сгладилась, они сделались лучше и добрее. Даже лицо немца «с истинно-русской душой» изменилось, и выражение его желто-карих глаз смягчилось. <...> Батюшка тихо вздыхал, и на ресницах его дрожали слезы. Больные девушки сидели с просветленными лицами: природа своими красами благотельно воздействовала и на них, наполнила сердца их жизнью и счастьем забвения [Там же, с. 227–228].

На рубеже XIX – начала XX века признается «онтологическая значимость эмоциональной сферы, ее интуитивной стороны, свободного полета впечатлений как особого пути познания». [Завельская, 2009, с. 410]. Поэтому авторская позиция усиливается именно в таких «местах» текста, где сильнее всего передано эмоциональное мироощущение, рождаемое созерцанием неба, отраженных звезд в реке и наступившего

ночного покоя¹². В них отношение автора к миру дано с позиций человека верующего:

По небу раскинулись звезды; в полусумраке и Волга, и все побережье; на западе алеет золотистая заря. Ночь тихая, теплая, с какою-то нежною ласковостью обняла реку, берега и окрестность. Царственная тишина и непробудный покой! Даже глухой, тяжелый грохот и вздрагивание массивного парохода не нарушают ни этой тишины, ни этого покоя майской ночи, благоухающей травами и цветами лугов. Смотришь на распростершееся вокруг дивное небо, на отчетливо вырисовывающиеся в золотисто-алом сиянии зари листья деревьев, на безмятежные, с отраженными звездами, воды могучей реки; жадно впиваешь полной грудью ароматный воздух, и на душе все так ясно и спокойно, здоровая бодрость наполняет все существо, погибшие мечты и надежды на обманувшее счастье воскресают, и с тихой грустью думаешь, зачем эта непрерывная битва жизни? Зачем неправда и зло, тревоги, лишения и страдания, уныние и отчаяние? Разве мало простора, разве тесно людям под беспредельным небесным сводом? И разве иссякли дары природы? Взгляните, прислушайтесь, – все зовет к братскому единению, радостным песням мира и человеческой любви... [Там же, №1, с. 157–158].

Таким образом, путевые очерки Ф.Д. Нефедова несут в себе черты народнической идеологии, проявляющиеся в социальной заостренности, в авторской оценочности персонажей и ситуаций, в контрастности различных «классов» пассажиров (различия тематики диалогов, реакций на окружающий ландшафт и т. д.). По типу построения сюжета травелог Нефедова приближается к рассказу; его сюжет имеет не толь-

¹² Вместе с тем в лирических отступлениях, рожденных созерцанием водной стихии, заметно одновременное сочетание «показа» и «рассуждения».

ко локальную привязанность к определенной частной сцене, ситуации, но содержит и сквозное течение, выраженное в попытках героев из привилегированного сословия приблизиться к народу, но их реализация остается за пределами сюжета. Однако мы не сводим содержание очерка только к выражению народнических представлений, а видим в нем попытку дать социопсихологический портрет человеческого сообщества в миниатюре, современной жизни вообще, что несколько нейтрализует его народническую направленность. Включение образа Волги в повествование обогащает жанровую структуру, придает тексту сильно выраженное лирическое начало. Этнографические и фольклорные элементы выполняют в тексте двойную функцию. Они служат средством раскрытия богатой духовной памяти народа, а также имеют для автора-этнографа самостоятельную ценность. Сюжетно они обусловлены маршрутом путешествия и возникающими по ходу фольклорно-поэтическими «воспоминаниями», своего рода «рассказами в рассказе». Травелог имеет синтетическую жанровую структуру, объединяя черты социального, нравоописательного, этнографического очерка и лирической прозы.

Разумеется, путевые очерки Нефедова остаются текстом, принадлежащим к беллетристике, но это не умаляет их познавательной ценности и значения в литературном процессе рубежа XIX–XX веков. Как мы полагаем, этот же статус (подготовительная функция беллетристики) позволяет увидеть в поздненародническом очерке те тенденции, которые в полной мере проявятся в русской литературе начала XX века, в том числе и у больших мастеров жанра травелога.

Литература

Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции Н.А. Бердяева,

С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струае, С.Л. Франка. Репринтное издание 1909 г. М.: Изд-во «Новости» (АПН), 1990. С. 5–26.

Берлин И. История свободы. Россия. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Блок А.А. Собрание соч.: В 8 т. М.; Л.: Гос. изд-во худ. лит. 1962–1963.

Бунин И.А. Рассказы. М.: Изд-во «Правда», 1983.

Вестник знания: Ежемесячный иллюстрированный литературный и популярно-научный журнал с приложениями для самообразования. СПб., 1903–1918.

Горячкина М.С. Художественная проза народничества. М.: Изд-во «Наука», 1970.

Завельская Д.А. Очерк // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 397–436.

Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли: В 3 т. Т.2. М.: Республика; ТЕРРА, 1997.

Капустин Н.В. О жизненных истоках и путях воплощения «рабочей темы» в русской литературе 60–70-х годов XIX века (На материале произведений Ф.Д. Нефедова и Н.И. Наумова) // Факт, домысел, вымысел в литературе. Межвузовский сборник научных трудов. Иваново: Изд-во ИГУ, 1987. С. 99–108.

Комсомольская правда. 1928. 28 апреля. №99 (884).

Короленко В.Г. Полн. собр. соч. Посмертное издание. Неизданные произведения. Т. XVIII. Харьков: Гос. изд-во Украины, 1923.

Кусмидинова М.Х. Концепт Волги в историко-культурном развитии России: философский анализ. Автореф. дисс. ... канд. философ. наук. Астрахань, 2010.

Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы: В 8 т. Т.1. М.: Всес. общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934–1935.

Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе / пер. с польск. М.: Прогресс, 1980.

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Путешествие и его природная обусловленность // Русский травелог XVIII–XX веков: коллективная монография / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. С. 128–141.

Муратов А.Б. Проза 1880-х годов // История русской литературы в четырех томах. Т. 4. Л.: Наука. С. 27–73.

Наблюдатель. Ежемесячный литературный, политический и ученый журнал. СПб., 1882–1904.

Некрасов Н.А. Стихотворения и поэмы. М.: Художественная литература, 1980.

Нефедов Ф.Д. Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее притокам // Тр. этнографического отдела Имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Моск. ун-те. М.: Типолитограф. С.П. Архипова и К., 1877. Кн. 4. С. 138–162.

Нефедов Ф.Д. Весною. Очерки и наброски // Наблюдатель. 1894. № 1. С. 119–168.

Нефедов Ф.Д. Весною. Очерки и наброски // Наблюдатель. 1894. № 2. С. 210–254.

Нефедов Ф.Д. В горах и степях Башкирии. Повесть и рассказы. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1988.

Никитина Н.А., Тулякова Н.А. Жанр травелога: когнитивная модель. Вып. 5. СПб.: Астерион, 2013. С. 132–138.

Розанов В.В. Русский Нил // Новый мир. 1989. С. 188–231.

Сарбаш Л.Н. «Путешествие по Волге» в русской литературе XIX века: «Куль хлеба и его похождения» С.В. Максимова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 5 (16). С. 158–160.

Сливицкая О.В. Реалистическая проза 1910-х годов // История русской литературы в четырех томах. Т. 4. Л.: Изд-во «Наука», 1983. С. 603–634.

Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 277–281.

V.N. Krylov

Kazan Federal University

**POETICS OF NARODNIK'S (POPULIST)
TRAVELOGUE OF THE LATE 19TH CENTURY
(TRAVEL ESSAYS OF F.D. NEFEDOV)**

Abstract. The article deals with the late stage of the Narodnik's (populist) fiction of early 1890-s in the aspect of deep cognition of Russia, which was important on the turn of the century. The subject matter is the travel essays of the writer-ethnographer F.D. Nefedov, who is forgotten nowadays. The article describes some features of the poetics of the Narodnik's travelogue (the narrator, the compositional principle of contrast, a conflict within a single scene, etc.), the originality of the demonstration of the author's position and synthetical genre structure. According to the type of the plot construction Nefedov's travelogue is close to a story. His plot is not only locally attached to a certain scene or a situation, but also contains the idea which is expressed in the attempts of the privileged class characters to get closer to the ordinary people, but their realization remains outside the plot. The poetics of Nefedov's travel essays reflects both the ideological position of the author and new trends of documentary artistic genres in Russian literature.

Keywords: travelogue, Narodnik's movement (populism), F.D. Nefedov, travelling narrator, the river Volga, compositional contrast.

Information about the author. Krylov Vyacheslav Nikolaevich, Doctor of Philology, Professor, the Institute of Philology and Intercultural Communication (Kazan Federal University, 18 Kremlyovskaya Str., Kazan, 420008, Russia).

И. Лоцилов

*Новосибирский государственный педагогический университет
Институт филологии СО РАН*

**ДВЕ КНИЖКИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ В ОБРАБОТКЕ
НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО: АФРИКА И ТИБЕТ¹**

Аннотация. Статья посвящена двум малоизвестным работам молодого Николая Заболоцкого – адаптации для детского чтения писем врача Якова Ивановича Чаброва (1883–1853), работавшего в экваториальной Африке, и переработке книги британского военного медика и археолога-любителя Лоуренса Аустина Уодделя (1854–1938) о путешествии в Тибет. Книжка «Письма из Африки» вышла в 1928 г. с иллюстрациями художника Николая Лапшина. В качестве имени автора была указана фамилия адресата писем, старшей сестры Чаброва, Марии Ивановны Беюл (1875–1942). Предположительно, эта работа досталась Заболоцкому благодаря дружбе с ленинградскими художниками Н. Лапшиным и А. Пахомовым, с которыми дружила также дочь Марии Беюл, актриса Ленинградского Театра Юного Зрителя Ольга Павловна Беюл (Гальперина; 1901–1984). Книга «Таинственный город» вышла в 1931 г. под псевдонимом «Яков Миллер», который постоянно использовал Заболоцкий в детской литературе. За эту работу поэт взялся по совету С.Я. Маршака. Этнографическое сочинение Заболоцкий превратил в занимательную книжку благодаря кардинальным сокращениям, авантюрной интриге и выдуманным персонажам. Выдвинуты предположения о том, как отозвались эти две работы для детей в оригинальном поэтическом творчестве Заболоцкого.

Ключевые слова: Африка, Заболоцкий, литературная обработка, Тибет, травелог, эпистолярный травелог.

¹ Статья написана при поддержке гранта РГНФ, проект 15–04–00508 («Аннотированный указатель “Русский травелог XVIII–XX веков”»).

Сведения об авторе. Лошилов Игорь Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики преподавания литературы Новосибирского государственного педагогического университета, старший научный сотрудник сектора литературоведения Института Филологии СО РАН (Новосибирск, ул. Виллюйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-03-30. E-mail: loshch@yandex.ru).

Временем исключительно яркого литературного дебюта Николая Заболоцкого принято считать конец февраля 1929 года, когда вышла в свет его книга «Столбцы»² – «единственная книга, которую удалось издать поэтам-обэриутам», как справедливо отметил Н.А. Богомолов [Поэзия 1920-х годов, 2000, с. 680]. Помогавший поэту в подготовке издания И.М. Синельников вспоминал: «Я сказал: – “Ну вот, через несколько дней выйдет ваша книга. Может быть, как Байрон, вы однажды проснетесь знаменитым”. Он улыбнулся и сказал, что сейчас другие времена и все обстоит значительно сложнее, чем при Байроне. Но я напроорочил: он действительно проснулся знаменитым» [Синельников, 1984, с. 119].

По большому счету, это, несомненно, верно. Однако при более пристальном историко-литературном подходе – это был не совсем дебют.

В декабре 1927 года Д.И. Хармс отметил в записной книжке: «Олейников и Житков организовали ассоциацию “Писатели детской литературы”. Мы (Введенский, Заболоцкий и я) приглашаемся» [Хармс, 2002, с. 185].

Сын и биограф поэта, Н.Н. Заболоцкий, писал: «Предложение работать в детской литературе заинтересовало Николая

² Информация о выходе книги в бюллетене «Книжная летопись» появилась лишь на исходе марта, «Столбцы» значатся здесь под номером 4452 [Книжная летопись, 1929, с. 823].

Алексеевича прежде всего возможностью регулярного заработка. Он понимал: “взрослые” стихотворения прокормить его пока что не смогут, а любые заработки вне литературы слишком отвлекали бы его от основного дела. Но вначале для детей он писал не стихи, а небольшие прозаические рассказы, которые в 1928–1931 годах печатались в журнале “Еж” и даже выходили отдельными изданиями³. По совету Маршака был сделан пересказ приключенческой повести о путешествии в Тибет, литературная обработка для детей книги писем о работе русского врача в Африке. Впрочем, одним из первых или даже первым его произведением для детей стало стихотворение, изданное в 1928 году отдельной книжечкой⁴. Вышло совсем неплохо, но все-таки Николаю Алексеевичу виделось в этих стихах что-то не свое, и он перешел на прозу. Только начиная с 1930 года в детских журналах “Еж” и “Чиж” наряду с рассказами и очерками стали публиковаться и его стихотворения. Всего он написал более сорока произведений для детей, подписывая их чаще всего псевдонимом *Я. Миллер*, *Яков Миллер* или инициалами» [Заболоцкий, 2003, с. 134–135].

В этой статье мы сосредоточим внимание на двух работах молодого Заболоцкого для детей, одна из которых вышла отдельным изданием до «Столбцов», – не оригинальных творениях, а литературных обработках сочинений, посвященных описанию путешествий в экзотические страны: в Африку и в Тибет [Беюл, 1928; Миллер, 1931].

Как уже было сказано, в 1928 году в обработке Заболоцкого вышла книжка «для детей среднего и старшего возраста». Книжка называлась «Письма из Африки». Замечательные рисунки для этого издания сделал художник Николай Лапшин,

³ См.: [Заболоцкий, 1928b, 1929a, 1931a, 1929b, 1929d, 1929c, 1930, 1931b].

⁴ Имеется в виду издание: [Заболоцкий, 1928a].

а автор был обозначен на обложке без указания имени и даже без инициалов: *Беюл*.

Книга рекламировалась в журнале «Еж», где «доктор Беюл» вписывался в ряд игровых персонажей знаменитых ленинградских журналов для детей, наподобие Макара Свирепого, Ивана Топорышкина, собаки «Пулемет», тети Анюты или Умной Маши: «Наш сотрудник, доктор Беюл, живет сейчас в Центральной Африке. Там он лечит негров от сонной болезни. Он прислал нам очень много писем. Из этих писем мы сделали интересную книжку, которая так и называется “Письма из Африки”. Недавно эта книжка вышла из печати. Стоит она 35 копеек» [Без подписи, 1928, с. 26]. На странице 28 того же выпуска журнала сообщалось: «В 1929 году Еж рассылает своих сотрудников в разные страны. На днях по предложению Ежа выехал в Германию писатель Ю.Н. Тынянов. Через несколько недель мы начинаем печатать письма т. Тынянова о его путешествии по Германии. Все письма будут с картинками. В скором времени Еж посылает своих корреспондентов в Мексику и Японию. Следите за Ежом». Напечатанный рядом шарж, на котором узнаваемы Н.М. Олейников и Ю.Н. Тынянов, был подписан: «Редактор “Ежа” прощается с Ю. Тыняновым». Подписчикам «Ежа» книжка «Письма из Африки» рассылалась в качестве приложения к 11-му выпуску за 1928 год.

До недавнего времени об авторстве и происхождении книги было известно очень мало – фактически, ничего. В 2006 году вышла книга, проливающая свет на историю «Писем из Африки». Это – генеалогическое исследование, посвященное семействам Чабровых и Беюлов, связанным между собой [Савельев, 2006].

Автор книги, А.П. Савельев, воссоздал на основе документов, фотографий, воспоминаний из личных и государственных архивов историю двух семейств, с которыми он

связан родственными узами. Книга богато иллюстрирована фотографиями (есть даже цветная вклейка), снабжена хронологическими таблицами и изображением «родословного древа». В качестве «Приложения» в книге воспроизведена «африканская» книжка 1928 года [Савельев, 2006, с. 145–177]. Вместе с тем, это издание практически недоступно для читателя: тираж составляет всего 10 экземпляров. Пользуясь случаем, выражаю признательность А.П. Савельеву, который прислал мне свою книгу и щедро поделился уникальными познаниями и дополнительными соображениями об источнике «Писем из Африки».

«Письма из Африки» открывало небольшое предисловие: «В этой книжке нет ни одного слова выдумки. Все, о чем вы читаете, – случилось на самом деле. Написал эту книгу русский доктор, который в 1925 г. уехал в Африку, чтобы изучать свирепствующую там сонную болезнь и лечить негров. За время своих путешествий доктор хорошо присмотрелся к негритянской жизни, да и сам испытал немало приключений. Все это он описывает в своих письмах, которые посылает в Ленинград своим родственникам. В этой книжке собраны все самые интересные письма нашего доктора. Прочитав их, вы узнаете много нового из жизни Африки: написаны эти письма очень недавно, всего только полтора года тому назад» [Беюл, 1928, с. 3].

Выход книги стал неожиданным и даже загадочным для других носителей редкой фамилии – Беюл. Крупный специалист в области диетологии, Евгения Александровна Беюл, родившаяся в 1920 году, писала Савельеву в 2004-м: «Ваше письмо воскресило в моей памяти эпизод, которому в нашей семье не находили объяснения. Мне было лет 7. Как-то отец принес домой книгу “Путешествие доктора Беюла по Африке”. Родители недоумевали. Родственники и друзья тоже. Отца куда-то вызывали, и у него были неприятности. Времена были суровые. Это событие так врезалось в мою детскую память,

что я его описала в воспоминаниях по просьбе детей и внуков. Что касается моего отца, Александра Павловича Бююла, то он действительно был врачом-хирургом, потом профессором, и умер в 1942 г. в должности начальника госпиталя» [Савельев, 2006, с. 27].

История книги в общих чертах вырисовывается следующим образом. Подлинное имя автора писем – Яков Иванович Чабров (1883–1953). Сын ярославского крестьянина, который работал в Петербурге печником, Яков Чабров в 1909 году с отличием окончил Императорскую Военно-Медицинскую Академию и участвовал в русско-японской войне в качестве санитаря. Вплоть до начала Первой мировой войны его служебная карьера была связана с активными перемещениями в пределах Российской Империи (Тобольск, Ярославль, Горбатов, Нижний Новгород). После участия в текущих военных кампаниях в качестве дивизионного врача, в 1915 году Чабров отправляется в Черногорию, где служит в одном из госпиталей Славянского общества. В январе 1916 года Чабров эвакуируется из Никшича, над которым нависла угроза воздушных бомбардировок, и вместе с возглавляемым им санитарным отрядом направляется на пароходе в Марсель.

С февраля 1916 года Чабров находится во Франции. Отправив санитарный отряд в Россию, сам доктор Чабров живет в Марселе и в Париже, где какое-то время перебивается случайными и, вероятно, скудными заработками («мытьё аптекарской посуды» [Савельев, 2006, с. 122]). В 1920 году он женится на француженке по имени Сюзон.

Весной 1921 года старшая сестра Чаброва, жившая в уже советском Петрограде, Мария Ивановна Бююл (1875–1942), получила от брата письмо, где тот рассказывал о своих странствиях и сообщал, что в настоящий момент служит врачом во Французской экваториальной Африке, в районе озера Чад, где борется с распространением у местного населения сонной болезни.

Согласно семейным легендам, письма и бандероли с африканскими сувенирами приходили в Ленинград от Чаброва, периодически жившего то во Франции, то в Африке, вплоть до 1937 года.

Именно эти письма, оригиналы которых не сохранились (во всяком случае – не обнаружены), легли в основу книжки, вышедшей в 1928 году.

Беюл, таким образом, – фамилия, принадлежащая не автору, а адресату писем из Африки. Насколько позволяют судить опубликованные Савельевым письма Якова Чаброва, описывающие дорогу доктора из России в Черногорию (путь пролегал через несколько европейских стран), тот обладал незаурядным эпистолярным талантом [см.: [Савельев, 2006, с. 111–121]].

Марии Ивановне Беюл, работавшей заведующей библиотекой в институте имени Лесгафта, вероятно, и пришла в голову мысль о литературной переработке писем. Редкая фамилия принадлежала ее мужу, Павлу Ивановичу Беюлу (1872–1942), родившемуся в Молдавии (о его отце известно, что он служил директором почты в Грузии). Письма, рассказывающие о приключениях в Африке, во-первых, действительно были занимательны, во-вторых, хорошо соотносились с социальным заказом рубежа 1920-х и 1930-х годов, когда становится востребованной детская приключенческая литература нового типа, познавательная (в нашем случае – в тексте «растворены» многочисленные сведения по медицине, географии, зоологии, истории, страноведению) и пропагандирующая идеи революции и классовой борьбы. Наряду с приключенческой и экзотической составляющими в книжке присутствует неизбежный идеологический компонент; в обработке Заболоцкого он, однако, настолько демонстративен (до абсурда), что позволяет предположить скрытую иронию. Таков, например,

патетический (или «квази-патетический»?) финал книжки: «...беда, если негр простудится. Мы отделаемся насморком, а негр обязательно схватит воспаление легких и в два дня умирает, так как ему, больному, нечем дышать в своей хате, наполненной дымом и людьми... Ни от какой эпидемии не умирает столько несчастных негров, как от простой простуды. И сколько нужно времени, труда и борьбы, чтобы вывести негра из этой нищенской, рабской жизни! Да, негр должен стать свободным и культурным человеком. Только тогда по-настоящему зацветет брусса, и свободно вздохнет вся черная закабаленная Африка!» [Беюл, 1928, с. 72–73].

С другой стороны, в среде интеллигенции сохранялся авторитет и популярность Гумилева⁵, поэтому письма из Африки незаметным на посторонний взгляд образом напоминали о его африканских путешествиях и сочинениях в стихах и прозе.

Отдельный вопрос – и ответы на него пока что можно дать лишь в предположительной модальности – о том, как и какими путями литературная обработка писем Чаброва «досталась» Заболоцкому. Весьма вероятно, что промежуточным звеном между молодым поэтом и Марией Беюл была ее дочь, актриса Ленинградского ТЮЗа Ольга Павловна Беюл-Гальперина (1901–1984). В собрании художественной галереи Псковского музея-заповедника хранится живописный портрет О.П. Беюл работы художника А.Ф. Пахомова, датированный годом выхода африканской книжки: 1928 [Савельев, 2006, с. 19].

Художник Николай Лапшин подарил Пахомову экземпляр «Писем из Африки» с надписью на титульном листе: «Милому А. Пахомову как образец того, что хочешь сделать хорошо, а выходит скверно. (А все же деньги платят!). НЛапши<н>»⁶.

⁵ См. об этом: [Тименчик, 2008].

⁶ Экземпляр с дарительной надписью хранится в собрании наследников Лапшина (Владивосток).

В «Автобиографии», однако, художник писал: «Наиболее удачными относительно могу считать “Письма из Африки”» [Николай Лапшин, 2005, с. 210]. Сердечно благодарю И. И. Галеева (Москва) за сообщения об этом инскрипте и оценочном упоминании «Писем...» в «Автобиографии».

В электронном письме к автору этой статьи А.П. Савельев отмечал: «Сам факт отсутствия инициалов у автора книги наводит на мысль, что авторов было несколько, а фамилия Беюл это ловко скрывает. Может быть, так было задумано с самого начала». Возможно, для читателей, которые представляли себе историю и происхождение текста книжки, авторство прочитывалось приблизительно как Мария и Ольга Беюл.

«Заказная» работа 1928 года, кажется, почти никак не связана с творческой лабораторией Заболоцкого; тем не менее, в одном фрагменте текста можно все же предположить лукаво зашифрованный намек на проблемы, более актуальные для Заболоцкого-поэта: «Многие негритянские племена совсем не держат коров: никак их от мухи “це-це” не упасешь. Приведут корову, а она и сдохнет через неделю. Тут и с коровами возиться не захочешь. Недаром многие негры никогда не видали коровьего масла. А когда им его кто-то показал, то негры никак не могли придумать для него названия. После долгого размышления коровье масло решали назвать “сунхприятрисканкрфуным”. В переводе это значит: “жир из белой жидкости, которая течет из вымени жены быка”. Просто и всем понятно. Жалко, что выговорить трудно – в словечке-то, как-никак, – двадцать две буквы» [Беюл, 1928, с. 7–8].

Простодушная ирония, с которой автор рассказывает о странностях африканских языков, иронически отсылает к футуристической практике *заумного слова*⁷; как раз в 1928

⁷ Ср. у А. Е. Крученых в стихах 1913 года: «черный язык / то было и у диких / племен» [Крученых, 2001, с. 55].

году Заболоцкий обдумывает композицию «Столбцов», которые в редакции 1929 года значимо включали 22 стихотворения-столбца⁸; коровье масло – перспективно – напоминает о сепараторе из столбца «Отдых», написанного позже, в 1930 году, и об еще одной детской книжке Заболоцкого [Миллер, Басманов, 1931]⁹.

И.М. Синельников писал о Заболоцком начала 1930-х годов: «Стали выходить книжки для детей, написанные Заболоцким: “Хорошие сапоги”, “Змеиное яблоко”, “Два лгуна”¹⁰ и другие. Появились первые скромные заработки. <...> Когда Николай Алексеевич стал зарабатывать, начали появляться и книги. Я увидел у него книгу о Лхасе, об английской экспедиции в Тибет. Эти записки о Лхасе он и сам прочитал с интересом и потом увлеченно пересказывал мне ее содержание. Маршак предложил ему переделать это в повесть для детей, что и было выполнено в 1931 году» [Синельников, 1984, с. 109–110].

В 1931 году вышла книжка «Таинственный город», подписанная псевдонимом *Яков Миллер*; издание также вышло в оформлении Лапшина. Предварительная редакция одной из глав книги была напечатана в журнале [Миллер, 1930b].

Как известно, личная библиотека Заболоцкого ленинградского периода его жизни (до ареста в марте 1938 года) не сохранилась, поэтому до недавнего времени ясности в вопросе о том, какая книга «о Лхасе, об английской экспедиции в Ти-

⁸ О значении для архитектоники «Столбцов» числа 22, связанном с числом букв каббалистического алфавита и гадальной колодой карт Таро, см. в нашей статье: [Лощилов, 2006].

⁹ Журнальная публикация: [Миллер, 1930a].

¹⁰ Вероятно, имеется в виду опубликованный лишь в журнале рассказ «Приключения врунов», где во лжи «состязаются» два персонажа – Вилька и Сенька [Заболоцкий, 1929e].

бет» легла в основу обработки – не было. Пользуясь случаем, благодарю С.М. Шаргородского, в электронной переписке с которым у автора этих строк окончательно сформировалось убеждение, что речь идет о книге британского военного медика и археолога-любителя Лоуренса Аустина Уодделя (1854–1938), русский перевод которой вышел в свет спустя год после выхода оригинала [Уоддель, 1906; Waddell, 1905].

В отличие от несохранившихся писем, печатная книга позволяет судить о том, каким образом Заболоцкий перерабатывает текст-источник, приспособляя его к потребностям детского и юношеского занимательного чтения. Более тщательное сличение двух текстов автор предполагает предпринять в специальной статье, однако предварительно можно сказать, что речь идет о радикальном сокращении объема книги (в книге «Я. Миллера» 180 страниц, А. Уодделя – 344) и динамизации повествования за счет введения придуманных Заболоцким персонажей. Маршрут героев-путешественников и общая канва повествования в точности следуют книге Уодделя. В основу образа спутника безымянного героя-повествователя, индуса Нен-Синга, легли, по всей вероятности, несколько страниц книги, где говорится о путешествии индийского исследователя Тибета Сарата Чандры Даса (1849–1917) [Уоддель, 1906, с. 14–15]. Имя Нен-Синг также упоминается на одной из первых страниц книги [Там же, с. 12–13]: оно принадлежит одному из «пундитов» (образованных индусов), посетивших Лхасу, как и Сарат Чандра Дас, под видом купцов или спутников лам по заданию британской разведки. Вполне вероятно, что Заболоцкий в процессе работы над адаптацией книги Уодделя обращался и к изданной в русском переводе книге самого Сарата Чандры Даса [Дас, 1904; оригинал: Das, 1902], и к другим немногочисленным книгам о Лхасе, вышедшим как до революции, так и в советское время, но предназна-

ченным для взрослого читателя [Рокхиль, 1901; Ухтомский, 1904; Мак-Говерн, 1929]. «Шпионский» сюжет позволяет сделать повествование значительно более занимательным, «растворив» в нем как исторические и этнографические сведения, так и отнюдь не поощряемые в 1920–1930-е годы сведения о духовной жизни Востока.

Искреннее воодушевление Заболоцкого, о котором вспоминал И.М. Синельников, объяснимо без особого труда: в хорошо знакомой обэриутам «Практической магии» доктора Папюса говорилось о магическом характере духовной поэзии разных традиций: «Есть наука о речи, имеющая несколько названий, и старательно охраняемая двумя посвящениями: южным в мантрах (стихах), на санскритском языке, и восточным – в каббалистических правилах, на еврейском языке» [Папюс, 1912, с. 128].

Любопытно, что описание жизни в тибетском монастыре из книги Уодделя легло в основу соответствующих эпизодов романа А.В. Барченко «Из мрака», изданного в 1914 году [см.: Барченко, 1991, с. 241–414]. Достоверных сведений о знакомстве Заболоцкого и других обэриутов с мистическими идеями и кругом интересов Барченко нет, однако оно представляется вполне возможным. С одной стороны, Барченко принимал участие в работе Российского общества любителей мироведения (Р.О.Л.М.), деятельностью и изданиями которого Заболоцкий интересовался. С другой стороны, художник Элеонора Максимилиановна Кондиайн (до замужества Месмахер; 1899–1986), входившая в ближайший круг исследователя «древней науки» и создателя «Единого трудового братства», принимала участие в работе Детского отдела Госиздата. Ее иллюстрации появлялись на страницах «Чижа»; см., например, выпуск журнала, где был напечатан «Маслозавод» Заболоцкого [Миллер, 1930а]: обложку оформляли Э.М. Кондиайн

и К.К. Рождественский. Большая часть известных нам сегодня сведений о Барченко восходит к архиву семьи Кондиайн [см.: Андреев, 2004]. Однако говорить о возможном влиянии идей Барченко на Заболоцкого и его поэтический мир можно лишь предположительно...

Имя Будды присутствует в стихах Заболоцкого 1920–1930-х годов наряду с ветхозаветными именами Бога (Элоим, Саваоф), а санскритская мантра возникает и в последнем из сочинений поэта – в «Рубруке в Монголии» (1958):

На юге – персы и аманы,
К востоку – прадеды бурят,
Те, что, ударив в барабаны,
«Ом мани падме кум!» – твердят
[Заболоцкий, 1983, с. 332].

Записные книжки Хармса отражают его знакомства с ламами, причастными к деятельности Тибетско-Монгольской миссии в Ленинграде [Хармс, 2002, кн. 1, с. 274, 285; кн. 2, с. 130–131], и тибетологом Ф. И. Щербатским [Хармс, 2002, кн. 2, с. 119], а также попытки занятий монгольским языком [Хармс, 2002, кн. 2, с. 130–131] и знакомство с книгой князя Э. Э. Ухтомского «Из области ламаизма. К походу англичан на Тибет» [Ухтомский 1904; Хармс, 2002, кн. 1, с. 415].

Согласно воспоминаниям второй жены Хармса, Марины Малич (М. В. Дурново), в 1930-е годы на стене в его комнате «...висел наискосок большой плакат. Он бросался в глаза. “АУМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ”. Какое-то тибетское изречение. Я спросила Даню: – Что это значит? Даня сказал: – Я не знаю, что это такое, но я знаю, что это святое и очень сильное заклинание» [Глоцер, 2005, с. 44].

Литература

Андреев А.И. Оккультист страны советов: Тайна доктора Барченко. М.: Яуза. ЭКСМО, 2004.

[*Без подписи*] Доктор Беюл в Африке // *Еж.* 1928. № 10. С. 26.

Барченко А. В. Из мрака: Романы. Повесть. Рассказы / сост., примеч. А. С. Барченко; вступ. статья С. А. Барченко. М.: Современник, 1991.

Беюл. Письма из Африки / обраб. Н. Заболоцкого; рис. Н. Лапшина. М.; Л.: Государственное издательство, 1928 (Для детей среднего и старшего возраста).

Глоцер В.И. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М.: ИМА-пресс, 2005.

Дас, Сарат Чандра. Путешествие в Тибет. С 2 картами, 2 планами Лхасы, 4 литографированными картинами и 50 рисунками / пер. с англ. под ред. В. Котвича. СПб.: Издание Картографического заведения А. Ильина, 1904.

Заболоцкий Н. (а) Хорошие сапоги / рис В. Ермолаевой. Л.: Государственное издательство, 1928.

Заболоцкий Н. (б) Красные и синие / рис. Э. Будогоского. М.; Л.: Государственное издательство, 1928.

Заболоцкий Н. (а) Красные и синие / 2-е изд. М.–Л.: Государственное издательство, 1929.

Заболоцкий Н. (б) Букан / рис. М. Штерн. М.; Л.: Государственное издательство, 1929.

Заболоцкий Н. (с) Резиновые головы / рис. Н. Полозова. М.; Л.: Государственное издательство, 1929.

Заболоцкий Н. (д) Змеиное яблоко / рис. и обложка Л. Гольденберга. М.; Л.: Государственное издательство, 1929.

Заболоцкий Н. (е) Приключения врунов / рис. В. Замирайло // *Еж.* 1929. № 4. С. 22–26.

Заболоцкий Н. Резиновые головы / 2-е изд. М.; Л.: Государственное издательство, 1930.

Заболоцкий Н. (а) Красные и синие / [3-е изд]. М.; Л.: Государственное издательство, 1931.

Заболоцкий Н. (b) Резиновые головы / 3-е изд. М.; Л.: Молодая гвардия, 1931.

Заболоцкий Н.А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1 / сост. Е.В. Заболоцкой, Н.Н. Заболоцкого; предисл. Н.Л. Степанова, примеч. Е.В. Заболоцкой, Л.А. Шубина. М.: Художественная литература, 1983.

Заболоцкий Н.Н. Жизнь Н.А. Заболоцкого / изд. 2-е, дораб. СПб.: Logos, 2003. С. 134–135.

Савельев А. Чабровы. Пушино: [Без издательства], 2006.

Книжная летопись. 1929. № 12, 26 марта.

Крученых А.Е. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2001. (Новая библиотека поэта. Малая серия).

Лоцилов И.Е. Инстанция Буквы в поэтической практике русского авангарда (Заболоцкий и другие) // Семиотика и Авангард: Антология / под общ. ред. Ю.С. Степанова. М.: Академический Проект; Культура, 2006. С. 952–996.

Мак-Говерн В. Переодетым в Лхассу: Секретная экспедиция / пер. с англ. под ред. Э. С. Батенина и с предисл. А. Ивина. М.; Л.: Молодая гвардия, 1929.

Миллер Я. [Заболоцкий Н. А.], Басманов П. [Рис.] Маслозавод. М.; Л., [1931].

Миллер Я. [Заболоцкий Н. А.] (a) Маслозавод / рис. П. Басманова // *Чиж.* 1930. № 11. С. 3–5.

Миллер Я. [Заболоцкий Н. А.] (b) Страшный спуск: Рассказ / рис. А. Новикова // *Еж.* 1930. № 24. С. 12–16.

Миллер Я. [Заболоцкий Н. А.] Таинственный город: Очерки Тибета для юношества / рис. и обложка Н. Лапшина. М.; Л.: Государственное издательство, 1931.

Николай Лапшин: 1891–1942: Каталог выставки / сост. И.И. Галеев; М.: Арт-Диваж; Скорпион, 2005.

Патюс (G. Encausse). Практическая магия (Черная и белая): В 3 ч. Ч. 1 / пер. А. В. Трояновского.

2-е изд. СПб.: Книгоиздательство Д.А. Наумова, 1912.

Поэзия 1920-х годов / сост. Н.А. Богомолов. М.: Слово / Slovo, 2000 (Мегапроект «Пушкинская библиотека» / Институт «Открытое общество»).

[*Рокхиль В.В.*] В страну лам. Путешествие по Китаю и Тибету В.В. Рокхилья. С картой и рисунками / пер. с англ. под ред. В.К. Агафонова, с предисл. и примеч. Г.Е. Грум-Гржимайло. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1901.

Синельников И.М. Молодой Заболоцкий // Воспоминания о Заболоцком. М.: Художественная литература, 1984. С. 101–120.

Тименчик Р.Д. Читатели Гумилева // Тименчик Р.Д. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим – М.: Гешарим; Мосты культуры, 2008. С. 362–384.

Уоддель А. Лхасса и ее тайны: Очерк Тибетской экспедиции 1903–1904 года / пер. с англ. Е.М. Чистяковой-Вэр. СПб.: Типография П.Ф. Пантелеева, 1906.

Ухтомский Э.Э. Из области ламаизма. К походу англичан на Тибет. СПб.: Паровая скоропечатня «Восток», 1904.

Хармс Д.И. Полн. собр. соч.: Записные книжки. Дневник: В 2 кн. СПб.: Академический проект, 2002.

Das, Sarat Chandra. Journey to Lhasa and Central Tibet / edited by the Hon. W.W. Rockhill. London: John Murray, 1902.

Waddell L. A. Lhasa and its Mysteries: With a Record of the Expedition of 1903–1904. New York: E. P. Dutton, 1905.

Igor Loshchilov

*Novosibirsk State Pedagogical University Institute of Philology
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences*

TWO BOOKS ABOUT TRAVELS ADAPTED FOR CHILDREN BY NIKOLAI ZABOLOTSKY: AFRICA AND TIBET

Abstract. The article is dedicated to two little-known works of the young Nikolai Zabolotsky – the adaptation of children's reading letters doctor Yakov Ivanovich Chabrov (1883–1853), who worked

in Equatorial Africa, and processing books British military physician and amateur archeologist Lawrence Austin Waddell (1854–1938) about the journey to Tibet. The book «Letters from Africa» («Pis'ma iz Afriki») was published in 1928, with illustrations by artist Nikolai Lapshin. As the author's name was the name of the addressee of the letters, Dabrowa older sister, Maria Ivanovna Beyul (1875–1942). Presumably, this work went to Zabolotsky through his friendship with artists of the Leningrad N. Lapshin and A. Pakhomov, who was friends with the daughter of Mary Beyul, an actress of the Leningrad theater of Young spectators Olga Pavlovna Beyul (Galperina; 1901–1984). The book «Mysterious town» («Tainstvennyj gorod») was released in 1931 under the pseudonym «Jacov Miller» who used lead in literature for children. For this work, the poet took on the advice of S. Ja. Marshak. Ethnographic essay was turned into an entertaining book due to the drastic reductions, adventurous intrigue and fictional characters. The assumptions about the response of these two works for children in the original poetry of Zabolotsky.

Keywords: Africa, war, literary adaptation, Tibet, travelogue, epistolary travelogue

The information about the author. Loshchilov, Igor Yevgenievich, candidate of Philology, Ph. D., researcher of Literary Studies Section of the Institute of Philology of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (8 Nikolaev Str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation); Associate Professor of the Department of Russian Literature and Literary Theory (28, ul. Viluyskaya, Novosibirsk, 630126, Russian Federation). E-mail: loshch@yandex.ru).

РАЗДЕЛ IV
ТРАВЕЛОГ И ПОЭЗИЯ: РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
1960–1970-х ГОДОВ С КОММЕНТАРИЯМИ,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ И РАЗМЫШЛЕНИЯМИ

Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская

*Московский государственный университет М.В. Ломоносова,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»*

**«ПРЕДМЕТНИКИ» М.Е. СОКОВНИНА
КАК ПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАВЕЛОГИ**

Аннотация. Предмет статьи – значительный, но недостаточно оцененный поэт М.Е. Соковнин (1938–1975), чьи поэмы (авторское определение жанра «предметники») все с разной степенью очевидности являются травелогами (в стихах и малой прозе Соковнина мотив путешествия также присутствует). В этом отношении творчество Соковнина понимается как характерное для эпохи (1960-е и, может быть, в особенности 1970-е), когда не только в советской (барды, журнал «Вокруг света», делящаяся популярность «Библиотеки путешествий и приключений») или, шире, восточноевропейской (книги И. Ганзелки и М. Зикмунда), но в европейской (и североамериканской) культуре в целом мотив путешествия получил особое значение. Авторы статьи пытаются оценить состояние обсуждения жанра травелога в науке и публицистике 1990–2000-х гг. и мотивируют возможность анализа творчества Соковнина в этом контексте.

Описываются некоторые особенности поэтики «предметника», генезис жанра, в т. ч. соотнесенность с отдельными явлениями авангарда и поэтикой очеркового репортажа 1960-х; комментируется «Суповый набор» (1968).

Ключевые слова: М.Е. Соковнин, Вс.Н. Некрасов, В.В. Каменский, В.А. Луговской, Ю.М. Лошиц, Б.Ш. Окуджава, А.Я. Сергеев, Б.А. Слуцкий, А. Breton, травелог, object poetry, роэме-objet, фрагмент, комментарий, датировка, паратаксис, асинтаксические конструкции, «домашняя семантика», очерк.

Сведения об авторах. Зыкова Галина Владимировна, профессор, доктор филологических наук, доцент, филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (119991, Москва, Ленинские горы, Первый гуманитарный корпус. Тел. 8(963)6340073. E-mail: gzykova@mail.ru). Пенская Елена Наумовна, профессор, доктор филологических наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Школа филологии, факультет гуманитарных наук, (101000, Москва, Мясницкая, 20. Тел. 8(903)7965556. E-mail: e.penskaya@gmail.com).

1. М.Е. Соковнин и его творчество в контексте русского поэтического травелога 1960–1970-х годов.

Творчество Михаила Евгеньевича Соковнина (1938–1975) представляется нам несправедливо недооцененным; точнее сказать, Соковнина практически нет ни для интеллигентного читателя-неспециалиста, ни для тех, кто составляет очерки истории русской литературы 1960–70-х годов¹. Между тем его стихи и малая проза («Книга “Вариус”») не только замечательны в художественном смысле (это трудно доказать, можно только показывать), но и – рискнем это утверждать – были в самом центре существеннейших литературных тенденций эпохи.

Пытаясь найти рациональные причины недооцененности Соковнина, можно заметить, что он как автор совершенно несоветский (прежде всего эстетически) при жизни практически не публиковался («Супротив» в известном «Знании – силе»

¹ Характерная деталь: в недавнем напумевшем «учебнике» «Поэзия», ориентированном именно на литературу «несоветскую», экспериментальную, Соковнин хоть и есть, но назван «прозаиком» (и только).

и только); посмертные публикации конца 1970-х (в парижском «Ковчеге» по инициативе Н.К. Бокова) были слишком фрагментарными и малотиражными; а в девяностых, когда основной корпус произведений Соковнина (насколько мы об этом сейчас можем судить) был опубликован [Соковнин, 1994; 2013], оказалось, возможно, «поздно»... (последнее нам как читателям, впрочем, непонятно).

Позднейшие историки, возможно, слишком склонны воспринимать Соковнина как часть некоторого литературного круга (он был близким другом Вс.Н. Некрасова, о чем ниже придется часто вспоминать); сочинения Соковнина на самом деле выростали из дружеского домашнего общения, в соавторстве (с А.П. Мальковым); занимать позу «настоящего писателя» (например, передавать тексты возможным публикаторам) Соковнин избегал².

Оценить Соковнина как особенное и уникальное явление отчасти мешает легкость, с которой его тексты могут быть определены как «концептуалистские» (или «конкретистские»); заметим, что Некрасов, способствовавший публикации первой посмертной книги Соковнина, слишком большой терминологической определенности в этом отношении избегал.

В российской и европейской культурной традиции тема путешествия, пожалуй, всегда оставалась в центре внимания исследователей. Под разными предлогами к ней так или иначе обращались «практики» – поэты, прозаики, публицисты. Взаимное сотрудничество тех и других образовало устойчивые формы обсуждения, которое фокусировалось на разных аспектах этого пласта словесной культуры, расположившейся на границе художественного и нехудожественного (или, как теперь говорят, *fiction* и *non-fiction*). Изучение структурной,

² О чем после смерти Соковнина очень жалел уже названный нами Н.К. Боков в письмах к Вс.Н. Некрасову.

сюжетной, тематической специфики в синхронических и диахронических контекстах рассматривает эволюционные срезы древнего жанра. Он постоянно расширяет жанровые границы, не имеет точного определения и до сих пор вызывает дискуссии.

Однако очевидно, что в истории изучения жанра есть своя внутренняя периодизация. Так, после окончания Второй мировой войны литературоведение все охотней включает в свою предметную область записки о путешествиях, путевые дневники и отчеты. Этот поворот не в последнюю очередь объясняется параллельными процессами – новым этапом развития пост-колониальной литературы. Не вдаваясь в подробности, отметим, что термин «травелог», начиная с 1990-х, вытесняет традиционные обозначения [Майга, 2014, с. 256].

Достаточно полная библиография собрана в работах 2010-х годов [Пономарев, 2014, с. 559–574]. Интерес к этой теме в последние два десятилетия растет по экспоненте. Так, количество защищенных диссертаций по теме «травелог», согласно данным ВАК, с 1990-х по настоящее время выросло в четыре раза: с 10 до 43; если судить по частоте конференций и объему выпускаемых сборников, то и здесь цифры растут: практически ежегодно ведущие вузы так или иначе уделяют внимание травелогу в своей академической жизни.

Считается, что пик активного создания и потребления травелогов в современной российской культуре пришелся примерно на 2007–2009 годы, когда ежемесячно выходило сразу несколько книг, в которых авторы делились своими впечатлениями о путешествиях. В основном этот бум рассматривается сквозь призму экономических причин, обусловивших в свою очередь и новые линии в развитии краеведения, и целые новые направления (этносоциальный очерк). Так, в издательстве «РИПОЛ классик» выходила целая серия «Наблюдая

за...», включившая как переводные, так и отечественные сочинения [Мильчин, 2010].

Однако показательно, насколько расходятся современные литературоведы и критики в и интерпретации одной и той же ситуации, непосредственными свидетелями которой являются они сами. Оценки порой полярно противоположны. Так, анализируя примерно один и тот же пласт травелогов 1990–2000-х, одни считают его вполне состоявшимся, другие расценивают как не существующий как целое. По мнению последних, только журнальные публикации в «GEO», «Вокруг света», «National Geographic» имеют отдаленное отношение к жанру травелога [Бондарева, 2012, с. 24].

Все настоятельней последнее время идет речь о том, что сфера, связанная с путешествием, его организацией, описанием, изучением, – это самостоятельная институция и междисциплинарная наука, объединяющая семиотику, филологию, культурологию [Каганский, 2014, с. 47].

Несмотря на все возрастающую историческую дистанцию, по-прежнему не теряет своей острой справедливости мысль Гончарова об отсутствии у нас «науки о путешествиях». «Фрегат “Паллада”», как мы помним, открывается «программным» суждением, конспективно собравшим все те решения, которые приходится принимать любому, кто берется пробовать свои силы в жанре травелога:

Казалось, все страхи, как мечты, улеглись: вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. <...> Но вдруг за эту перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль: какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плователями? <...> Трудно теперь съездить и в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут пред-

стоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?

Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры, – словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику [Гончаров, 1997, т. 2, с. 13].

В нашу задачу не входит составление детального аналитического обзора всей разветвленной истории вопроса, как она складывалась в российской и зарубежной гуманитаристике.

Однако, если судить по той множественности версий и точек отсчета³, которых придерживается каждый пишущий о травелоге, трудно в какой-то ближайшей перспективе ждать целостной картины развития жанра и критической мысли

³ Так, к примеру, в качестве точно зафиксированного начала новой эпохи обращения к травелогам предлагается считать знаковое событие: в 2000-м году была организована первая в мире специализированная конференция «Мир путешествий. Мастерство путешествий» в Знаменке близ Петергофа. За ней последовала конференция «Культурное пространство путешествий». Русская Антропологическая Школа РГГУ в 2012 г. называлась «Власть маршрута». Ее магистральная идея заключалась в том, что путешествие – это власть над маршрутом. На конференции «Поэтический фактор в культуре. Синкретические тенденции и инновации» (17–18 апреля 2013 г.) была секция «Геопоэтика и смыслы путешествий». С 2001 по 2015 гг. прошло 47 круглых столов и 84 научно-практических семинара.

о нем. Чем выше степень изученности локальных явлений, тем больше вопросов и белых пятен возникает⁴.

К таким лакунам можно отнести поэтический травелог в целом и травелог 1960-1970-х гг. в частности. Хотя, разумеется, в поле зрения исследователей традиционно попадают имена Мандельштама, Гумилева, Ахматовой [Куликова, 2011], есть отдельные работы, в которых рассматриваются частные случаи [Куприянова, 2007].

Между тем, 1960–1970-е годы – особый период в истории жанра путешествий.

Стоит вспомнить большую традицию, теперь почти исчезнувшую, советского самостоятельного походного туризма, открывавшего пространство, ландшафт, страну. «Так был культурно переоткрыт, например, русский Север. За этим последовали путеводители. Была так называемая “желтая серия”, по цвету обложки, карманных путеводителей, написанных искусствоведами <...> Там почти нет природного ландшафта, но культурный ландшафт зафиксирован неплохо <...>. В советское время для подлинной, нестатусной элиты путешествия были средством приобщения к полноценной среде. Понятно, что спальные районы больших городов – среда неполноценная. Что оставалось в условиях закрытых границ? – природный ландшафт и остатки культурного ландшафта. Золотое кольцо, Каргополь, Вязьма, Саяны, Байкал... Хорошие путешествия совмещали то и другое», – пишет В.Л. Каганский [Каганский, 2014, с. 17].

Напомним, особой популярностью пользовалась одна из старейших программ российского телевидения «Клуб пу-

⁴ Генезис советского травелога трактуется по-разному. Диапазон расхождений велик. Родоначальником нередко называют очеркиста Всеволода Овчинникова, автора книг «Восхождение на Фудзи», «Горячий пепел», «Ветка сакуры».

тешественников» (выходила в эфир с 18 марта 1960 года). Благодаря телевидению, а еще серии книг о путешествиях и путешественниках, выпускаемых в 1960–1970-х годах «Профиздатом», передвижения, описание виденного в поездках и походах стало тем новым культурным опытом, что во многом закрепился в жанре очерка и репортажа.

«Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд – это имена, которые в свое время знал не только каждый чех, но и почти весь мир. Эти два путешественника проехали вдоль и поперек весь мир, сняли несколько фильмов, передали тысячи репортажей по чехословацкому радио, но самое главное – их путевые записки были переведены на 11 языков и полюбили их миллионы читателей в разных странах мира» [Крушинская, 1968, с. 42]

Целое поколение людей именно из их книг узнавали об «Африке грез и действительности», о Yerba Mate – традиционном напитке Аргентины и Парагвая, о Бразилии.. Издательство «Иностранная литература» и «Молодая гвардия» с конца 1960-х годов в течение нескольких лет выпускали эту авторскую библиотеку путешествий.

Фотография (читатели вспоминают среднее качество полиграфии) и очерковый репортаж – наверное, впервые спустя несколько десятилетий (после 1920–1930-х гг.) получили функциональное единство. Высокая популярность этой формы описания реальности, опирающейся на факт и прямое свидетельство, прошедшее личную проверку, журнал «Вокруг света», возобновленный после 1945 года, начав свой новый виток истории, отмеченный в 1960–1970-х годах необычайно высокими тиражами, думается, подтверждает наблюдения.

Вс.Н. Некрасов вспоминал о своих впечатлениях в связи с ранней прозой Б. Окуджавы: «Там точно передано ощущение тогдашней Москвы, вся ее фактура. Окуджава хорошо знал, как свои пять пальцев, все эти дома и переулки вокруг

метро Смоленская. Видно было, что исходил не раз. И в этих хождениях складывался и ритм окуджавского говорения, и ритм его стиха»⁵. Некрасов имел в виду фрагмент повести Б. Окуджавы «Новенький, как с иголочки» (1962) и по памяти цитировал описанное Окуджавой детское путешествие по Москве, утверждая, что и с ним еще до эвакуации произошло нечто подобное. Позволим и мы себе цитату из Окуджавы:

«Когда мне исполнилось пять лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие. И уже другие вагоны сновали вокруг так, что дух захватывало... Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия... А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытался пошевелиться, но не мог и не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше... Куда-то... Все кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плющиха. Куда я попал?.. И я заплакал. Ах как страшно было потеряться! Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамваи возвращаются обратно. И я втиснулся в вагон, и он понес меня со звоном, с громом и молниями мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего дома! Я стоял оглушенный, а он умчался дальше – спасти кого-то другого. И другие красные трамваи, добрые и надежные, бежа-

⁵ Беседы с Вс.Н. Некрасовым. 23 августа 1986 г., Феодосия (записи Е.Н. Пенской).

ли мимо меня. И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому...» [Окуджава, 1989, с. 67].

Популярность прозаического травелога со временем приводит к тому, что очерк теряет свою описательную, речевую цепкость, свежесть оптики и начинает тяготеть к романским формам, наполненным философскими рассуждениями. Путешествие и описание поездки, экспедиции вырабатывает свою вполне узнаваемую «методику» и обрастает арсеналом стереотипов, постепенно вызывая реакцию отторжения («Все эти книжонки, монастыри, путешествия по «святым местам» на собственных «Волгах» сделали модой и оттого пошлостью» [Трифонов, 1986, с. 79]).

Наибольшей проблемой и предметом для рефлексии автоматизирующаяся описательность травелога оказывается для поэзии. Потенциально плодотворной для больших поэтических форм оказывается идея движения в широком смысле слова, идея, свойственная травелогам вообще, но именно в поэзии оказавшаяся структурообразующей («... форма художественного произведения должна быть осознана как динамическая <...> ощущение формы <...> есть всегда ощущение протекания» [Тынянов, 1965, с. 28]). Формой, предметом и темой такого движения в лучших поэтических травелогах 1960–1970-х годов становится сама речь.

Это очевидно даже в традиционных поэтических системах, в таких случаях, как поэма Твардовского «За далью – даль»:

Есть два разряда путешествий:
Один – пускаться с места вдаль;
Другой – сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

«Трубадурами» общеромантических советских путешествий можно считать Смелякова, Кирсанова, Антокольско-

го, поэтические травелоги которых строятся как карусель метафорических блоков, со стертыми акцентными рифмами и «шарманочным» ритмом («то-то», «да-да»), клишированной образностью.

В каждом чуть изменившемся жесте
я невольно ответно сберег
продолжение всех путешествий,
повороты и локти дорог.

Двери в собственный дом открывая,
надевая в передней пальто,
непривычно в себе ощущаю
путешествие дальнее то.

Я остался и нежным, и резким –
тем, каким меня знали всегда,
но вернулся из дальней поездки
не таким, как уехал туда.

(Я.В. Смеляков, «Дальняя поездка», 1964)

Лермонтовская «Ветка Палестины» становится предметом кустарной, ненарочито пародийной перелицовки: «Скажи мне, ветка Палестины» – «Скажу открыто...»:

Скажу открыто, а не в скобках,
что я от солнца на мороз
не что-нибудь, а ветку хлопка
из путешествия привез.

(Я.В. Смеляков, «Ветка хлопка», 1960)

У Бродского гипнотический синтаксис, равномерно скользящий взгляд, чередование парных рифм, монотонные перечни:

Так в пригород и сизнова назад
приятно возвращаться в Ленинград
из путешествий получасовых,
среди кашне, платочков носовых,
среди газет, пальто и пиджаков,
приподнятых до глаз воротников
и с цинковым заливом в голове
пройти у освещенного кафе.

(«Всё холоднее в комнате моей...», 1961)

Вот книжный магазин, но небогат
любовью, путешествием, стихами,
и на балконах звякают стаканы,
и занавеси тихо шелестят.

(«Гость», 1961)

Случай Слуцкого на этом фоне переходный, пограничный. Он путешествует во времени собственной биографии; работает прием «остановки», речевого торможения, движение нарочито замедлено и словно бы противоположно той гладкости и легкости, что наблюдается у Смелякова, Кирсанова, Антокольского. Слуцкий словно бы «спотыкается», на дороге то и дело попадаются «булыжники» – свернутые клише названий, метафор, вывесок, «дела и люди», «города и годы». Стоит обратить внимание на финал стихотворения: разбитый, вне ритма и рифмы, словно бы сам собой затрудненно переходящий в прозу.

Постепенно
не касаются, не задевают,
попросту не интересуют
те дела и люди, / города и годы,
что когда-то интересовали.

Старость не сравнить с поездкой.

Думаешь, но не о том, откуда

и, конечно, не о том, куда

доедешь,

а о том,

как едешь.

(«Старость – равнодушие. Постепенно...», 1971)

Тема путешествия в шестидесятые и особенно в семидесятые оказалась, при всем возможном разнообразии художественных и мировоззренческих ее интерпретаций, общей для культуры европейского типа в широком смысле слова: русской и восточноевропейской, «восточной» и «западной», европейской и «североамериканской», на Западе и в искусстве андеграунда путешествие, особенно ближе к семидесятым и в семидесятые, более очевидным образом понималось как бегство⁶.

В поэзии русского андеграунда «романтичность» путешествия могла оцениваться иронически; см., например, «Космический» цикл близкого Некрасову (и через Некрасова, возможно, знакомого и Соковнину) Холина:

Человек

Пришел

На вокзал

Вам куда в Кабул

Нет

На созвездие Ориона

Хорошо

Проходите в кабину

⁶ Характерный пример здесь – альбом «The Lodger» D. Bowie (1978–1979 гг.) с его доминирующей темой и стилистикой путешествия, где само название прямо отсылает к раннему фильму Хичкока, а обложка прямо поясняет, что именно в фильме Хичкока автору нужно и памятно: знаменитая сцена бегства героя от толпы, намеренной расправиться с ним.

Сейчас
Мы вас
Разложим на электроны
И отправим в Космос
В виде радиосигналов
Товарищ Мочалов
Включите ток
Так
Готово
Орион
Принимайте Иванова
Все в порядке
Цель путешествия
Хочет купить
Сыну перчатки
(«Кибернетический век», 1959)

Для того, чтобы почувствовать движение, нужно пространство, большая форма; в этом смысле (и как подступ к разговору о Соковнине) имеет особенное значение небольшая историческая поэма А.Я. Сергеева «Шварц» (1972–1973; в советское время, как и другие оригинальные тексты автора, известного переводчика, не печаталась; в постсоветское время обсуждается недостаточно).

«Шварц» состоит из четырех частей, каждая часть из девяти октав (исключение составляет лишь вторая часть, «Путешествие», в которой их десять), сопровождаемых короткими авторскими пояснениями⁷. При этом как во всей поэме, так

⁷ В хронологической таблице представлены следующие пояснения: «Меттерних – князь, Шварц – бабушкин знакомый и сосед, Франц-Иосиф – император, Ганка – чешский филолог, Гоголь – русский писатель, Маха – чешский поэт... Польские восстания имели место... Апраксин двор горел... Достоевский – русский писатель, Чернышевский – русский литератор, Хомяков – славянофил, Ирина Никитична – моя бабушка».

и в каждой строфе соседствуют и намеренно сталкиваются два речевых механизма: один работает монотонно, нанизывая описания, признаки, словно бы свернутые до одной детали; а другой разрушает эту монотонность графическим подчеркиванием, выделяющим фразы, немотивированно вырванные из контекста. Вот этот второй внутренний рисунок создает другую логику речи, на письме он акцентируется визуально; при чтении автор специально в конце каждой части «собирал» эти подчеркнутые фразы, разрывая ритм и связность. Вот как примерно это выглядело:

Часть I. Меттерних⁸

1. Но все ж немецкий – общий наш язык.
2. Когда страна – заплатата на заплате,
5. Среди сокольских спин твой ментор Ганка
6. ...порукой древний Краледвор.

...

Он вывел русский паровой котел,
Он сочинил чугунную дорогу.

7. На скверну ты ответишь: «Маха, Май».

Часть II. Путешествие

В Россию путь – на русском колесе.
Сокольский хор отгрохал «Гей, славяне»...
Он шляпу снимет, с добрым днем поздравит
И добрый день до вечера отравит.
Шинки рыдают о правах батьков –
Иуда Гоголь порох изобрел.
В Санкт-Петербурге силу взял масон,
Католик и поляк Мартын Пилецкий
(Распутный педель, что когда-то вон

⁸ Здесь и дальше номера – это номера октав.

Был выгнан из Лицея силой детской),
И двор славянством польским полонен,
И православью смерть в борьбе религий.
Герой решил проведать Ставропигий.
В австрийском Риме община монасей.
Усердный тайнописец Копростасий...
Из польской Праги прибыл скороход,
Чтоб, не дождав до торжества Мартына,
Полупаны, студенты, прочий сброд
Восстали...
Ему Березов, каша и Борей.
Яицкий есаул калмык Черняев...
Пейзанин в монополечном тумане...

Часть III. Апраксин двор
Порхнувши с парохода на пожар.
Поближе к пре, подальше от греха.
Всегда фекаловатый Чернышевский...
Но по гнилой интеллигентской складке
Писатель не донес – и слег в припадке.

В четвертой части комментариев отсутствует, нет и подчеркиваний; финал представляет собой пародийно испорченную, исковерканную устную речь, перевод «с басурманского на русский»:

– Вы взяли имя Черный? Это жаль.
Верните Шварц. В России хватит черный.
Вы как герой с балканская медаль
Найдет занятый чистый и просторный –
Учить московский барышня рояль.
Российский человек – слуга покорный,
Хороший человек. Вы заживет,
И ни назад ни надо, ни вперед.

«Историческая нарезка», «путешествие в истории и собственной биографии» сопровождается хронологической таблицей, причудливой системой сносок, таблиц, игрой графических акцентов, то сгущенных, образующих специальную внутреннюю речевую оптику, то, наоборот, разреженных. Сквозь сетку списков, цифр, имен, дат, фактов, служебных и внеслужебных, случайных и неслучайных сведений, доступных знатоку, проступает подвижная речевая стихия, при этом строго упорядоченная.

Подчеркнутые фразы, изъятые из общей текстовой массы, выписанные как бы отдельно «на карточках», образуют внутренний каталог отрывков, отменяя языковую текучесть, и складываются в особенное путешествие по тем речевым возможностям, закрепленным в написанными октавами классических текстах («Неистовый Роланд», «Освобожденный Иерусалим», «Беппо», «Домик в Коломне», «Сон Попова»). Сергеев ведь был прекрасный переводчик. Это энциклопедия, пародийная экспедиция (недаром центральная часть названа «Путешествие») в историю, генезис и модификации октавы как одной из центральных стихотворных форм в русской и европейской поэзии. И эту фрагментарность «Шварца», то, что он как бы «каталог отрывков», видимо, и имел в виду Сергеев, когда говорил о связи своей поэмы с предметниками Соковнина в 1991 году, на вечере в Литературном музее⁹, называя «Шварца» предметник-колумбарий. Такая генетическая связь подтверждается и природой эпического слога, разумеется, пародийного, и летописной структурой исторических путешествий, и филологической изошренностью пере-

⁹ В.Н. Некрасов как автор программы «Лианозовские вечера» в Литературном музее (1991) включил два дня с небольшим перерывом: выступление А.Я. Сергеева 17 марта и вечер памяти Соковнина 12 марта, на котором Сергеев присутствовал.

водов (Соковнин перевел «Королевские идиллии» Теннисона, и профессиональный переводчик Сергеев высоко оценил перевод теннисоновского «Тифона», о чем говорил на вечере в Литературном музее. О сопоставимости своей поэтики и поэтики Соковнина Сергеев говорил и позже¹⁰. В частности, он обратил внимание на «парадоксальную речевую подвижность скрупулезных описаний», указал на соковнинскую природную органику темы передвижения, путешествия, «которой всегда сопутствуют затрудненные, вязкие описания, сделанные как бы застревающим языком».

В коротких фрагментах книги «Вариус» вдруг в самом центре появляется короткое эссе «Супротив»: вроде как предлог, превращающийся в внутри текста в мнимый диалектизм-существительное, обозначение вымышленной реалии. Плотность речевой круговерти, имитирующей вращение мельничного жернова, с каждым поворотом усиливает бессмыслицу; это пародия на популярный во времена Соковнина этнографический очерк (такие писал, например, добрый друг Соковнина Ю. Лощиц), и это демонстрация абсурдных движений языка:

Когда супротив, увлекаемый своей тяжестью, наклоняется, он достигает поверхности воды... Но, погрузившись, супротив теряет в весе, выталкиваясь водой, и противный конец становится в силу причины тяжелее и перевешивает, энергично выдергивая супротив из воды...

Как видим, сохраняя интонационную видимость конструкции связной речи, период ломается изнутри, слова бук-

¹⁰ А.Я. Сергеев делился своими соображениями о прозаических и поэтических опусах Соковнина с одним из авторов этой статьи после выхода первого сборника Соковнина «Рассыпанный набор» (1995), указывая на неочевидную близость собственной поэтики и поэтики Соковнина. Вопрос их личного знакомства требует отдельной проверки.

суют, и фраза, начавшись временным придаточным, не сдвинувшись с места, возвращается к своему началу, исходному слову «супротив».

Описание необычного (общая черта и этнографического очерка, и литературы путешествий вообще) здесь оборачивается демонстрацией удивительных поворотов, ракурсов слова.

Не случайно любимые мотивы Соковнина, и в лирике¹¹, и в поэмах-предметниках, и в том, что принято (за неимением более точного определения) называть его «малой прозой», т.е. в «Книге “Вариус ”» – поезд, пароход, электричка, вагон, т.е. то, что позволяет пережить ощущение движения в его прерывистости и протяженности (например, в пьесе «На смерть животного» поезд отдельный персонаж, а первое и второе действия происходят на платформе).

Позволим Наконец, в «Книге “Вариус ”»:

Маневровый паровоз занимался маневрированием все у одной и той же станции, и до тех пор он этим занимался, пока не зашел, знаете ли, в такой интересный тупик, что на обратный путь и рельсов не нашлось («Маневровый паровоз...»);

Пока поезд стоит, было бы недурно из него пойти, потому что в вагоне приметно душно, и отдохнуть на почему-то бархатной травке, только на солнце что-то уж чрезмерно, а тень от вагонов лежит через поезд («На пути»);

«А Вы не будете никак сходить в Мокроусах?», – вынужден был к тому обратиться Вариус.

«Да нет, мне пилить до самых Фенимор», – нимало не уступил ему загораживающий.

Поскольку таких остановок никто на этом пути не предвидел, все почувствовали себя несколько напряженно.

Машинист же, очевидно, вообще ничего такого не видел, иначе он не замедлил бы так останавливаться («Щель»).

¹¹ «Электричка» (1964), «Осенние игрушки» (1973).

Процесс возникновения «Вариуса» описал Некрасов, назвав его «книгой жизни», важнейшие свойства которой – постепенность, последовательность, определенность интонации, отторжение «поэтического», ощущение «длящегося» текста.

Если в «Вариусе» движение – это прежде всего движение речи, а перемещение в пространстве (собственно принадлежащее травелогу) появляется только в некоторых фрагментах, то поэмы Соковнина (которые автор называл «предметниками») все без исключения говорят о путешествии (иногда очень будничном, всего лишь из Москвы на дачу).

Обязательность «путешествия» как формы существования и неизбежной поэтической темы особенно ясно проявляется тогда, когда – на первый взгляд – поэма травелогом как бы и не является, но все же в итоге превращается именно в травелог. Так происходит в «Деве Орлеана», которая до самого финала выглядит как «исторический предметник» о Жанне д'Арк или о воспоминаниях автора про читанные в детстве книжки о Франции; но в эпилоге Сена оборачивается Волгой, костер в Руане горящим Сталинградом, и оказывается, что всё это пишется или вспоминается во время путешествия по России (путешествия по реке, как это чаще всего у Соковнина и бывает):

...
образ солнца,
парохода,
Петергофа,
голубого-голубого,
Волга,
солнце,
Волга,
город,
горло-
вой,

дыра,
Руан...

Пароходы,
огни и окна,
плывущие
свечи-свечечки,
город,
его икона –
идолище
Вучетича,
черный след
золотого
подвига,
пламя,
выгоревшее дотла,
дым над Волгой,
плоты и лодки,
надвигающаяся
темнота.

В авторской белой машинописи¹² текст «Девы Орлеана» завершается датами: 1967–1972 годов (для Соковнина случай нечастый); в 1967 году был открыт монумент Вучетича «Родина-мать зовет!». Нет уверенности, что замысел поэмы был связан с каким-то конкретным речным путешествием Соковнина (от Ленинграда до Сталинграда? Были ли такие маршруты в 1967 году?¹³), но если понимать стоящие под текстом даты как его существенную смысловую часть, получается, что «идолище Вучетича», появляющееся только в эпилоге, – зерно замысла поэмы в целом, а не просто элемент финала.

¹² Сохранилась в архиве Вс.Н. Некрасова, передана нами в РГАЛИ.

¹³ Подробнее о комментировании поэтического травелога см. ниже.

2. «Предметник» Соковнина как форма поэтического травелога: некоторые соображения о возможном литературном контексте жанра

Почти все большие поэтические тексты Соковнина имеют подзаголовок (авторское жанровое определение) «предметник»: «Суповый набор» (1968) – «болдинский предметник», «Дева Орлеана» (1967–1972) – «исторический предметник», «Застекленная терраса» (1974) – «предметник» просто¹⁴, «Рассыпанный набор» (1975) – «иллюстрированный предметник». Только три ранние большие вещи, середины шестидесятых, тоже травелоги, имеют подзаголовок «поэма набросков» («Тирады», 1964; «Знаки Казани») или обходятся без подзаголовков («Москва – Пермь – Москва» (1966)).

Что такое «предметник», обсуждали весьма скупо: говорили о лирической природе восприятия мира, подбирали термины («конкретистская поэма» – без уточнения, что это такое). Упомянулся (и тоже именно упоминался, не более того) своеобразный синтаксис, где преобладают назывные предложения и сочинительные конструкции. «Предметник» – конечно, в первую очередь потому, что текст выглядит как перечень предметов.

Как известно, расшатывание синтаксиса – принципиальная и декларируемая черта поэзии первого авангарда (см., напр., у Эзры Паунда, как в стихах, так и в рассуждениях о литературе). Внятную границу между действительным разрушением синтаксиса и попытками имитировать в письменной поэтической речи особый синтаксис речи внутренней (или устной) провести трудно, это, по-видимому, задача для лингвистов.

Конечно, в некоторой степени и паратаксис (если он в современной поэзии, а не в архаической), как и отказ от синтак-

¹⁴ В аудиозаписи автор называет ее еще «третий предметник» (из архива Вс.Н. Некрасова; можно послушать на YouTube).

сической организации вообще, – это отказ от установлений причинно-следственных связей, от определенности в интерпретации мира (как об этом давно и хорошо писал тот же Паунд). Разница между изображением мира в поэзии и прозе давно обсуждена, конечно; но заметим все-таки, что поэтический травелог – парадоксальный жанр: собственно описание (и объяснение), естественное для прозаического травелога, здесь (как это обычно и бывает в поэзии Нового времени, избегающей описательности) заменено чем-то другим¹⁵.

От многих стихов его близкого личного друга Вс.Н. Некрасова «предметники» Соковнина отличает бóльшая готовность первого к радикальным ходам. Отказ от синтаксиса (частичный, конечно) у Некрасова проявляется прежде всего через повтор (отказ от знаков препинания тут признак факультативный и не всегда показательный); у Соковнина природа текста как особой конструкции, в том числе организованной визуально, как авторского высказывания (у Некрасова часто полемического, причем литературно полемического) не так очевидна, стихи скорее имитируют добросовестную запись,

¹⁵ Разница между поэтическим и прозаическим травелогом, конечно, не абсолютна, или, точнее говоря, может по некоторым причинам представляться самим авторам менее существенной, чем посторонним наблюдателям. Некрасов (правда, в 2005 г., т.е. много лет спустя после описываемых событий) говорил, как сильно повлияли на его стихи очерки Ю. Лощица: «В 1965-6 году Миша Соковнин в каком-то из литобъединений – скорей всего, МГУ или «Мос. комсомолец» —познакомился с очень даровитым парнем – Юрием Лощицем... Он тогда не так давно кончил МГУ, старался зарабатывать журналистикой. Очерки писал здорово, стихи, песни тоже неплохо. Но про Питер в «Вокруг света» написал тогда так, что я ему своим ленинградским циклом, считаю, просто обязан наполовину; хорошо еще, что тут проза, а там стихи, а то как бы не вышло элементарное эпитонство...» (интервью Д. Новиковой; цитируется по файлу из компьютера Некрасова).

паровоз паровоз	напирает грузовик,
пароход пароход	выпер нас на троттуар,
телеграф	выпирает – нет – ура!
телефон	
футуризм футуризм	Лес, шоссе,
аппарат аппарат	брзент,
переплет переплет	бензин.
бутерброд бутерброд	что-то снова тормозим.
лабардан лабардан	Остановка.
Аполлон Алконост	А. столовка.
шоколад мармелад	А. колонка.
	Бе: поломка.
	Одинцово, троттуар.

Едем, значит, до утра.

В истории русского литературного травелога XX века асинтаксический принцип построения встречается уже в первом авангарде: это «железобетонные поэмы» В. Каменского, например, «Константинополь»; хотя жесткой связи между темой путешествия и асинтаксичностью (или преобладанием паратаксиста) нет, но соотнесенность есть.

Вообще же «генезис поэтики Соковнина требует особого исследования», по справедливому замечанию И. Кукулина [Кукулин, 2003]. Сам И. Кукулин в качестве возможно соотносимого с поэтикой предметников указывает, во-первых, на стихи Г. Оболдуева: «более типологически, чем генетически». Заметим, что, возможно, здесь дело и в генезисе тоже: Вс.Н. Некрасов располагал машинописным сводом стихов Оболдуева и, например, передавал их для публикации в конце семидесятых в парижский «Ковчег»¹⁸.

¹⁸ Одной из нас А.И. Журавлева говорила, что в конце шестидесятых машинопись стихов Оболдуева у Некрасова уже была.

Второе сопоставление, предложенное И. Кукулиным, – с поэтикой монтажа, например, у Луговского в кн. «Середина века» [Кукулин, 2015]. Опять же, как и в случае с Оболдуевым, это наблюдение отчасти подтверждается биографически: о своем интересе к стихам Луговского говорил тот же Некрасов в позднем интервью И. Врубель-Голубкиной (рядом с Луговским – и выше его – Некрасов поставил из русских поэтов этого поколения только Мартынова). Кроме того – не рискуем, правда, утверждать, что это как-то повлияло на степень знакомства Соковнина со стихами Луговского или на его отношение к этим стихам – в музее имени Бахрушина вместе с Соковниным работали сестра Луговского Нина Александровна Шаховская и жена Луговского Тамара Эдгаровна Груберт.

Обсуждая генезис «предметника», естественно спросить о происхождении самого слова; как известно, в русском языке оно если и употребляется, то в совершенно другом значении («учитель, преподающий определенный предмет»). Конечно, Соковнин мог придумать это слово и совершенно самостоятельно; и всё же вполне возможно заподозрить здесь если не кальку, то по крайней мере эхо сопоставимых явлений в западном искусстве, современных Соковнину или более ранних.

Но еще до того, как предложить какие бы то ни было аналогии, приходится признать: мы очень плохо представляем себе, что именно могли читать русские поэты в, казалось бы, совсем недавнем советском прошлом в условиях железного занавеса: история в этом отношении задокументирована плохо (может, что-то и всплывет еще потом). Русская неофициальная поэзия пятидесятых-семидесятых по своей природе, своим структурным особенностям была органической частью европейского литературного процесса, но насколько это было очевидно для самих авторов, мы не знаем. Не исключено, что здесь дело не столько в связях на уровне синхронии, сколько

в том, что западное и русское искусство эпохи имело общих предков: первый авангард и дадаизм, например (а об этом в России могли помнить и в самое глухое советское время).

Частный пример, показывающий и степень возможной изолированности, и степень неосведомленности историка: о главном труде Соковнина, «Книге “Вариус”», соавтор А.П. Мальков говорил (публично, на вечере памяти Соковнина в Литературном музее, 1991 г.), что Соковнин, когда «Вариус» писал, Кафку не знал, хотя любому читателю сходство в глаза бросается; чуть позже это повторит Некрасов (сам? вслед за Мальковым?): «...пока Кафку не издали, не читал и Соковнин Кафку, а «Вариус» уже был» [Некрасов 1994, с. 3]. Как известно, первое репрезентативное послевоенное издание по-русски вышло в Москве в 1965 году; некоторые тексты в «Вариусе» датированы, причем 1970-м годом; когда цикл был завершен и когда написаны первые вещи в нем (то есть найден тон), публикаторы не сообщают. Люди, входившие в конце шестидесятых-первой половине семидесятых в близкое окружение Соковнина, свидетельствуют (и, видимо, вполне точно), что Кафка с 1965 года точно был в этом кругу (или, по крайней мере, в московских литературных кругах подобного типа) предметом самого живого интереса и обсуждения¹⁹. Что тут можно предположить? Если только «Вариус» точнее датировать, хотя скорей всего здесь что-то вроде мистификации.

Возвращаясь к вопросу о слове «предметник», заметим, что очень похожие названия для своих вещей в тридцатые – сороковые придумывали некоторые авторы, имевшие то или иное отношение к сюрреализму: А. Бретон с его *poème-objet* или, например, чуть позже Ф. Понж («*Le parti pris des choses*»),

¹⁹ Пользуемся случаем поблагодарить Анатолия Аркадьевича Чернякова, товарища Анны Ивановны Журавлевой по семинару В.Н. Турбина (филологический факультет МГУ) за воспоминания и пояснения.

1942; стихотворения в прозе Понжа англоязычное литературоведение обычно называет *object poems* и говорит о целой традиции такого жанра в американской литературе; правда, это сюжет более поздний, уже восьмидесятых годов). Конечно, сравнивать объекты Бретона, имеющие к литературе только некоторое отношение, с чисто словесными произведениями Соковнина напрямую трудно; но здесь, повторимся, мы обсуждаем не жанр как таковой, а именно его название, и близость, свидетельствующая о некоторых эстетических тенденциях, в этом очень определенном (и, может, не самом важном) отношении очевидна.

Знал ли Соковнин французский, свидетельствует ли об этом знании, например, «предметник» «Дева Орлеана»? Что именно можно было знать о Бретоне москвичу в шестидесятые, пусть даже филологу по образованию (но русисту) из культурной семьи (отец Соковнина возглавлял Мариинку)? В письмах к Некрасову конца семидесятых лично знавший Соковнина Н.К. Боков называл покойного поэта, в частности, переводчиком; что Боков имел в виду? сейчас известны только упомянутые выше немногочисленные переводы из Теннисона...

3. Реалии в поэтическом травелоге: попытка некоторых комментариев к «болдинскому предметнику» «Суповый набор» (1968)

Всякий травелог как описание мира реального, но при этом не вполне знакомого для потенциального читателя, предполагает необходимость некоторого комментария (особенно для читателя позднейших эпох – мир поменялся). Иногда комментария требует и то, как именно реальность трансформируется в тексте, трансформируется в специальных целях или даже ненамеренно.

Существующие издания художественных текстов Соковнина не предполагают (в соответствии с типом книг) сколько-нибудь подробного комментария. Мы попробовали посмотреть, что такого комментария требует и насколько комментированию поддается.

Во-первых, травелог предполагает соотнесенность с некоторым биографическим опытом автора (впрочем, в реальность такого опыта читатель верит не всегда: оживленно обсуждалось, был ли Василий Боткин, автор «Писем об Испании», в этой самой Испании).

О жизни Соковнина мы знаем меньше, чем можно было бы надеяться; что касается предметников, то здесь мы располагаем документом только для «Супового набора» (это опубликованное в издании 2013 г. письмо к директору Болдинского музея в ответ на предложение поработать там летом 1968 года). Со своей стороны можем добавить к этому документу только еще один²⁰, из личного архива А.И. Журавлевой, запись в дневнике ее дяди, Д.И. Журавлева²¹ от 14 июня 1974 года: «Миша Соковнин <...> Поездка <нрзб> 19 авг. Это «кругосветка – Москва–Волга–Ока–Москва. Поездка – неделя. Бесплатно каюта, но обязан прочитать две лекции команде» (устроено Бахрушинским музеем, где служил Соковнин?). Судя по датам, эта поездка должна быть фактической основой «иллюстрированного предметника» «Рассыпанный набор» (в последнем издании Соковнина указана дата: 1975 г.).

²⁰ И еще позволим себе здесь, отвлекаясь от темы травелога, предложить относительную датировку «Замечательных пьес» Соковнина, по крайней мере, в их окончательном виде: не раньше лета 1973 г. (именно тогда была мировая премьера болгарского фильма «Бегства в Ропотамо», упоминаемого в тексте («предлагают ему длинную ленту скотча, на которой написано «Бегство в Ропотамо», и начинают обматывать ею все на свете»)).

²¹ О нем см.: [Зыкова, Пенская, 2015].

Во-вторых, могут быть прокомментированы без особого труда реалии, вряд ли известные обычному читателю, но описанные в соответствующей литературе. В «Суповом наборе», описывающем, в частности, путешествие по маршруту «Болдино–Арзамас–Нижний Новгород–Москва», такого довольно много:

Нижний Новгород,
Минин,
Строганов,
трамвайное Канавино,
звоны,
диваны,
ковры...

Минин понятен без объяснений, а вот «Строганов» – видимо, метонимическая отсылка к знаменитой барочной Рождественской церкви, построенной одним из Строгановых: тут комментарий, возможно, был бы не лишним, но не требует даже обращения к справочникам. Чуть сложнее:

На Октябрьской ж-д,
ж-д, на ж-д,
далее везде,
«Трень-брень»,
«Про нас»

«Добро пожаловать в Арзамас!»

До утра
в дурака.

Кофе.
 Заря.
 Ради чего для?
 Неизвестно какого дня...
 Едем в ухаб из ухаба,
 смерть в хорошей компании.
 Город.
 Эрьзя.
 «Руками трогать нельзя»
 «Испанка»
 улыбка,
 квебрахо.

В Арзамасском историко-художественном музее среди других работ известного (и почитаемого в кругу Соковнина, судя, например, по некоторым упоминаниям в статьях Вс.Н. Некрасова) скульптора С. Эрьзя есть «Испанка», вырезанная из квебрахо (особенно твердой южноамериканской породы дерева): факт известный, но о нем можно напомнить.

Есть вещи, связанные с особым местным жаргоном, с меняющейся топографией.

Музей на «Бродвее»,
 Рокотов,
 Рерих,
 между деревьев
 синяя Волга,
 песок
 и откос,
 Как всё это всё²²
 иррационально,

²² Цитируется по белой авторской машинописи из архива Некрасова, иногда с правкой по последнему изданию. Знаки препинания, прописные и строчные буквы – Соковнина.

Наверно,
нормально,
ступени Кремля,
Как всё снопоподобно

...

В нижегородском художественном музее есть Рокотов и Рерих, но что такое «Бродвей»? Русская коллекция помещается сейчас в здании, находящемся внутри Кремля. Елизавета Фомина, филолог и нижегородский житель, любезно пояснила нам, что в конце шестидесятых русские картины были в музейном здании на Верхневолжской набережной, а для Нижнего «Бродвей» – как раз набережная Волги и есть. Тут обращением к справочникам обойтись уже труднее.

Есть случаи, когда реальная, видимо, деталь изменяется в поэтическом тексте до неузнаваемости, и здесь комментарий может быть только предположительным, хотя читатель травелога все равно остается при ощущении, что, несмотря на всю прихотливость образа, этот образ соотнесен с некоторым фактом – и понять, с каким именно, хочется так же, как хочется разгадать загадку. Заметим, что темные места в поэтическом тексте далеко не всегда вызывают отношение к себе как к загадке; чаще мы готовы примириться на известном тезисе о символической природе художественного образа, который по определению не может и не должен быть истолкован окончательно; но травелог воспринимается иначе. Читаем «Суповый набор» дальше (и не можем удержаться от соблазна процитировать предметник до конца):

Как всё снопоподобно,
корма
парохода,
платформа,

подножка
вагона,
стоп-кран...

Потом поплыли потолки,
по стеклам стук локтей.
Иконы-Птицы тонкий лик
простер глаза, как тень,
обрыв платформы!..

Телефонный,
междугородний,
переговорный,
черная Волга,
серая Волга,
белая Волга,
из-за куста —
Свет-Пустота!

Великий лицеист,
потомок Рачи!

Осенний солнца лист,
песок горячий...

Единственная «птичья» нижегородская ассоциация для «Иконы-Птицы», предложенная нам Елизаветой Фоминой, – поезд «Буревестник», ходивший между Горьким и Москвой как раз в шестидесятых (сейчас это называется «Ласточка»). При всей видимой произвольности этой ассоциации, о степени убедительности которой мы представляем судить читателю, она поддерживается тем, что в обсуждаемом фрагменте

поэмы речь идет действительно о путешествии на поезде, что бы ни воспринималось Соковниным как «икона»²³ Нижнего.

Предложим еще один явно гипотетический комментарий. В «Суповом наборе» есть замечательное и загадочное: «ясно лошадь, / раз рога». Непосредственный контекст ничего тут не проясняет: набор назывных предложений.

Лев Сергеич –
Сергей Львович,
Григорий
Григорьич,
и просто
Григорьич,
сторож
Петрович,
грач,
Сергач,
чай шярга,
ясно лошадь,
раз рога.

Что-то вроде рационального объяснения (и как раз связанного с существенным для травелога местным колоритом), наверно, может быть предложено: село Болдино в Нижегородской области», а символ принадлежности села к ней – «олень червлёного цвета с ветвистыми рогами и копытами чёрного цвета», как раз «лошадь с рогами» (померещиться может). Но это, видимо, такой комментарий, который если что и проясняет, то разве происхождение слов, а для их понимания

²³ Кстати, что бы это ни значило, но «икона» появляется в финале двух «предметников» Соковнина: и в «Суповом наборе», и в обсуждавшемся выше эпилоге «Девы Орлеана».

вряд ли нужен: из-за своей обаятельной абсурдности «ясно лошадь» в кругу Соковнина превратилось в поговорку²⁴, для которой никакой расшифровки не предполагается, да и не нужно.

Присутствие загадок, провоцирующих на поиск ответа, но при этом таких, что точного ответа для правильной работы художественного текста на самом деле не требуется, – черта «домашней семантики» (Тынянов): вещь выглядит как адресованная узкому дружескому кругу понимающих, но на самом деле должно переживаться само присутствие намека, предполагаемого затекстового. В «Суповом наборе» такое появляется уже в самом начале: «неправильное» (диалектное, почти фонетическая транскрипция?) в эпиграфе из народной песни («На ПушкинскИм на дворе»²⁵); посвящение «И.В.Я.» (наверно, той, кто в тексте называется «Ирой») — кто это, друзья объяснить уже не берутся. Почти случайно для очень немногих намеков удастся получить объяснения:

...рыба в заборе,
Римма Петровна,
скамейки,
штaketник,
Пушкин.
Красные жуки,
«Пушкин и мужики»,
бабы,
фляги,
парное мясо
из Арзамаса,

²⁴ В 2016 году нам про это рассказывала Зоя Касаткина, жена художника Н.И. Касаткина, старого друга М.Е. Соковнина.

²⁵ Как раз так это и поет Касаткин, а поскольку поет – то не редуцируя гласного. Под влиянием визуального впечатления от «Супового набора»? Или на самом деле так слышал? Разобраться уже трудно.

писем из Казани,
клумба с красными жуками,
Борода,
доброта,
ЦГАЛИ.
Полдень
в Болдине.

...
Коля,
я
и Борода...

«Борода», как уверенно говорят Касаткины, — это близкий Соковнину В.А. Расстригин (дальше в «предметнике» названный и по имени, и по фамилии), реставратор, работавший потом в Муранове и московском музее Пушкина.

Напоследок еще немного. Традиционный элемент комментария, не связанный специально с жанром травелога, — поиск (или выискивание) действительных или только предполагаемых реминисценций. В «предметниках» много чьих-то слов, чьих-то фраз, чаще всего из живого (реального?) разговора, — это характерная особенность русской поэзии эпохи, и особенно у тех поэтов, к которым был так или иначе творчески или биографически близок Соковнин (тех же лианозовцев, например).

Крепостная контора,
крепостная работа,
урны-забор,
уборная,
есть такое слово «нужник»

...

Это из описания Болдина в «Суповом наборе». Напоминает здесь или нет филолог Соковнин об известном вопросе Державина Дельвигу? Этого, конечно, нельзя проверить; что, может быть, любопытнее — отсылает или нет к каким-то настоящим советским книжкам (фильмам или чему-то еще) за кавыченное:

«Таежная этика»

«Партийность художника»

«Путь в будущее...»

«А поезд ушел...»

Последняя строчка, наверно, скорей живая реплика, чем советское клише; а мнимые цитаты у Соковнина, судя по некоторым другим его текстам, — любимый прием (например, строчка из «Замечательных пьес»: «В туманное с берега море», которая даже грамматически выглядит как взятая откуда-то — но она ниоткуда на самом деле).

И.А. Ахметьев пишет в предисловии к своей публикации ранней «Апоэмы» Соковнина: «Конечно, в отдаленном будущем эти стихи потребуют комментария, но такова судьба и всех вообще произведений словесного искусства. А сейчас пока и так всё понятно» [Ахметьев, 1996, с. 13]. Но «в отдаленном будущем» комментарии, особенно связанные, например, с особым жаргоном кружка, с фактами биографии и т.п., будут просто невозможны — такое надо делать быстро (впрочем, уже и так сорок лет прошло со дня смерти автора).

Литература

Ахметьев И.А. [«Апоэма» М.Е. Соковнина: Предисловие] «Цирк «Олимп»», 1996. Вып. 8; см. также: URL: <http://www.vavilon.ru/texts/sokovnin3.html> (дата обращения 12.05.2016).

Бондарева А. Литература скитаний // Октябрь. 2012. №7. С. 20–32.

Гончаров И.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т.2: Фрегат «Паллада». Очерки путешествия. СПб.: Изд-во «Наука», 1997.

Зыкова Г.В., Пенская Е.Н. Дмитрий Иванович Журавлев и его воспоминания // Скопинский помянник (Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева). М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015.

Каганский В.Л. Наука странствий: корни и перспективы // Знание – сила. 2014. № 6. С. 56–68.

Крушинская М.А. Экспедиция добрых людей // «Вокруг света». 1968. № 4. С. 34–52.

Кукулин И. «Машины зашумевшего времени»: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры (Интервью) // Постнаука, 17 апреля, 2015. URL: <https://postnauka.ru/books/43332#!> (дата обращения 12.04.2016).

Кукулин И. «Сумрачный лес» как предмет ажиотажного спроса, или Почему приставка «пост-» потеряла свое значение // Новое литературное обозрение. 2003. № 59; см. также URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/kuku.html> (дата обращения 12.05.2016).

Куликова Е.Ю. Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья», 2011.

Куприянова А.И. Мотив пути в прозе В.П. Аксёнова 1960–1970-х гг.: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2007.

Майга А.А. Литературный травелог: специфика жанра // Филология и культура. 2014. № 3. С. 240–259.

Мильчин К. В чем правда? // Русский репортер. 2 дек. 2010. URL: http://expert.ru/russian_reporter/2010/47/v-chem-pravda (дата обращения 10.05.2016)

Некрасов Вс.Н. Вариус и автор // Соковнин М.Е. Рассыпанный набор: Избранные произведения / сост. Вс. Некрасова; подготовка текста И. Ахметьева. М.: Граффити, 1994.

Окуджава Б.Ш. Новенький, как с иголочки // Окуджава Б.Ш. Избранные произведения: В 2 т. Т.1. М.: Современник, 1989.

Пономарев Е.Ф. Типология советского путешествия: «Путешествие на запад» в русской литературе 1920–1930-х годов. СПб., 2014.

Соковнин М.Е. Проза и стихи / сост., подготовка текста, комм. И.А. Ахметьева. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2013.

Соковнин М.Е. Рассыпанный набор: Избранные произведения / предисл. Вс. Некрасова; сост. Вс. Некрасова; подготовка текста И. Ахметьева. М.: Граффити, 1994.

Трифонов Ю.В. Предварительные итоги // Трифонов Ю.В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Изд-во «Художественная литература», 1985–1987.

Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. М.: Изд-во «Советский писатель», 1965.

Zykova G.V., Penskaya E.N.

*Moscow State University, National Research
University Higher School of Economy*

M.E. SOKOVNIN'S «PREDMETNIKS» (POEMS) AS POETIC TRAVELOGUES

Abstract. The subject of an article is an important, but underappreciated poet M.E.Sokovnin (1938–1975), whose poems (defined by the author as “predmetniks” (object-poems)) all are travelogues to the different extent (travel motive is also present in Sokovnin’s small poems and prose). In this respect Sokovnin’s work can be understood as typical of his time (1960th and, may be even more 1970th), when the travel motive had got a special importance not only in Soviet culture (the so-called “bards”, “Around the World” magazine, continuous popularity of “Travel and Adventure Library” book series) or, more widely, in the East European (J. Hanzelka and M. Sigmund’s fame is a sufficient example), but in European (as well as North American) culture in general. The authors of the article try to assess the modern travelogue discussion in Russian Humanities (since 1990th) and explain the reason to analyze Sokovnin’s work in this context.

Some “predmetnik” poetics features and genre genesis is described to some extent, including possible association with several phenomena of the “First Avant-Garde”, as well as journalistic sketches at 1960th; critical commentary for one of the “predmetniks” (the so called “Sypovy nabor”=“Bones for the Broth”) is given.

Keywords: M.E. Sokovnin, Vs.N. Nekrasov, V.V. Kamenskij, V.A. Lygovskoj, Ju.M. Loshitz, B.Sh. Okudzhava, A.Ja. Sergeev, B.A. Slutsky, A. Breton, travelogue, object poetry, poème-objet, fragment, commentary, text dates, parataxis, asyntactic constructions, “home semantics”, feature article (sketch).

Information about the author. Zykova Galina Vladimirovna, Professor, Doctor of Philology, Docent Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philology (119991, Moscow, GSP-1, 1-51 Leninskie Gory, 1 Humanities building. Tel. 8(963)6340073. E-mail: gzykova@mail.ru); Penskaya Elena Naumovna, Professor, Doctor of Philology School of Philology, Faculty for the Humanities, National Research University Higher School of Economy (101000, Moscow, Myasnitskaya, 20. Tel. 8(903)7965556. E-mail: e.penskaya@gmail.com).

РУССКИЙ ТРАВЕЛОГ XVIII–XX ВЕКОВ: МАРШРУТЫ, ТОПОСЫ, ЖАНРЫ И НАРРАТИВЫ

Коллективная монография

В авторской редакции
Компьютерная верстка – *И.С. Заковряшина*

Подписано в печать 24.06.2016. Формат бумаги 60x84/16

Печать цифровая. Усл. печ. л. 26,9. Уч. изд. л. 19,9.

Тираж 300 экз. Заказ № .

Отпечатано в типографии:
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»,
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел.: 8 (383) 244-06-62, www.rfo.nspu.ru
Отпечатано: ФГБОУ ВО «НГПУ»

